

Победитель
читательского
голосования премии
«Большая книга»

Анна Матвеева

**ДЕВЯТЬ
ДЕВЯНОСТЫХ**

9/90



Анна Матвеева

**ДЕВЯТЬ
ДЕВЯНОСТЫХ**

9/90



ИЗДАТЕЛЬСТВО
АСТ
МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М33

Оформление переплета и макет — *Андрей Рыбаков*

Матвеева, Анна Александровна.

М33 Девять девяностых : [рассказы] / Анна Матвеева. —
Москва : Издательство АСТ, Редакция Елены Шуби-
ной, 2016. — 346, [6] с. — (Проза: женский род).

ISBN 978-5-17-093140-8

Анна Матвеева — прозаик, автор романов «Завидное чувство Веры Стениной», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Небеса», «Есть!», сборника рассказов «Подожди, я умру — и приду»; финалист премии «Большая книга» и премии имени Юрия Казакова, лауреат итальянской премии Lo Stellato за лучший рассказ года.

Героев новой книги застали врасплох девяностые: трудные, беспутные, дурные. Но для многих эти годы стали «волшебным» временем, когда сбывается то, о чем и не мечталось, чего и представить было нельзя. Здесь для сироты находится богатый тайный усыновитель, здесь молодой парень вместо армии уезжает в Цюрих, здесь обреченной на бездетность женщине судьба все-таки посылает ребенка, а Екатеринбург легко может превратиться в Париж...

Победитель читательского голосования премии «Большая книга».

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-093140-8

© Анна Матвеева
© ООО «Издательство «АСТ»

Памяти моего брата Константина

Же́мымо

Я родился в самом начале восьмидесятых, в Свердловске, в бараке на улице Гурзуфской. Под окном нашей комнаты висел, как полковой барабан, громадный оцинкованный таз. Выбором времени и места рождения судьба сообщила, что в жизни моей не случится не только особенного успеха, но и простого человеческого счастья, которое принято считать его допустимой заменой.

Сейчас, когда те годы, мои детские времена, уже затянуло романтическим туманом, я вспоминаю моменты совершенной радости, которые приходят даже к одинокому и несчастному ребенку.

Один из них – качели. Они стояли во дворе дома номер семь, по соседству с нашим бараком. Новостройка заняла недавний пустырь и выглядела на фоне скромных пятиэтажек, будто атомный ледокол «Ленин» среди самодельных лодочек. У седы-

мого дома был породистый бордово-серый окрас, квартиры хитрой планировки и, предмет главной зависти окружающих, — лоджии. Каждый житель нашего района, где до прихода человека строящего дремали вековые болота, гордился этим домом — его даже удостоили особого имени. Семёра. В те времена было модным упрощать и огрублять даже самые ласковые и красивые названия: наш район звался «Посадом» в честь улицы Посадской, ближайший кинотеатр «Буревестник» местные переименовали в «Бурелом». Семёра существует по сей день — как постаревшая красавица, прикрывает морщинистые стены и тусклые окна нарядами деревьями. Вот только качелей, любимой моей «березки», больше нет.

Эти качели были выкрашены белым цветом, а поверху, тонкой кисточкой, мастер изобразил трещины в берёсте, черные штрихи, похожие на арифметические знаки равенства. Равенством во дворе притом не пахло — все знали, что качели поставлены здесь не для барачных детей. И мне даже в голову не пришло бы качаться здесь днем или вечером.

Я приходил к «березке» ранним утром, задолго до первого урока. В нашей комнате спали четверо, и я знал, что после моего ухода в комнате появляется воздух — ведь тетка Ира постоянно говорила про меня:

— Дышать от него нечем! То спит, то ест!

Ветхий ранец прыгал на спине, как накладной горб, — я бежал к пустой площадке у качелей и напевал вначале тихо, а потом всё громче и громче любимый романс тетки Иры, который она исполняла после первой бутылки:

Сад весь умыт был весен-ни-ми ливнями,
В тем-ных овра-гах стоя-ла вода.
Боже, какими мы бы-ли наив-ны-ми,
Как жеымо-лоды были тогда!

В бараке была приличная акустика, каждый звук падал хрустальной каплей, и не верилось, что тет-ка Ира, «техничка-алкоголичка», умеет так петь. Мне в этом романсе больше всего нравилось таин-ственное слово «жеымо». Было в нем что-то осо-бенное, соблазнительное, женственное. Может быть, даже – французское. Я не сразу понял, что «жеымо» – это слуховая обманка, но даже тогда не перестал любить это слово – оно, как пароль, открывало мир, который у меня однажды будет. Я не знал планов судьбы, но, мечтая о будущем, на-деялся, что однажды приеду во двор Семёры за ру-лем роскошной «девятки» цвета «мокрый асфальт». Прижавшись ранцем к спинке качельной сидушки, я отталкивался ногами и взлетал всё выше. Вместе со мною уносились вверх мои мечты.

Вот оно, будущее! Я небрежно кручу руль одной рукой, медленно останавливаясь у подъезда, где жи-вут мои враги-одноклассники Глеб Репин и Виталья Корнеев. Вот они – Репа и Корень будущего – выхо-дят из подъезда, одетые, как бичи из барака. То есть как тетка Ира, ее гражданский муж Василек, мой двоюродный брат Димка и я сам. Не знаю, почему в моих мечтах Репа и Корень менялись с нами одеж-дой – в раннем утреннем полете над пустынным дво-ром никто не требовал от меня логики и мотивации.

Вот я из будущего неторопливо опускаю тони-рованное стекло и строго, без улыбки, смотрю на бывших врагов.

Мое лицо в мечтах удивительно походило на лицо дяди Паши Петракова – гангстера по кличке Паштет. Паштет проживал в Семёре, и это был еще один повод для Репы с Корнем, чтобы задирать нос.

Паштет, как большинство свердловских бандитов, был нормальным советским пацаном, родом из спортивной секции. Много кто из них в детстве мечтал стать олимпийцем: быстро бегал, высоко прыгал и метко бил по чужим носам. Но когда на Урал пришли иные времена – точнее, не пришли, а дали с размаху по воротам тренированной ногой... То время перемен упало на пацанов так же внезапно, как ранняя звезда в песне Аллы Пугачевой (еще одна теткина любовь, шла сразу после «жемыво», но впереди многокуплетных песен, одна из которых мне нравилась больше других – про Сеню, который «с чувством долга удалился»). Страна получила *свободку*. Уралмаш, король заводов, на месте встал, раз-два. А профессиональный спорт сейчас же превратился в детское, несерьезное занятие. Впрочем, привычка тренироваться осталась – в любой тренажерке в те годы стояла очередь к каждому станку.

Цеховики шили варёнки и шапочки-«пидорки» из женских рейтуз, на рынках продавались корейские платья с кружевами-перьями – такого же химического цвета, как корейские соки. В узкую щель между Союзом и Западом падали первые плоды свободы – «марсы», «сникерсы», «баунти» и водка «Стопка». И вот тогда, на пути между ларьками – смыслом жизни эпохи ранних девяностых, и деньгами – смыслом жизни для многих во все времена, встали те парни, имя им легион. Почти весь леги-

он ныне — на кладбищах Екатеринбургa: Широко-реченском, Северном, Лесном... Лег он, легион.

Был среди бандитов, окормлявших пионеров коммерции, и наш дядя Паштет. «Ломал» деньги у коммерческих магазинов — «комков», крышевал рынки, при его участии даже был продан первый в области эшелон меди.

В мечтах я видел у себя героическое лицо Паштета — вот только, чтобы оценить эту героику, надо было смотреть на него обязательно в профиль. Линия лба Паштета переходила прямо в переносицу, не образуя никаких простонародных углов. А нижняя губа выезжала вперед, как ящик в сломанном комодe. Через много лет, когда я увидел портреты Габсбургов в Национальной галерее, то понял, на кого был похож герой моего детства.

Одет он был всегда безупречно — кожаная куртка, норковая шапка, темно-зеленые шароваристые штаны, белые «саламандры» и белые носки. Иных в те годы просто не носили — если у тебя были черные носки, ты как бы признавался в том, что не меняешь и не стираешь их каждый день.

Качели уносили меня всё выше. Милая моя «березка»! В такие минуты я забывал о том, что маму лишили родительских прав за пьянку, а папы я сроду не видел, но знал, что называли меня по его желанию. Филипп — имя курчавого певца, похожего на пуделя Артемона: в пору моего детства он (певец, не пудель) еще не был так знаменит. Он дождался отрочества, чтобы бабахнуть всей своей славой — как из пулемета Дегтярева — по скромной жизни свердловского мальчика. «Киркорыч» — одно из самых частых моих прозвищ в те годы. И всё же,

летая, я забывал и об этом, и о том, что теткин сожитель Василек каждый день ищет повода дать мне пинка, а после обходится без повода, пинает просто так. Но когда чья-то рука вдруг резко остановила полет, схватив «березку» за металлический поручень, я тут же вспомнил всех своих родственников, сладко спящих в бараке. Вот вам и жемымо.

Передо мной стоял Паштет во всей своей славе. В ногах его терлась собачка, пушистая и желтая, как маленький стог сена. Собачка смотрела на меня и часто, будто для врача, дышала, улыбаясь. Зубки у нее были мелкие и острые, как битое стекло.

— Здорово! — сказал Паштет и протянул мне руку.

Я чуть не обмочился от волнения, по ошибке протянул левую ладонь.

Собачка зевнула.

— Погода-то какая! — с чувством произнес Паштет и обвел рукой вокруг с таким видом, как будто сам сделал с утра эту погоду и теперь готов предъявить ее миру. Я кивнул. Погода Паштету удалась. На ветровом стекле его знаменитой машины — первого в городе «опель-кадетт» — желтели распальцованные рябиновые листья, и две-три алые ягоды лежали между спящими «дворниками», как будто их поместили туда специально. В широком небе не жились крохотные, свежие облака. Птицы передуляли улетать на юг и пели громко, как по радио.

— Как жить хорошо! — заметил Паштет и потянулся изо всех сил, так что полы его куртки разошлись, и я увидел турецкий свитер, заправленный в брюки, а главное — пистолет Макарова, небрежно сунутый во внутренний карман.

— Слышь, пацан! — адресно обратился ко мне Паштет, отпинывая в сторону собачку. Я уже догадался, что собачка, как и я, не имела никакого отношения к Паштету, она всего лишь хотела *иметь* к нему это отношение. И пользовалась случаем засвидетельствовать свое почтение, преданность и остренькие зубки. — Пусти-ка!

Я поспешно слез с «березки», она испуганно тренькнула. Паштет не без труда уместился на еще теплой сидушке, и вот уже белые «саламандры» отталкиваются от земли, и Паштет летит высоко, почти как я. А потом ему надоело поджимать ноги, и тогда он встал, сунул мне пистолет подержать и начал крутить на качелях «солнышко».

Мы всё еще были одни во дворе. Пистолет показался мне тяжелым, как монтировка Василька. Собачка подхалимски смотрела на нас из-под рябины.

Той осенью Паштету было двадцать пять лет.

Не помню, как он слез с качелей и забрал у меня свой «макаров». «Дворники» очнулись, стряхнули со стекла рябиновые листья. Паштет помахал, уезжая.

Никто бы не поверил мне — разве что Димка, старший двоюродный брат. Толстощекий и добрый, он с невероятным трудом учился, словно каторжник, кротко отсиживал в каждом классе по два года. Таблица умножения никак не давалась ему, хотя по программе у них уже второй год была алгебра.

— Мне бы, Фил, восемь классов окончить, — мечтал брат, — и потом в учагу. На токаря.

Добрее, чем Димка, я никого в своей жизни не знал. Тетка Ира — та только пела как ангел, а нрав

имела сварливый, да и поколотить могла. С Васильком они бились нещадно, «до кровей», потом буйно мирились, и Димка спешно уводил меня из дому в такие минуты. Мы с ним сидели на веранде детского сада, выстроенного через дорогу от барака, — смотрели на клумбу, где поднимались длинные, как второгодники, мальвы и по собственному почину выросшая крапива, каждый лист которой казался мне похожим на крокодилю голову. Деревянные половицы веранды пружинили под ногами, Димка, сощурившись, добивал подобранные во дворе Семёры бычки и мечтал о будущем. У него тоже были свои надежды, все как одна связанные с романтическим произволом улицы.

— Попасть бы в кенты к Паштету, — мечтал брат. — Я бы для него... да я бы, Фил, всё для него делал. Сказал бы — разобраться с кем, я б разобрался.

— А убить? — замирал я.

Димка тяжело размышлял, щеки, и без того красные, как у зимней птички, имени которой я не знал, становились малиновыми.

— Убил бы.

И тут же сворачивал теме шею:

— Я б тебе, Фил, купил бы целую коробку бананов. И «Баунти — райское наслаждение». А матери — шампунь и колготки. А этому козлу, Васильку, отравленного спирта. Чтобы сдох!

Он был очень добрым, мой брат Димка. И я всегда с удовольствием искал для него недокуренные басики — во дворе Семёры подбирал чинарики «Конгресса», который предпочитали Паштет и его люди, и коричневые «Море» бандитских подруг.

Мне нравилось радовать брата. Но в тот день, когда Паштет крутил «солнышко» на качелях,

я не успел рассказать Димке о своем приключении — потому что следом меня накрыло еще одно. Словно докатилась вторая волна сентябрьского чуда.

Учительница стояла у доски с таким видом, будто ей не терпится поделиться с нами какой-то важной новостью. Новость она прикрывала от нас своей широкой юбкой.

— Ребята, у нас новенькая! — сообщила наконец учительница и отступила прочь, и за широкой юбкой, словно за открывшимся занавесом, обнаружилась маленькая, но очень красивая, по-особенному ладная девочка.

— Стелла была отличницей в своей школе. И она обязательно будет отличницей у нас, правда, Стелла?

Девочка с каменным именем (а разве оно не каменное? Тяжелое, как надгробие) пожала плечами, словно еще не решив, стоит ли удостоить нас такой радости.

— Подумаешь, — прошипела моя соседка по парте, Вика Белокобыльская, в которую я на днях все-таки собирался влюбиться.

Стелла молча прошла между рядов и села за нами. Я почувствовал себя особенно жалким и дурно одетым: на обувь для меня скидывались чужие родители со всей параллели, а одежду я донашивал за Димкой, и она висела на мне, как «элитный секонд-хенд из лучших европейских бутиков», что повис через пару лет на многих моих знакомых, включая ту самую учительницу.

У Белокобыльской пылали уши — так ей хотелось повернуться и сжечь презрением новенькую. Сразу после звонка, когда Стелла всё так же над-

менно вышла из класса, выяснилось, что тощие косицы моей соседки накрепко привязаны лентами к спинке стула. И встать с места она не может — ленты завязаны какими-то хитрыми тройными узлами.

Белокобыльская икала и выла, ленты пришлось отрезать учительскими ножницами с зелеными ручками, но Стелла так и не созналась.

— Вы что, с ума сошли? — спросила она у всего класса и у нашей учительницы в придачу. — Зачем мне это надо?

Учительница не нашлась что ответить — я понял это, когда увидел, что она бросила свои драгоценные ножницы на стол вместе с непроверенными тетрадями. Ножницы с зелеными ручками, в святости которых не сомневались даже школьные атеисты!

И еще я понял, что влюбился в Стеллу.

В тот вечер в нашей комнате было почти что тихо. Тетка Ира затеяла *стираться*, в ход пошел оцинкованный таз. Василька где-то носила нелегкая (я представлял себе эту нелегкую громадной бабищей с растопыренными холодными руками), а мы с Димкой пытались починить давно списанный с «большой земли» магнитофон «Романтик-306». Дерматиновый ремень вместо короткой металлической ручки, да и собственно надписи «Романтик-306» уже нет — там выведены белой краской острые буквы «Metallica».

Димка пыхтел, старался, мне было скучно, и я косился на окно, где за кустами боярышника темнели чужие гаражи. Тетка Ира ожесточенно

терла белье на стиральной доске, словно не стира-
ла его, а пыталась разодрать в клочья.

— Добрый день! — вдруг раздалось из коридо-
ра, и мы с Димкой подпрыгнули. На пороге нашей
комнаты стояла очень высокая женщина в белом
брючном костюме. За руку она держала девочку, де-
вочкой была Стелла.

— Вы хтось такие? — испугалась тетка Ира, уро-
нив с грохотом свою доску.

— Можно сказать, ваши соседи, — вежливо сказа-
ла брючная. — Мы переехали в седьмой дом.

— А-а, — протянула тетка Ира, как будто ей всё
тут же стало понятно. Она вытерла руки о шторку,
ногой сдвинула в сторону таз.

Брючная что-то шепнула на ухо Стелле и скоси-
ла глаза в сторону таза, словно объясняя — вот про
это я тебе рассказывала. Стелла и вправду смотре-
ла на таз, не отрываясь. Я надеялся, что меня она
не видит — толстый Димка закрывал обзор почти
полностью.

— Я показываю девочке, как живут в бараках, —
сказала странная гостья. — Видишь, Стелла, так
они стирают. Здесь спят. — Она махнула рукой
в сторону нашей с Димкой тахты, брат дернулся от
неожиданности, и я предстал перед Стеллой, ска-
зав «привет» писклявым голосом.

Стелла подняла брови.

— Этот мальчик учится со мной в одном классе,
Надежда Васильевна.

Надежде Васильевне новость не слишком понра-
вилась. А до тетки Иры стало наконец доходить,
что к ней пришла не только пара странных гостей,
но и вполне реальная возможность заполучить пу-
зырь, не напрягаясь.

— Слышь, Васильна, — доверительно сказала тет-ка Ира. — Не одолжишь чирик?

Вместо ответа брючная продолжала объяснять Стелле, будто они стояли перед клеткой с медведями:

— И вот так здесь говорят! Такими словами! Теперь ты должна хорошо представлять себе, на что будет похожа твоя жизнь, если не станешь слушаться Надежду Васильевну. Плохие девочки переезжают в барак, стирают в оцинкованном тазу, они пьют водку, спят на грязной тахте и у них рождаются мальчики.

Тетка Ира тем временем смекнула, что идея бутылки не хочет превращаться в бутылку реальную:

— Слышь, Васильна, тебе тут не зоопарк! Шуруй отседова! Или плати, за этот самый, за погляд.

Мне было стыдно, я молчал. Тугодум Димка спросил:

— А почему мальчики — это плохо?

С прочими тезисами странной Васильевны он будто бы согласился.

Гостья медленно, как сытый орел, повернула к нам голову. Какой у нее был нос! Даже отпетый двоечник понял бы на примере ее носа, что такое прямоугольный треугольник. Я и по сей день считаю, что именно в человеческих носсах природа хранит информацию о происхождении. Но тогда я, конечно, ни о чем подобном не думал, тем более в таких выражениях. Я был в ужасе и смятении. Никогда еще наша комната не казалась мне настолько дрянной, а сам я — таким жалким. Даже магнитофон с корявой надписью *“Metallica”* не исправлял ситуацию, а лишь только усугублял наше общее ничтожество.

— Мальчики — это проклятие, — объяснила Надежда Васильевна. — Девочки — благословение. И вообще, женщина всегда лучше мужчины.

Не знаю, чем бы кончилась эта сцена, если бы в дверях вдруг не появилась багряная, как говядина, рожа Василька — нелегкая доставила его сегодня домой необычайно рано. Гости поспешили на выход, и Стелла одними губами шепнула мне какое-то слово.

Димка уверял, что это было слово «извини».

У меня и у Стеллы, девочки, умеющей завязывать тройные узлы и врать в глаза учителю, у нас с ней нашлось кое-что общее. Да, она жила в Семёре, у нее, как вскоре выяснилось, даже была собственная комната. Но Стелла, как и я, осталась без родителей — причем если мои всё же присутствовали в виде физических тел в этом мире, то родители новенькой погибли в авиакатастрофе, той самой, где пилот дал сыну подержаться за штурвал. Надежда Васильевна, несмотря на брючный костюм и геометрический нос, была родной бабушкой Стеллы. Сложно представить себе человека, которому бы менее подходило это уютное, теплое слово!

Моя соседка по парте Вика Белокобыльская назвала Надежду Васильевну емким словом «чиканэ».

— Щас одену сапоги, и пойдем! — кричала Белокобыльская на всю раздевалку, а Надежда Васильевна толковала:

— Никогда не говори так, Стелла! Запомни: «одевают Надежду, надевают одежду». Кроме того, сапоги *обувают*. И совсем не обязательно информировать об этом всю школу.

Белокобыльская была для Надежды Васильевны не благословением, а чем-то вроде наглядного пособия. Типа той листовки, что висела в нашей столовой: «Хлеба к обеду в меру бери, хлеб — драгоценность, его береги». Конечно, Вике это не могло понравиться, но она помнила изрезанные ленты и пониженные в звании ножницы с зелеными ручками, и потому молчала.

А я однажды с удивлением обнаружил рядом с собой Репу и Корня: они явно хотели что-то спросить. Как правило, недруги не достаивали меня беседами, сразу били по почкам.

— Правда, что ты кореш Паштета? — спросил Корень. Его батон был одним из первых в районе кооператоров. Репа угрожающе сопел рядом, готовый тут же доказать свою лояльность.

История, как «мы с Паштетом» вместе качались на «березке», давно гуляла по району — я поделился с Димкой, брат от гордости за меня тут же понес новость дальше, и она летала от одной садовой веранды и компании до другой, пока не добралась до моих главных врагов. Как ни странно, они в нее сразу поверили. Хотя и решили переспросить.

Репа и Корень лупили меня с первого класса, это было для них таким же важным ежедневным делом, как кисель с коржиком на завтрак. Доставалось за всё — за имя, за то, что живу в бараке, за мерзкие, с точки зрения Корня, кудрявые волосы, за то, что их родители покупают мне зимние боты. И вдруг выяснилось, что били они меня, в общем, зря, потому что мерзкий кудрявый Филипек оказался корешем самого уважаемого местного бандита.

Когда я кивнул, что правда, и даже рассказал про «макаров», Корень предложил сегодня же пойти с ними «травить собак». Димка в те дни болел, лежал дома, и поэтому я надел («надевают одежду»), с разрешения, конечно, его синюю телогрейку, на спине которой было по трафарету выведено *Kill'Em All*. И побежал к «березке».

Теперь в наших отношениях с Корнем и Репой присутствовала некоторая неловкость — они всё еще по привычке хотели меня бить, но понимали, что делать это уже не вправе. Желания расходились с возможностями, и Репа с Корнем, натужно проявляя ко мне симпатию, внутренне невероятно страдали.

Я нашел бывших врагов на качелях — Корень рассказывал Репе свежую байку про Паштета, и при этом поглядывал на меня, как на учительницу, которой сдавал правило. Пришлось кивать с умным видом, впрочем, я действительно уже слышал эту историю от Димки.

На днях по приказу своего хозяина Паштет бросил гранату в окно одному авторитету. У авторитета был день рождения, пили «Амаретто ди Саронно», именинник погиб сразу, остальных гостей — человек десять — изрядно посекло, а после их достреляли на месте. Как в Древней Индии, на костер в девяностых всходили непременно со свитой. Наш район пребывал по этому поводу в страхе и возбуждении. По этикетным нормам, принятым в Свердловске и Палермо, за гранату Паштету должна была прилететь скорейшая *ответка*. Один из главных, центральной с короткой и звучной фамилией, по слухам, выписал Паштету тормоза. Как

и его хозяину, имя которого знающие люди называли только в самых серьезных случаях.

Нам было тогда по одиннадцать, и, хотя у Репы уже росли усы (у Белокобыльской, впрочем, тоже были усы — и она ревела, когда ей об этом напминали), нет никого глупее мальчишек в этом возрасте.

Уличные собаки мирно спали на канализационных люках, грелись вонючим теплом. Репа подошел к ним и начал лаять во всю глотку. Лаял он, по мнению Корня, *профессионально*. Собаки взволновались, принялись гавкать в ответ. Они были не чета той собачке-стожку — здоровенные дворовые шавки с хвостами, как сабли. Мы стояли и лаяли друг на друга, а Корень еще и пытался ударить одну из собак палкой с гвоздем, которую он рачительно принес с собой.

— Ну-ка прекратите! — приказал какой-то мужик: он вышел из подъезда с помойным ведром и бультерьером, похожим на хмурого злопамятного поросенка.

— А чё, если они первые к нам лезут, — заныл Репа. — Мы ничё не делали, они сами начали. — Ныл Репа тоже профессионально, мужик махнул рукой и двинулся к мусорным контейнерам. Бультерьер семенил с ним рядом и не мог оглянуться, даже если бы хотел, — точно как свинья.

Я загляделся на бультерьера — Димка рассказывал, что многие заводят их специально для боев. И, пока я смотрел на него, одна из шавок без лишних звуков вцепилась в ногу Репы.

Как он закричал! До сих пор у меня стоит в ушах этот крик — вопль искренней боли. Корень бросился прочь, за ним неслась и лаяла собачья стая.

А я схватил палку с гвоздем и, зажмурившись, саданул по лохматой морде с черными ушами. Я не думал, что делаю, — шавка вполне могла еще яростнее сжать челюсти, но это был щенок, инстинкты у него пока что не окаменели, и потому он выпустил ногу. Репа тут же повалился на землю, с помойки к нам бежал мужик, его хмурый бультерьер скалился, чуя запах крови.

И здесь мой героизм закончился — я вспомнил, что живу в бараке и что мне нечего делать во дворе Семёры. Пока мужик еще не добежал до нас, я метнулся, как пес, вправо-влево и юркнул в ближайший подвал. Двери в подвалах моего детства всегда были открыты, и я много раз спускался в этот смердящий мир — смердел он даже в Семёре. Крысы, кошки, бомжи, картежники, даже гроб, стоящий в закуте, — в подвалах Посада было интереснее, чем в самом загадочном сне. Но в этот раз мне было не до гроба. Я прислонился к влажной стене. Где-то рядом капала вода — каждая капля звучала, как нота. И, хотя кроме этой капли всё вокруг было тихо, я, дитя барака, наследный принц бывших болот и претендент на обладание оцинкованным тазом, всегда чувствовал чужое присутствие.

В подвале был кто-то еще, и ему было очень важно остаться незамеченным.

А я влетел сюда, бахнул дверью — думая лишь о том, чтобы бультерьер с хозяином не нашли бы меня и не устроили публичную разборку с участием Василька и тети Иры.

Поднялся по лесенкам, выглянул в дверь, она скрипнула. Репу уносил на руках в дом его отец. Мужик с бультерьером грозно озирались, и бульте-

рьер, клянусь, скосил свои пороссячьи глазки в мою сторону. Нет, выходить было нельзя.

И тогда я снова спустился вниз, но уже невесомой, бесшумной походкой — ей обучил меня в минуту доброго затишья Василек, которого нелегкая занесла однажды к вора́м. Настоящего вора из теткиного сожителя не получилось, но кое-что он помнил и порой проводил для нас с Димкой небольшие мастер-классы. К примеру, я до сих пор умею «ломать» деньги.

Тихо прошел мимо закута с гробом, спугнул крысу — но она тоже была воровской породы и шмыгнула почти незаметно, будто газетка прошелестела на ветру. У третьего с краю подвального окошка стоял человек, неподвижный, как памятник Свердлову. И я не знаю, что осветило его фигуру в тот момент — луна ли, свет ли фар «девятки» Репиных, помчавшихся отвозить искусанного сына в травму, — я не уверен ни в луне, ни в фарах, но точно знаю, на чем бликовал этот свет. То был символ эпохи — калаш.

Человек не видел меня и не слышал, а я прилип к стене, чувствуя, как намокает от пота Димкина телогрейка. Тот, с калашом, мог учуять запах, и потому я двинулся в обратный путь, мимо гроба, по тюфячной вате, раскисшей под ногами и превратившейся в скользкую дрянь.

Несложно было догадаться, кого поджидал у окошка человек с автоматом. Уж наверное не любимую девушку!

Я бережно прикрыл дверь подъезда; сквозняк приподнял бахрому бумажных объявлений и опустил ее, как занавес. Собаки уже вернулись к своим теплым люкам и спали на каждом по две.

Во двор Семёры въезжал «опель» Паштета, из окон грохотала музыка, ымц-ымц-ымц. Рядом с Паштетом сидел мужик, сзади — две девчонки.

Я кинулся наперерез, Паштет едва успел затормозить. На нем был исландский шарф, почему-то я это заметил и запомнил.

— Дядь Паша, в подвале киллер! С калашом!

Ногу Репе зашили, но дворняга умудрилась повредить ему что-то важное, и Репа теперь сильно хромотал, и столь же сильно этим гордился — врал всем, что это не собаки, а пуля, предназначенная Паштету. Некоторые верили. Из-за хромоты Репу впоследствии забраковали на медкомиссии, и он не служил в армии, в отличие от своего друга Корня — отличие было ключевое, потому что Корня убили в Чечне.

Паштет, по слухам, скрывался где-то в Венгрии. А я целый год после встречи в подвале писался в постель. Тетка Ира заставляла выносить матрас на улицу, и Димка впервые в жизни начал меня стесняться. К тому времени он уже был в «пехоте», выполнял мелкие поручения кого-то из уралмашевских — его мечты сбывались, но судьба вдруг вспомнила и о моих. Однажды в дверь барачной комнаты постучался мужчина, весь, от макушки до носков ботинок, словно бы выделанный из тонкой, мягкой, красиво примятой кожи. Голос у него был такой, что всем, кто его слышал, мучительно хотелось откашляться.

Гость огляделся, и, поправив на носу очки, закрепил их пальцем, словно бы приклеил к нужному месту.

— Здесь проживает Филипп ...? — он назвал мою фамилию, и тетка Ира кивнула:

— Здесь он. Проживает... все мои силы проживает!

Кожаный человек еще раз утвердил на месте непослушную перемычку и начал объяснять тетке Ире, что меня хочет усыновить один очень богатый и влиятельный человек. Ей всего лишь нужно подписать некоторые бумаги, и она сможет получить за свое согласие немаленькую сумму.

Тетка Ира недоверчиво слушала:

— А на кой он влиятельному-то? Золотой, что ль? Он, слышь, по ночам ссытся.

Кожаный человек сдернул с носа непокорные очки, и, честное слово, хотел швырнуть ими в тетку Иру, но передумал и вежливо спросил, согласна ли гражданочка такая-то расстаться со своим племянником?

Вечером мы сидели за столом, и тетка Ира с особенным чувством пела мой любимый *жемьмо*. Василек смотрел на меня подозрительно, как на полную бутылку, которая только что была пустой. Димка шлялся где-то до поздней ночи, пришел, когда я уже спал.

А потом началась моя новая жизнь, за которую, как я полагал, следовало благодарить Паштета. Таинственный усыновитель повелел отправить меня в частную школу для мальчиков в Лондоне, и через месяц кожаный человек, велевший называть его Андреем Сергеевичем, уже должен был лететь со мной в Англию. Был июль, но я сумел попрощаться со всеми своими школьными знакомыми — даже Белокобыльской предложил писать мне письма, и она милостиво согласилась. Усики ее совсем не портили, она превращалась в симпатичную девуш-

ку. Но что мне было до этой девушки? Главное — передать новый адрес Стелле.

Дверь открыла Надежда Васильевна в белом махровом халате. Провела меня в комнату, уселась в кресло. Бледные ноги, которые я предпочел бы не видеть, она, как специально, закинула одну на другую. Вены, разрисовавшие кожу, были похожи на дождевых червей.

— Ты едешь в Англию? — удивилась Надежда Васильевна. — Я бы поняла, если бы туда поехала какая-то девочка.

— А Стелла дома? — спросил я. На мне был совершенно новый костюм из кусачей серой шерсти, был даже галстук, завязанный лично Андреем Сергеевичем.

— Стелла гостит у приятельницы, — сказала Надежда Васильевна и все-таки укрыла своих червей полкой халата. — Могу передать, что ты заходил, но ее это вряд ли заинтересует.

Я так и не решился отдать странной старухе бумажку с адресом. Тем удивительнее было, что Стелла всё же написала мне в Англию и даже прислала свою фотографию — такие портреты в земляных, ретро-коричневых тонах делали в те годы в Доме быта. Я выслал свою карточку — на фоне «Катти Сарк», с серьезным лицом. Снимал меня лучший друг — Джонни Эшвуд.

Как быстро забылось всё, что было у меня до Англии! Даже когда пришло письмо от тетки Иры (адрес на конверте вывела рука Андрея Сергеевича) — она писала, что Димку застрелили на разборках, а Василька посадили за кражу, которой он, конечно же, не совершал, — даже тогда я воспринял эти новости так, будто услышал их из телевизо-

ра — и они касались кого-то другого, не меня. Я хорошо учился, раз в год фотографировался — это требовал таинственный покровитель, занимался греблей, изживал русский акцент. Единственное, что я позволял себе делать в память о прошлом, — это читать в библиотеке старые российские газеты. Однажды на глаза мне попала заметка о том, что бывший криминальный деятель из Екатеринбурга, Петраков по кличке Паштет, был взорван вместе со своим хозяином К...вским по кличке К. в вертолете, в окрестностях озера Балатон. Паштета и К. грохнули два года назад, когда я только привыкал жить в Англии.

Конечно, меня и прежде волновал вопрос: кто был моим таинственным покровителем? Но Андрей Сергеевич вел себя еще извилистее обычного, когда я пытался разузнать у него хоть что-то об этой личности. Я не сомневался, что опекун — это Паштет, спасенный мной от калаша, — но оказалось, что Паштет давным-давно качается на небесных качелях и даже, может быть, крутит на них «солнышко»...

Чем старше я становился, тем чаще обо всем этом думал. Стелла, с которой мы переписывались время от времени, рассказывала, что Надежда Васильевна хочет отправить ее учиться в Сорбонну. Но за год до окончания школы ее странная бабушка умерла.

Я не понимал, зачем мне ехать в Екатеринбург на похороны Надежды Васильевны — ведь я не полетел туда, даже чтобы проститься с Димкой! Но Андрей Сергеевич настаивал, и поэтому я попросил мать Джонни проводить меня в Хитроу. Мне очень

направилась мама моего друга. У нее было еще два мальчика, младше нас с Джоном, и взрослая дочь, она жила где-то в Уэльсе.

— Как вы считаете, мэм, девочки лучше мальчиков? — спросил я по дороге. Мы, конечно, собрали все лондонские пробки.

Миссис Эшвуд расхохоталась, как девчонка.

— Что за глупые фантазии, русская душа? — так она звала меня после одной истории, литературного вечера, посвященного, моими заботами, Достоевскому. — Мужчина и женщина — две части одного целого. Что лучше, правая половина яблока или левая?

У нее был неортодоксальный ум; клянусь, если бы она не была мамой моего друга, я бы на ней женился.

— Знаешь, русская душа, — сказала миссис Эшвуд, пока мы с ней бежали на регистрацию рейса, — с девочками женщинам проще, особенно — *простым* женщинам. Девочки — в той же системе интересов. А мальчики... Им нужно так много! С ними нужно общаться, и еще — их обязательно нужно любить!

Добрая миссис Эшвуд громко чмокнула меня в лоб и подтолкнула к выходу.

Из-за меня похороны отложили на два дня, и мы с Андреем Сергеевичем мчались в крематорий, как на пожар. Надежда Васильевна лежала в гробу — белом, как у невесты. На лбу у нее была повязка, но не с молитвой, как у православных, а со словами «Так умирает Надежда».

Стелла схватила меня за руку, и я почувствовал, что не смогу отцепить ее пальцы — они были как

ленты, привязанные тройными узлами к спинке стула.

Бухнула дверь, гроб ушел в печь, будто участвовал в спектакле с крутящимся полом и сменой декораций. Мы вышли из зала, Стелла не плакала, глаза ее блестели.

Андрей Сергеевич протянул мне конверт — я видел в его лице облегчение, что сейчас он может наконец открыть правду.

Буквы скакали перед глазами, как черти.

«...августа... города Свердловска... официально удостоверяю...»

Это было свидетельство об опекунстве и еще какие-то бумаги, подтверждавшие, что Надежда Васильевна была моей опекуншей, она же оплачивала учебу в Англии. Последний листок в конверте, даже не листок, а крошечная бумажка, на каких пишут записки неважным людям:

«Девочки — лучше! Пусть у вас родится дочка. И не вздумай обижать Стеллу, а то приду к тебе в кошмарах и замучаю до смерти».

Я боялся посмотреть на Стеллу, но чувствовал, что ее рука опять впилась в мою — пальцы у нее были холодные и почему-то колючие, как чертополох, символ Шотландии.

— Не сработал ваш оцинкованный таз, — сказала Стелла. — Надежда Васильевна хотела напугать меня, а я, назло ей, влюбилась. И уговорила ее тебе помочь. Надо ведь было сделать из тебя человека, Фил. Теперь мы будем вместе, ты рад?

Вечером, после недолгих, но всё равно утомительных поминок, я вышел из Семёры — она показалась мне облезлой и маленькой. «Березки» уже не было,

на ее месте стоял актуальный по тем временам «пивной стол». Я на Белореченской поймал частника, и тот, под Аллу Пугачеву и вонь соляры, повез меня на Широкореченское кладбище. Частник ехал вкругаля, его явно вдохновил британский пиджак. Высадил он меня у главного входа на кладбище, и я довольно долго бродил среди могил, пока не вышел к «аллее героев». Надгробные памятники в полный рост, портреты братков – с ключами от «мерседесов», цепями на шее и клятвами «не забыть». Димкина могила нашлась здесь же, его удостоили вполне приличного памятника с портретом. Брат смотрел на меня, глаза в глаза. На пылевом венке спала, уютно свернувшись, серая, как гранит, собака. Ее не будили ни мои вздохи, ни удары далеких лопат, ни чье-то ясное пение:

Сад весь умыт был весен-ни-ми ливнями,
В тем-ных овра-гах стоя-ла вода.
Боже, какими мы бы-ли наив-ны-ми,
Как жеымо-лоды были тогда...

Как же мы молоды были тогда.

Горный Щит

Моей маме

— Оля, а почему ты сегодня в очках?

— Я без них только сплю, да и то не всегда.

— Прости, никогда не помню, кто в очках, кто — нет. И бороды не помню. Вот у Ленина была борода, как считаешь?

Ольга вытащила десятирублевую купюру из кошелька, показала Татьяне:

— Была. И борода, и усы. Как это можно не помнить?

— Ну, извини! Правда, не помню. А очки у него были?..

Автобус дернулся на повороте, по стеклам хлестнуло жесткой, как банный веник, августовской листвой. Юбки прилипали к ногам и к дерматиновым сиденьям, ехать было еще далеко. Вторчермет. Титова, Селькоровская — раньше здесь жили родители мужа. Лерочка говорила — «Селькорóвская», как будто в честь коровы. Татьяна не разубеждала дочку: объяснить ребенку, кто

такие сельские корреспонденты и зачем им посвятили целую улицу, да еще такую длинную, у нее всё равно не получилось бы. Пусть лучше будут коровы — они понятные. И ошибку на письме не делает.

Надо же, у Ольги колготки драные! Стрела — во всю ногу.

Ольга прикрыла стрелу сумкой.

— Ты лучше скажи, серьезно настроена? Потому что Алка тоже интересовалась, и Надежда...

— Ну Оля, вот зачем ты? Я же тебе сказала: мне лишь бы печка была, огородик. Пересидим с ребятами дурное время... Сразу же куплю, если там всё в порядке.

Ольга поправила очки на лице — как холст на стене.

Татьяна не волновалась, что обманут, знала — дом сам ей всё расскажет. Когда она приехала в Свердловск учиться, с первых же дней начала примерять к себе множество разных домов и квартир — и научилась их слышать, понимать, разбирать их истории, как шкафы по полочкам.

Вот, например, нелюбимые дома — всегда печальные, но при этом еще и мстительные, как гарпии. В самый важный момент, да при чужих людях, вдруг распаивают дверцы, а оттуда сыплется личная жизнь. Или еще: берешься за дверную ручку, и она вдруг оказывается у тебя в руке, отдельно от двери. Хозяин не любит свой дом — и дом грустит, плачет, эти пятна от слез — на обоях, на потолке. А если дом счастлив — тогда в нем всегда свет, даже если окна выходят на север. И цветы растут во все стороны, и кот спит в уютном кресле. В нелюби-

мых домах цветы вянут, а коты прячутся по углам, как мыши.

Татьяна еще на абитуре поняла, что никогда не сможет жить в общежитии, на виду у шести человек, — и сняла комнату в доме на Радищева, рядом с Центральным рынком. Частный сектор, удобства во дворе. В дверном проеме висела занавеска, сделанная из разрезанных открыток: Татьяна пропускала сквозь пальцы картонные кусочки и даже разбирала какие-то буквы — но слова из них никогда не складывались.

Желтые окна свердловских домов нравились Татьяне больше звезд, к тому же звезд всё равно видно не было. Окна мигали, переговаривались, сообщали Татьяне главное: однажды у нее обязательно будет свой дом! И это она лениво выключит свет в кухне и перейдет в спальню, она, Татьяна, а не с трудом различимая тетенька из углового дома на Куйбышева-Белинского. Не очень понятно было, откуда возьмется Татьянин дом — этого не объясняли ни окна, ни звезды. Она спала на старом топчане в тени картонной занавески, вечерами гуляла по улицам и мечтала. Вот здесь будет зеркало. А сюда надо повесить ту люстру, что сияет на третьем этаже ее любимого дома на улице Воеводина. Ах, Воеводин! Мастер по ремонту локомотивов и вагонов, а также, само собой, революционер и герой, мог ли он знать, что в честь него назовут эту чудесную улицу? За окнами — Плотинка. Подъезды, у которых действительно хотелось размышлять, а не грызть, к примеру, семечки. Под высоким потолком — щедрая люстра, висюльки овальные и прозрачные, как виноградины. Наверное, Воеводину было бы приятно.

Училась Татьяна блестяще — в этом смысле университет ничем не отличался от школы. Мама полагала, что в мире есть всего лишь две оценки — пять и два. Так что у Татьяны не было выбора, кроме как стать отличницей. «Круглой», — спокойным голосом уточняла мать, хотя это уточнение раздражало — представлялся блин с косичками, с глупой ухмылкой. На фотокарточках детского времени Татьяна закусывает щеки изнутри, чтобы казаться тоньше и незаметнее. А еще она писала мелким почерком — к счастью, разборчивым, и грызла хвосты собственных косичек, и не любила петь в хоре, хотя у нее, к несчастью, был голос.

Танечка не была счастлива в детстве, над ней постоянно что-то будто бы нависало — как просевшая палатка или декорация, которую устанавливали на скорую руку. У ее мамы тоже не было счастливого детства — но тогда вообще такой моды не было: никто не говорил, что дети должны быть счастливы! Жили как-то — и на том спасибо.

Мама часто повторяла, что смысл жизни — в труде. То же самое, немного другими словами, говорили по радио и в школе. Но палатка всё равно провисала, и декорация готова была обрушиться при первом же чихе. Хотелось быть счастливой без всяких условий, но этого никто не обещал — особенно детям.

Трудились в ее семье много. Даже фамилия Рудневы напоминала Трудневых, а те, в свою очередь, могли бы чисто по созвучию походить на Трутневых, но это уже было бы не про Марию Петровну и Степана Макаровича. После смены на заводе, у станка и в столовой, родители спешили домой, где начиналось второе отделение — на огороде.

С ближними соседями, укрытыми за невысоким забором Клебановыми, у Петровны и Макаровича шла вечная борьба, кто кого переработает. Клебановы были серьезными соперниками: вставляли до петухов, ложились позднее полуночников, еще и старик у них был крепкий, в одиночку окупил как-то всю картошку.

За окном летел неказистый, но милый уральский пейзаж — шеренга берез и горизонт с линией волнистых, низких гор (так подчеркивают определение при синтаксическом разборе).

— Подъезжаем, — оживилась Ольга. Народ вставал с мест, хотя автобус еще мчался — будто боялись, что не успеют выйти. Татьяна заметила табличку: «Горный Щит». В конце года читала со своими последними учениками Бажова. «Деревню-то Горный Щит нарочно строили, чтоб дорога без опаски была». Кто бы мог подумать, что в середине лета позвонит Ольга и скажет, что ее деревенские соседи срочно продают малуху в Щите?

Ольга тоже встала с места и теперь махала юбкой, как веером. От нее пахло, как от теста для блинов, которое только что завели. Автобус накренился, дернулся и вдруг сделал крутой поворот — люди повалились друг на друга, кто с визгом, кто с матом. Ольга устояла и даже промолчала, только очки сверкнули оскорбленно.

Подруги вышли на главной площади Щита — здесь было всё в точности как на любой другой площади большого уральского поселка. Магазин по кличке «Стекляшка», названный так не то за стеклянные

витрины, не то за вожделенные напитки, разлитые в стеклянную же тару. Рядом — брошенный, никому не нужный храм, а напротив автобусной остановки — школа. Татьяна сможет здесь работать, а Лерочка — доучится, ей остался всего год. Митя, если не поступит, пойдет вести труд у мальчиков. Счастье — в труде. Пересидим, прокормимся. Лихие времена не могут длиться вечно. Или могут?

— ...Храм, между прочим, построен по проекту Малахова, — Ольга уже довольно долго, судя по всему, рассказывала, но Татьяна ее не слушала, осознав вот только этот факт, про Малахова. В Екатеринбурге знаменитый уральский архитектор построил себе дом на краю города, а сейчас край города стал центром.

Главная улица в Щите названа в честь Ленина с усами и бородой — по ней и шли Ольга с Татьяной, то вниз, то в горку. Слева блестела речка, процветшая, как полагается в августе, целыми островками. От каждого дома к реке спускался длинный, как трамплин, огород, по периметру окруженный досками.

— А почему деревня называется Горный Щит? — спросила Татьяна. — Здесь же нет гор.

Ольга задумалась.

— Горы есть. Уральские называются. Ты их просто не заметила — они у нас невысокие.

У Ольги уже лет десять был дом в Горном Щите — остался в наследство от бабки мужа. На той же улице, но по правой стороне хозяева затеяли строительство большого дома, а получастка с малухой решили продать. Ольга сразу поняла, кому больше всех в Свердловске нужны изба с огородом в поселке Горный Щит — конечно, Татьяне. Упоминание

Алки и Надежды — это так, риторический прием. Изба должна достаться Татьяне: в школе платили гроши, а муж пахал без зарплаты уже год, как, впрочем, и вся страна. Татьяна бралась за любую работу, даже на рынке пыталась торговать, хотя какая из нее торговка? В первый же день выдернули из рук майки, которые дали на реализацию знакомые Алкиных знакомых. Майки — черный трикотаж, золотое напыление. Как надгробные плиты у цыган. Татьяне пришлось выплачивать из своих, просто с кровью выдирали из семьи эти деньги. А ведь она была самая способная из них, профессорша с кафедры стилистики не зря говорила: Татьяна, вам нужно идти в науку, а в школу пусть идет Ольга Нелюбина. Ольга не обижалась на профессоршу, ей не хотелось ни в школу, ни в науку. Она приехала в Свердловск из Бузулука, вышла замуж в конце второго курса — местный парень, математик. Родили двух дочек, Ольга репетиторствовала дома, но без особых стараний. До диплома не дотянула. Татьяна — та дотянула и, как все, по распределению отработывала в сельской школе. Вела там не только рус.яз. и лит-ру, как писали школьники в дневниках, но и немецкий, и даже музыку. Музыкальную школу Татьяна тоже закончила на отлично — благодаря маме, которая свято верила не только в счастье труда, но и в то, что девочка должна играть на пианино, а мальчик — на скрипке. Через год Татьяна вернулась в Свердловск и пошла работать в самую обыкновенную, можно даже сказать захудалую школку на ВИЗе. Опять снимала угол — на Февральской революции, в полуподвале.

Литературу она всегда объясняла при помощи языка — не только русского. И не всегда именно ту

литературу, которая была в программе. «Вы только не читайте сейчас “Анну Каренину”, подождите лет до тридцати!» — говорила Татьяна ученикам. Разумеется, на другой день все сидели, уткнувшись в «Анну». В самой фамилии Вронского, объясняла Татьяна, есть что-то неправильное, фальшивое — *wrong*.

Русский же был ее главный, любимый предмет — но и его она вела не по правилам. Причастия прошедшего времени, рассказывала Татьяна детям, вшивые. У отличников рты баранкой: как вшивые? А вы послушайте: приходиВШИЙ, забравШИЙ. И правда. Вшивые! А деепричастия какие? О, это выскочки и зазнайки, всегда якают: убираЯ, обучаЯ! И в прошедшем времени тоже есть вшивые: задумавшись, сделавши, не подумавши.

Для самых глухих к языку были у Татьяны совсем уж странные секреты и советы, уберегшие, между прочим, не одного детинушку от двойки в восьмом классе. Один из таких секретов — помнить про Вову. Вова скрывался в середине длинных слов, вроде «предчувстВОВАВшая» или «долженствОВАТЬ». Нашел Вову — пиши и не беспокойся, что сделаешь ошибку.

В рекреации, как называли школкин холл, стоял маленький, точно гном, гипсовый Пушкин — проходя мимо, Татьяна всякий раз гладила его по белым холодным волосам. Не грусти, брат Пушкин!

— Зачем вы его гладите? — спросил родитель девочки Эли из пятого «в».

— Мне кажется, ему здесь холодно. И одиноко.

Родитель впечатлился, потом — влюбился. Дальше случилась неприятная для всех история с раз-

водом, девочку Элю перевели в другую школу, а Татьяне вкатили строгий выговор с занесением в личное дело. После чего она вышла замуж, потому что тоже влюбилась — и родитель девочки Эли стал ее мужем, а также родителем Мити и Лерочки. Сутулый умный Митя и Лерочка, о которой учителя честно говорили, что она звезд с неба не хватает. Разве что в английском.

— А зачем вообще хватать звезды? — смеялась Татьяна. — Пусть остаются на небе.

Элю она упорно привечала, звала в дом — теперь он был у нее, пусть и не такой, о каком мечтала, зато свой, точнее, конечно же, — мужа. Она покупала ей подарки, объясняла про Вову в середине слова, но Эля так никогда и не простила свою учительницу — раньше самую из всех любимую. Она ее так любила! Феей считала и даже не верила долгое время, что Татьяна Степановна, как все, ходит в туалет — пока не встретила ее однажды на выходе из кабинки. На двери была намалевана красная буква Ж, похожая на растрепанный веник.

— ...Вот он, смотри! — Ольга не утерпела, издали показала Татьяне дом. Он стоял на углу и вид имел неказистый. Бревенчатая избушка поставлена, как часто на Урале, на голую землю, на четыре камня. Два окна смотрят на скат и не видную из-за него речку, еще одно — на улицу Ленина-с-бородой. Палисадник окружен забором — как будто лыжи составлены одна к другой. Замшелая шиферная крыша, дряхлые ворота.

Дом угрюмо молчал, не спешил откровенничать с Татьяной. Ему было что скрывать, как, впрочем, и двухкомнатной квартире в Свердловске, куда муж привел ее жить двадцать лет назад.

О, то была особенная квартира — злая, разобитая, несчастная.

Поначалу Татьяна всерьез решила, что квартира ее ненавидит: и полки на голову падали, и поскользнулась на ровном месте, и вещи пропадали, нужные книги и учебники — вдруг просто исчезали и далеко не всегда появлялись снова.

Мама, Мария Петровна, ставшая к старости верующей, советовала освятить квартиру, но в то же время совсем не по-христиански размышляла:

— А может, сделано здесь на тебя, Таня? Как ни крути, отца ты из семьи увела.

Мама не приняла зятя, она даже внуков любила не так, как могла бы. Татьяну это не печалило — ей сполна хватило маминого внимания, чтобы желать такого своим детям. А квартира боролась с ней целый год — и однажды, когда в очередной раз прорвало трубу в ванной, именно в тот день, когда ждали гостей, Татьяна решила на серьезный разговор.

Выглядело это, конечно, нелепо: беременная Татьяна стоит в коридоре и гладит рукой стену:

— Ну что ты, в самом деле? Почему ты меня не любишь? Тебя обижали, я знаю. Не заботились. Запустили. Теперь всё будет по-другому. Я сама — совсем другая. Хочешь ремонт? В комнатах сделаем побелку и накат. Серебристый. Или золотистый? Какой хочешь?

Квартира призадумалась. Помолчала пару дней. А потом решила поверить хозяйке — и не пожалела. Татьяна с нежностью думала о своем городском жилище — никогда не скупилась на то, чтобы порадовать квартиру подарком. Ну и ремонт, конечно, сделали с тех пор не один. Беленые стены с нака-

том, модным в семидесятые, опять оклеили обоями, да и те обои — уже в прошлом. На заводе мужу обещали четырехкомнатную, но как-то слишком уж долго обещали — поэтому Татьяна затеяла еще один ремонт. Всё делала, как всегда, сама — потому что умела всё, спасибо маме.

А потом в их чистенькую, добрую, свежую квартиру, как и во все другие дома страны, пришло дурное время. О четырех комнатах и думать теперь не следовало — платили бы зарплату. Так ведь не платили!

Сколько всего случилось за каких-то полтора года! Как это уместилось в такой ничтожный промежуток времени — Татьяна так и не смогла понять. Вполне приличная, по советским понятиям, бедность стала нищетой. Муж превратился в истерика, нужно было ему помогать, причем срочно, а не ждать от него помощи. То же самое происходило у подруг — Алка однажды с горечью сказала: я в своей семье — мужчина. Я работаю, я учу с детьми уроки, я добываю продукты.

Татьяна долго не хотела бросать школку, но потом ей пришлось выбрать — свои дети или чужие. Решил всё случай. Мама договорилась со своей знакомой — Фарида работала директором продуктового магазина, и Татьяна время от времени получала с черного хода пару банок сайры, курицу или еще что. В тот день ей достались и курица, и яйца, никого не учившие, но дефицитные. Жила Фарида на Уралмаше, этот район был для Татьяны словно бы еще одним, отдельным городом. Она в нем честно ничего не понимала, терялась и блуждала, как в потемках, даже ясным днем. Вот и теперь — вышла из

магазина Фарида, нагруженная, и не сразу поняла, куда идти. Бродила по уралмашевским дворам, опускала глаза: навстречу попадались крепкие ребята, только и ждавшие, чтобы сцепиться с кем-то — для начала взглядом. Они так странно ходили — заметно раскачивались при ходьбе, как моряки в кино.

Наконец вышла к трамвайной остановке. Трамваи почему-то не ходили. Татьяна дошла до вокзала, возненавидев по дороге и курицу, и яйца — плевать, кто из них был первым. Чтобы остыть, успокоиться, вспоминала зимнюю картинку — маленькая Лерочка прикладывает теплые пальчики к замерзшему стеклу. Вначале делает следы подушечек, а потом — всю остальную лапу, ребром ладошки. Получался правдоподобный отпечаток на трамвайном стекле — через этот след отлично было видно, какая черная зимою ночь в Свердловске.

Что будет дальше, непонятно. Чем кормить детей, неизвестно — еще и Фарида сказала больше не приезжать. Нет, надо искать дом — чтобы печка, огородик. Соседка, Любовь Ивановна из консерватории, вон, уже буржуйку купила. Если рубленый будет, бревенчатый, то с печкой не пропадешь. Пересидеть дурное время...

Прокормиться от земли.

Ольга постучала в гнилую калитку уверенно и громко, но открыли им не сразу. Хозяин — с печатью сидельца на лице и с вытатуированными перстнями на пальцах — всё делал подчеркнуто неторопливо. Заросший травой дворик, очерченный навесом, понравился сразу. А вот дом молчал так, словно ему зажали рот. Татьяна почувствовала, что начинает громко сопеть и вздыхать, как бывает, если

человек ей неприятен, но слова — под запретом. У хозяйки глаза метались по лицу, как тараканы по грязной кухне. Кроме них при разговоре присутствовала древняя старуха, безмолвная, как индейский вождь, и белобрысый мальчишка лет двенадцати, которого Татьяна решила спросить о чем-нибудь безобидном. И не придумала ничего лучше, чем узнать имя.

— Вова, — шепотом ответил мальчик и тут же исчез с крытого двора. «Вова из середины слова!» — подумала Татьяна и перестала вздыхать. Что, в самом деле, как маленькая? Люди бывают разные. Дома продают не каждый день. За такие деньги их вообще не продают!

Ольга давно вела переговоры, хозяйка с глазами-тараканами возражала, но без особой страсти, а старуха тоскливо смотрела на забор. Морщины на ее лице были глубокие, как истинное горе. Сиделец в разговоре не участвовал, но слушал женщин внимательно и пару раз цыкнул языком. Что это значило — неясно.

Дом отдавали задешево — потому что дед помер, а бабка вот-вот помрет, и нужно срочно делить наследство. Смерть старухи обсуждалась открыто и деловито — присутствием ее никто не смущался. Малуху и треть (не половину, как говорили раньше) огорода уступают Татьяне, а на оставшейся территории построят *нормальный*, как выразилась хозяйка, дом.

— Забор вот здесь поставим, — показала хозяйка, когда они вышли на огород. Татьяна проследила за ее рукой — и почувствовала эту линию на собственной спине, будто кто-то провел пальцем вдоль позвоночника.

Ольга бубнила недовольно: земля у вас серенькая, вот у нас, на той стороне, чернозем. Хотела выгадать еще какую-то скидку для нищей подруги, но Татьяна не чувствовала благодарности. Ее удивило молчание дома и эта несчастная старуха, что молчала с ним в унисон... Татьяна и сама не понимала — хочет ли теперь его покупать? Хотя глупость какая, конечно, хочет! И этот Вова, с его белой головенкой, с его шепотом — тоже каким-то белым, неслышным — хороший ведь знак! Белый шум, Горный Щит — всё складывается удачно. Всё будет хорошо, потому что слишком уж долго всё было плохо!

Они договорились, Ольга и хозяйка с глазами-тараканами, а прочие изображали, что им будто бы всё равно — хотя внутри ликовали и те, и другие. Хозяева знали, что малуха не стоит даже таких денег, каких они просили, а Татьяна поверить не могла, что у нее теперь есть свой кусок земли. Да что там — кусок Земли! Можно выстоять. Картошка, верный друг, не даст пропасть.

— Спасибо тебе, Оля! Я всегда буду теперь помнить, что ты — в очках.

Одно только смущало Татьяну — дом так и не сказал ей ни слова.

На следующий же день, как были подписаны документы, Татьяна повезла детей знакомиться.

— Вот наша избушка.

— Фу! — честно сказала Лерочка. — Какая-то старая развалюха. Я думала, будет дом, как у Полинки в Верхней Сысерти. А это какой-то Горный *shit*.

Дочку учили английскому, брали уроки у молодой выпускницы иняза — она заставляла Лерочку смотреть кинофильмы *в оригинале*.

Татьяна незаметно погладила бревенчатый бок дома — извинилась за Лерочкину грубость. Митя был умнее, тактичнее:

— Дом как дом. Пойдем, мам, покажешь, что нужно делать.

«Делать» — отныне это было главное слово в жизни Татьяны. Наконец родители могли быть довольны своей дочкой — она работала в Горном Щите так, что им не было стыдно за нее на том свете. Где они, возможно, всё так же соревнуются с ближайшими соседями.

Той осенью, когда купили дом, Татьяна устроилась репетитором к цыганской девочке. Всё было предельно серьезно: коттедж из красного кирпича на улице Шекспира, мужчины, не снимавшие норковых шапок даже дома, золоченые люстры лучше оперных. Здесь торговали шубами — они лежали прямо на полу, как дань, мягкая рухлядь, ясак, оторванный от сердца. В доме было непостижимое количество женщин — и у каждой имелась собственная комната, отделенная от общей, *зало*, цветными шторами. Посреди зало стоял видеоманитофон, с шумом перематывающий пленку, — смотрели цыгане только индийское кино.

Татьянина ученица — бровастая девочка Зарина — училась плохо, у нее не было ни способностей, ни желаний. Цыгане часто отдают детей только в начальную школу — читать-писать научат, и хватит с них. Но Татьяна работой дорожила — платили щедро, к праздникам давали с собой банку икры или шмат осетрины в оберточной бумаге. Сделав уроки с Зариной (точнее, за Зарину — этого, как вскоре выяснилось, от нее и ждали), Татьяна прямо от цыган уезжала к Южной подстанции.

Там пересаживалась на 110-й автобус – и он вёз ее привычной дорогой в деревню.

Дом в Щите был по-прежнему молчалив, проговорился лишь однажды – да так неожиданно и страшно, что Татьяна не сразу поняла, о чем речь. В один из первых дней после того, как хозяева съехали во времянку, Татьяна обнаружила в сених картонную коробку с пачкой паспортов. Самые разные паспорта – действующие, с пропиской в Свердловской области.

– Ворованные? – испуганно переспросила Татьяна у дома, но он не ответил. Тогда Татьяна отнесла коробку бывшим хозяевам – по дороге придерживала картонную крышку пальцем, будто опасаясь, что паспорта вырвутся оттуда, как птицы. Потом, конечно, ругала себя – надо было, наверное, заявить в милицию, но о милиции в девяностые годы говорили примерно в тех же выражениях, что и о бандитах.

Вот так всё и шло у них. Дом утрумо молчал, а Татьяна – работала. Муж сразу объяснил ей, что он городской человек, что на жизнь в *дерёвне* у него аллергия. «Может, приеду как-нибудь летом», – милостиво обещал он. Лерочка – та была с ленцой, которая становилась год от года всё объемнее и шире – распространялась не только на поступки, даже на чувства, движения души. Татьяна порой удивлялась: как она, с ее педагогическим чутьем, зевнула такую напасть?.. Ну да бог с ними, Лерочкой и ее папой, Татьяна была тогда в своих лучших годах – и готова была радостно угробить их во имя семьи. Помогал ей только Митя – он делал всё без восторга, но и не бежал никакой работы.

Начали с туалета. Хозяева, бог им судья, оставили после себя шаткий переполненный сортир и зловонную кучу вокруг дыры. Сортир снесли, землю разровняли, сверху Татьяна посадила цветы. Место для нового туалета отвели рядом с забором — Митя взял лопату, крикнул:

— Глубоко копать?

— Пока не закопаешься, — ответила Татьяна и тут же испугалась: что это она такое сказала.

— Долго жить собираешься, мама, — сказал Митя.

Наняли мужика, тот построил аккуратную будку — внутри Татьяна покрасила пол, на возвышение с отверстием пристроила круг от городского унитаза, выше оклеила стены из горбыля обоями, которые остались от ремонта Лерочкиной комнаты. Татьяна гордилась этим туалетом больше, чем любой из своих школьных программ.

Соседский Вова мелькал то и дело близ забора, разглядывал, что поделявают на огороде новые хозяева. Заводить разговор не пытался, в отличие от Санчика из дома напротив. Этот мальчик очень нравился Татьяне, а его интересовал, конечно, Митя: дружить со взрослым, да еще городским парнем — мечта! Юдами Санчик ровесник Вова, но был приветлив и общителен. Вова, тот даже для приветствия с трудом собирал силы. А Санчик являлся за просто:

— Тетя Таня, я у вас травы для кур возьму — у нас такой нет. — И топал, деловитый, с ведерком к зарослям мокрицы. Конечно, у них нет такой травы — сорной! Татьяна заглянула как-то — да у них огород был чище, чем изба, которую оставили ей жильцы. Она вывезла отсюда столько грязи! Печь, к примеру, была копченой, как старый котелок, —

а теперь стала свежей, беленькой. Татьяна даже нарисовала на ней двух ярких петухов — Санчик «искусство» одобрил.

Она сменила рамы, построила новые ворота — «имени Зарины», потому что девочка окончила четверть на четыре и пять, и благодарные цыгане отвалили «училке» щедрую премию. Пол в доме был выкрашен свежей краской цвета кабачковой икры — магазинной, из банки. Такой, что снимаешь крышку, а на ней, изнутри, — будто бы ржавчина. Митя подогнал друзей, нанял экскаватор и кран — и появился погреб, сделанный по всем правилам. Окна приобрели наличники, и дом стал смотреть веселее. Он постепенно оттаивал, собирался с духом, чтобы заговорить, — но в последнюю минуту каменел и молчал упрямо, как двоечник на экзамене.

А потом началось Это.

Наверное, прописная буква здесь не к месту — но в мыслях Татьяна всегда видела Это написанным через огромное «э оборотное». Длинный, раздвоенный язык — почти жало.

Она приехала в Щит с ночевкой, был, как с утра твердили по радио, день взятия Бастилии. Комары летали по одному, да и слепни вели себя почти прилично — не наседали, лишь изредка тарактели за спиной, как маленькие вертолеты. Татьяна предвкушала неспешный вечер работы — а потом она сядет в доме с книжкой, если останутся силы. И завтра, как подарок, — еще целый день счастливого труда. Приедет Митя с подружкой-однокурсницей — он легко поступил в Горный и сразу же начал встречаться с девочкой. Приятная такая, правда, из Алапаевска, и Лерочка на нее фыркает. Но это мелочи. Девочка славная, и зовут хорошо — Анфиса.

Остывая от духоты автобуса, Татьяна налила себе воды в кружку, списанную из городской жизни за треснувший бок. «Я просто латифундистка, помещица», — думала Татьяна. Она шла между грядами и, с гордостью поглядывая на свежую будку туалета, отпивала воду из кружки — вкусная! Потом «помещица» что-то заметила боковым зрением — именно так она замечала, как списывают на контрольных: сознательно скрытое движение привлекает больше внимания, чем обычное, бесхитрое. Здесь не было движения, здесь просто что-то было не так. Дверца приоткрыта. Татьяна подошла ближе, кружка выпала у нее из рук и, не разбившись, укатилась куда-то в морковь.

Обои, домашние и родные — золотистые загогулины на розовом фоне, — были содраны со стен и торчали из дыры туалета, будто какой-то страшный, нелепый букет.

Татьяна вошла в будку и зачем-то закрылась изнутри на задвижку. Сквозь щели в досках проникало не много света, и на душе вдруг стало темно и пусто. Татьяна потянула обойную полосу на себя, потом опомнилась, вылетела из туалета и, прижавшись спиной к молчаливому дому, заплакала.

Соседи ничего не слышали и не видели. Бывшие хозяева с утра до вечера разыскивали в городе материалы для строительства, Татьяна их давно не встречала. Во времянке жили только старуха с белоголовым Вовой. Санчик из дома напротив тоже ничего не знал — он целыми днями пропадал на речке. Ольга, к которой Татьяна побежала сразу же, еще не перестав плакать, обошла всех соседей, но всё без толку.

И дом — молчал. Молчал упрямо, как разобидевшийся подросток. Татьяна уехала тем вечером в город, оставаться в Щите ей было страшно. Наутро сюда прибыли Митя и Анфиса — девушка загорала, заклеив нос листком сирени, а Митя убирал «букет» из туалета. Татьяна вернулась к обеду — и оклеила будку заново. Правда, обои были похуже. Клеила и думала: чего ей ожидать в следующий раз?

Вот так Это и началось, а безмятежные, счастливые визиты в Горный Щит, напротив, закончились. Теперь Татьяна всякий раз группировалась перед поездкой, собирала силы и задерживала дыхание: примерно с такими чувствами мама хулигана стоит перед дверью в класс, где идет родительское собрание.

Однажды неизвестный пакостник протащил шланг от летнего водопровода (особое Татьянино достижение) до погреба и открыл кран — до отказа. Хорошо, что в этот день Ольга решила провести подругу — и закрыла воду, которая с шумом хлестала в пустую, по счастью, глубокую яму погреба. По деревенским меркам это была просто безжалостная месть. Вендеттища!

— За что? — спрашивала Татьяна у дома. — Что я делаю не так?

Но дом с ней не разговаривал, а Это всё продолжалось, причем пакостники явно входили во вкус. Любимую Татьянину сирень, огромный, торжественный, по весне совершенно врубелевский куст, созвучно этому сравнению однажды ночью вырубили. Точнее, изуродовали. Ветви лежали на грядках, цветы долго не умирали, хотя пахли уже не как живые.

Яблоня, которую Татьяна посадила в саду в первый год, дала наконец яблочки. Татьяна была счастлива — сразу решила, что не будет их рвать, пусть повисят на ветках, порадуют. Не провисели и трех дней — в очередной приезд Татьяну ждали голые ветви, а яблоки валялись во дворе раздавленные, со следами ребристой подошвы.

Митя рвался выследить пакостников, подкараулить — но Татьяна ему не разрешила. Еще чего! У нее всего один сын. Анфиса в этом вопросе поддерживала Татьяну: загорать с листком на носу ей наскучило, к тому же она убедила Митю пойти охранником в новый коммерческий банк на улице Гагарина. Муж вообще не желал слышать про *дерёвню*, а Лерочка предлагала «продать нафиг этот дом — и купить шубу». Кому — можно было не пояснять.

И всё же Татьяна не сдавалась. Да, она приезжала в Щит реже, чем поначалу. Да, ей было всякий раз страшно открывать калитку и ступать во двор. Она одинаково боялась и увидеть новое Это, и поймать пакостника на месте — главным образом, узнать его.

Кто это был? Старуха, чьей смерти с нетерпением — как премии! — ждала целая семья? Застенчивый Вова с белым чубчиком? Санчик? Его мама? Или, может, бывший хозяин с его татуировками и краденными паспортами?

Татьяна боялась, но не хотела расставаться с этим домом. За четыре года сюда было вколочено столько труда, ее и Митинога, столько денег, столько надежд на лучшую жизнь! Впрочем, жизнь и без Горного Щита становилась получше. Муж нашел работу, его взял к себе в контору бывший коллега. Платили вначале вещами, это называлось «бартер»,

но потом появились и деньги. Лерочке купили вожденную шубу и капор из енота. Обновки были к лицу студентке — пришлось разориться на репетиторов, зато дочь поступила с первой же попытки на романо-германское отделение, которое только что открыли. Выбрала итальянский язык. И вот теперь оканчивала уже третий курс.

— Я здесь жить не собираюсь, — сказала недавно Лерочка. — Найду мужа в Италии, и чао!

Представить дочку в Горном Щите было крайне сложно — она в любую погоду носила узкие юбки и высокие каблуки. Муж, укрепившись в звании добытчика, потешался над сельхоздостижениями жены — горсткой первой клубники, бесценным огурчиком, вечными братьями укропом и петрушкой, пучки которых Татьяна всучивала каждому гостю, все-таки доехавшему до ее дома.

Жизнь шла, и Это продолжалось, хотя иногда таинственный подлец стихал на несколько недель. Зимой он вообще не показывал носу, но как только Татьяна открывала новый сезон — тут же открывал следом свой. Топтал грядки, швырял навоз по двору, сдирал обои со стен туалета — чувствовалось, что он повторяется, выдыхается.

— Ты так говоришь о нем, как будто жалеешь! — возмутилась Ольга. Она втайне от подруги устроила как-то ночное дежурство во время Татьяниного отсутствия. Не спала всю ночь, но пакостник так и не явился. А жаль — Ольга принесла с собой топор для устрашения и оставила его у Татьяны в голбце, на всякий случай. Там лежал, оставшись от прежних хозяев, оживший и разобранный по предметам словарь народных говоров — пестерь, ребристый деревянный рубель, техло, камышовые

маты, драные крошки и древняя пайва, в которой уже не принести домой не то что Машу с пирогами, но даже грибов для жарёхи. Сплошное ремьё — хозяева выбросить поленились, а Татьяна оставила из вечной своей нерешительности. Она тяжело расставалась что с людьми, что с предметами.

Татьяна вернулась наутро, решила остаться до субботы — решила, точнее. Ночью ее разбудил стук: в окна — казалось, во все разом — били камешки. Кто-то орал истошным голосом, она боялась выглянуть. Сползла с кровати, нашла топор, обняла его, как собаку, и думала, что делать, если они полезут сразу во все окна. За дверь не боялась — там был кованый крюк, вдетый в массивную петлю.

Сидела так почти час, пока Это не прекратилось.

— Оно никогда не прекратится, — сказал тогда Дом, и Татьяна выронила топор, и он упал на пол с тяжелым тупым звуком — хорошо хоть не на ногу. — Мне больно, между прочим! — возмутился Дом.

— Почему ты раньше со мной не говорил? Я столько для тебя сделала, другой постыдился бы!

— Не говорил, потому что надеялся — ты и так догадаешься. Разве легко такое сказать?

Он скрипнул половицей, как будто вздохнул и собрался с силами.

— Тебе здесь не место.

— Почему это?

— Потому.

— Это не ответ. Скажи, кто меня так не любит?

Кто пакостит?

— Не скажу, но объяснить кое-что считаю долгом. Ты помнишь, как древняя зовется?

— Конечно. Горный Щит.

— Щит — орудие защиты. Тот, кто Это делает, защищает свой дом — и выгоняет чужих.

— Я не чужая! — возмутилась Татьяна. — Я честно купила и тебя, и огород! Ты что, сомневаешься?

— Не я, — рассердился Дом. — Тот, кто Это делает, не мыслит документами.

— А как он мыслит? — спросила Татьяна.

— Никак.

— И снова — не ответ!

Дом замолчал.

— Эй, — позвала Татьяна, но с ней больше никто не разговаривал.

На другой день она собралась уехать в город пораньше, но опоздала на автобус и вернулась.

В доме кто-то был — Татьяна шла на цыпочках в комнату и слышала, как там шоркают тряпкой, будто кто-то изо всех сил оттирает грязь с пола. Но, конечно, гость не оттирал грязь — он возил помойной тряпкой по чистенькой беленой печке, размазывая нарисованных петушков, как размазывал бы живых ногою по полу.

Татьяна увидела гостя — и тут же всё поняла.

— Наконец-то, — пробурчал дом на прощанье. — А вообще, ты мне нравилась! Встретиться бы нам пораньше... Эх!

И хлопнул форточкой, будто закашлялся — чтоб скрыть слезу.

— Оля, а ты почему без очков?

— Потому что в линзах! Раз десять уже рассказывала.

— А я так никогда и не помню — кто в очках, кто без очков.

Автобус дернулся на повороте, и пассажиры повалились друг на друга.

Татьяна смотрела в окно — надо же, как всё здесь изменилось! Храм отреставрировали, покрасили в канареечный цвет, окружили уродливой массивной изгородью. Хорошо, что Малахов не видит. Дома посвежели, то здесь, то там — краснокирпичные коттеджи, неожиданно походят на георгианские. Татьяна насмотрелась таких домов в Англии — ездила в гости к Лерочке, она живет со своим Джанлуиджи в графстве Кент. Стиль цыганский-георгианский, подумала Татьяна, вспомнив Заринку с улицы Шекспира. И всё же кое-что в Горном Щите уцелело, хотя прошло пятнадцать лет. Например, дорога, которая ныряет к реке, а потом поднимается вверх. И огороды-трамплины. И, конечно, лес, где каждое лето цветут купавки, желтые и маслянистые, как профитролы. Кровохлебка, пижма, татарник, иван-чай... Сейчас ранний март, нет никакого иван-чая. Обочины — в снегу, машины по-братски делят поплывшую дорогу с пешеходами. Собаки брешут в каждом доме — идешь как по клавишам, включая одну псину за другой. Как собака — по роялю.

Татьяна вернулась в свою школку той же осенью, когда продала дом в Горном Щите. Про себя она говорила так: «Я продала Горный Щит». Вновь продолжила вечную борьбу за русский язык и битву за литературу. Опять упражнения, где нужно вставить пропущенные буквы — слова шамкали без этих букв, как с выбитыми зубами. Мальчишки, как и прежде, пускали петуха, рассказывали стихи о любви, а потом писали бессмертные строки на партах, забывшись, как свои.

Лерочка давно причастилась любви и брака, после чего бросила мужа и уехала в Италию, где встре-

тила Джанлуиджи. Лысый и припухлый, как младенец-переросток, Джанлуиджи всю жизнь только и делал, что ждал свою Лерочку – он сам так рассказывал. В конце прошлого года увез ее в Англию: там была и новая работа, и новый дом – с багряным плющом по фасаду.

Татьяна скучала по дочери, но не так, как по Мите: Лерочка могла вернуться, Митя – никогда. Ее Митя умер целых семь лет тому назад. И три месяца. Она всегда знала, сколько месяцев. Всего семь лет и три месяца назад он был жив.

По сравнению с этим все беды меркли, превращались в мелкие досады, камешки в туфлях – вытряхнуть и забыть. Муж ушел к молодой коллеге – забыла. Сама постарела за год – неважно. Камешки, всего лишь камешки...

– И зачем тебе приспичило сюда ехать, в самую чачу?

– Самая чача еще впереди! Ну не сердись, Оля, просто мне хочется еще раз увидеть тот дом.

Дом был такой же мрачный, серый, молчаливый. Маленький рядом с уродливым двухэтажным коттеджем. Похож на древнего старика, который с трудом ходит, но до смерти всё будет делать для себя сам. Татьяна подошла к воротам, погладила их.

– Заринкины ворота. Всё еще крепкие. Почернели только.

Ольга разглядывала двор через щелочку.

– Ты мне так и не сказала, почему его продала.

– Потому что узнала, кто гадил.

Ольга чуть не упала от возмущения:

– Да как ты могла, вообще? Столько лет молчала! Я ведь на той же улице, между прочим. Он и ко мне мог...

— Не мог.

Они пошли вдоль забора вверх. Татьяна жадно разглядывала заснеженный огород. Яблоньки не было. Совсем.

— А кто это был-то? Сейчас хотя бы скажешь?

— Мальчик. Помнишь, Вова?

— Сын хозяев, маленький блондинчик? Помню. Но почему?

Татьяна улыбнулась.

— Потому что это был *его* дом. Ему никто не объяснил, что новое жилье строят для себя, не на продажу, и что он не останется навсегда с бабкой в той временке. С ним вообще никто не разговаривал. Этот прокопченный, убогий дом был его миром, который присвоила чужая семья. В этом возрасте принять такую трагедию невозможно. Я забрала не просто дом — я детство у него отняла. И он стал бороться. Мстил как мог.

— И ты не стала жаловаться? — не верила Ольга. — Не пошла к родителям?

Татьяна промолчала.

И дом тоже молчал, но теперь им не нужно было говорить для того, чтобы понять друг друга.

Две немолодые женщины стояли у забора по колено в снегу и смотрели на пустой огород, где торчала у дальнего забора всё еще живая туалетная будка. А потом пошли обратно, к дороге, стараясь попадать в свои же следы.

Теория заговора

Седьмой класс — это как седьмой круг ада, считал Пал Тиныч. Кипящая кровь — правда, не во рву, а в голове учителя. Измывательства гарпий — роли гарпий он, пожалуй, доверил бы сестрам-двойняшкам Крюковым и Даше Бывшевой, которая всё делала будто бы специально для того, чтобы не оправдать ненароком свое нежное, дворянской укладки имя. Кентавр — это у нас еврейский атлет Голодец, вечно стучит своими ботами, как копытами, а гончие псы — стая, обслуживающая полнотелого Мишу Карпова, вождя семиклассников. В пору детства Пал Тиныча такой Миша сидел бы смиряком на задней парте и откликался бы на кличку «Жирдяй», а сейчас он даже не всегда утруждается дергать кукол за ниточки — они и так делают всё, что требуется.

У Данте было еще про огненный дождь — разумеется, Вася Макаров. Не смолкает ни на минуту,

бьет точно в цель, оставляет после себя выжженные поля, никакой надежды на спасение. Пал Тиныхч Васю побаивался — и сам же этим обстоятельством возмущался.

МакАров — так с недавних пор Вася подписывал все свои тетрадки, настолько занюханные, что походили они не на «тетрадь — лицо ученика», а на обнаруженные чудесным образом черновики не очень известных писателей — покрытые пятнами, грибок и поверх всего — обидой, что не признали. Полгода назад, на истории, Пал Тиныхч рассказывал про Англию и Шотландию, пересказывал Вальтера Скотта — читать его седьмые всё равно не будут, как бы ни возмутило сие прискорбное известие автора «Уэверли» и «Айвенго» («Иванхое», глумился Вася МакАров). А вот в пересказе этот корм пошел на ура. Даже Вася, отглумившись, заслушался: на лице его проступали, как водяные знаки на купюрах, героические мечты, а рука отняла у соседки по парте Кати Саркисян карандаш и начала чертить в ее же тетради — девчочковой, аккуратнейшей — шотландский тартан. Пал Тиныхч видел, как в мыслях Васи складывается фасон личного герба: единорог, чертополох, интересно, а собаку можно? У Васи жил золотистый ретривер.

Школа, где преподавал Пал Тиныхч, звалась лицеем. Сейчас есть три способа решить задачу про образование: можно отдать ребенка в лицей, можно в гимназию, а можно — в обычную школу. Последний вариант — не всегда для бедных, но всегда для легкомысленных людей, не осознающих *важную роль качественного образования в деле становления личности и формирования из нее ответственного человека, тоже, в свою очередь, способного в будущем проя-*

вить ответственность. Ответственность и формирование — два любимых слова директрисы лица Юлии Викторовны, с которыми она управлялась так же ловко, как с вилкой и ножом. А бюрократический язык, как выяснил опытным путем Пал Тиныч, — это не только раздражающее уродство, но еще и *ключ к успешным переговорам, а также к достижению поставленной цели* (и это тоже — из кухонно-словесного инвентаря Юлии Викторовны).

Прежде историк говорил с директрисой в своей обычной манере: мягко шутил, чуточку льстил — не потому что начальница, а потому что женщина. Цитата, комплимент, «это напоминает мне анекдот» и так далее. Увы, Юлии Викторовне такой стиль был не близок — она слушала Пал Тиныча, как музыку, которая не нравится, но выключить ее по какой-то причине нельзя. Она вообще его раньше не особенно замечала — ну ходит какой-то там учитель, разве что в брюках. Насчет мужчин в школе — вымирающий вид, уходящая натура и раритет, — у нее было свое мнение. Юлия Викторовна предпочитала работать с дамами: она понимала их, они — ее. Формирование ответственности шло без малейшего сбоя. Директриса, кстати, и девочек-учениц любила, а мальчишек только лишь терпела, как головную боль, — от мужчин одни проблемы, с детства и до старости. Вот разве что физрук Махал Махалыч — тощий дядька с удивительно ровной, как гуменцо, плешью — даже будучи мужчиной, проблем не доставлял. Его формирование происходило при советской власти, которую Юлия Викторовна зацепила самым краешком юности — так прищемляют полу плаща

троллейбусными дверцами. Прежде чем произнести что-то сомнительное или, на его взгляд, смелое, Махалыч прикрывал рот ладонью, звук пропадавал — и физрука приходилось переспрашивать: «Что-что?» Тогда Махалыч делал глазами вначале вправо, потом влево и повторял свою крамольность, так и не отняв руки ото рта — но это было неважно, ведь он никогда не говорил ничего на самом деле сомнительного или смелого. Общение с физруком было тяжким, Пал Тиныч давно свел его к двум-трем вежливым фразам, а вот директрису историк приручил — и сам был удивлен, как это у него получилось.

Тогда он пришел к Юлии Викторовне с очередной просьбой — и, в очередной раз, не своей, Дианиной. Хотел начать как всегда — интеллигентный пассаж, шутка-каламбур, — но сказал вдруг вместо этого следующее:

— Прошу вас верно оценить сложившуюся ситуацию и пойти навстречу молодому специалисту Механошиной Диане Романовне, которой требуется выделить средства для поездки ее в качестве руководителя школьного ансамбля в Германию.

Директриса смотрела на него во все глаза — как будто видела впервые. Как будто иностранец залопотал вдруг на русском языке — да еще и уральской скороговоркой.

— Я не возражаю, — произнесла наконец. — Мы изыщем средства.

— Благодарю за оперативно принятое решение. — Внутри у Пал Тиныча всё смеялось и пело, как бывает в первый день летнего отпуска на море.

— А по какой причине Механошина сама не явилась? — насторожилась Юлия Викторовна.

— Сегодня Диана Романовна отсутствует по семейным обстоятельствам и попросила меня довести до вашего сведения эту информацию.

Директриса кивнула и попрощалась — лицо у нее было как у королевы, которая раздумывает, не дать ли ему поцеловать перстень. Не дала — лишь подровняла с шумом пачку бумаги на столе, и так в общем-то ровную.

Пал Тиныч вышел из кабинета и почувствовал, что радость исчезла — более того, ему вдруг захотелось срочно принять душ, или хотя бы прополоскать рот, чтобы произнесенные слова не прилипли к языку навсегда. Но было поздно — он принял клятву бюрократа. Стыдно, зато тебя понимают. И Диана была рада: родители лицеистов давно отказались складываться на поездку для руководительницы, то есть своих-то отпрысков они оплачивали беспрекословно, но включать в стоимость Диану не желали. Кризис никто не отменял, а те, кто родом из девяностых, — они всегда начеку.

Родители — поколение первых в стране богатых и будто бы свободных людей — обладали в лицее истинной властью. Не все: ареопаг, как водится. Именно эти избранные решали, какой учитель достоин преподавать в лицее, а какому лучше перейти в обычную школу. Рита, жена Пал Тиныча, работала как раз в обычной — и честно не понимала, в чем разница между двумя этими заведениями. Условия почти те же, в чем-то лицей даже хуже — вот в Ритиной школе каток больше и актовый зал просторнее.

— Зато у вас детей по тридцать пять человек в классе и контингент по месту жительства, — заступался за лицей Пал Тиныч.

— И что? — сердилась в ответ Рита. — Мне, по крайней мере, не объясняют, кому какие оценки нужно ставить. И камеры в кабинет не вешают.

Камеры — это она попала сразу и в яблочко, и по большой мозоли. Меткий стрелок, дочь охотника. В середине года в лицее был скандал с молоденькой учительницей, которая «не довела до сведения администрации конфликтную ситуацию». Девочка Соня написала полугодовую контрольную на два — и учительница решительной рукой нарисовала и в дневнике, и в журнале кровавого лебеда. А девочка была не просто девочка по месту жительства, но дочь могущественной Киры Голубевой, главы родительского комитета, дамы без возраста и сомнений. Соня Голубева — она сейчас учится в одном классе с МакАровым и сестрами Крюковыми — дурнушка с крепкими икрами футболиста, вечно шуршит обертками от шоколада, будто не на урок пришла, а на балет.

Сонина мать явилась на следующий день после двойки, еще до первого звонка зажала биологичку в лаборантской. Училке бы покаяться, принести извинения — ладошка к груди, брови кверху. А она начала спорить: ваша девочка не знает ничего, полный ноль, на уроках сидит с отсутствующим видом. На слове «отсутствующий» биологичка сбилась, это слегка смазало впечатление.

— Она ничего не знает, потому что вы не научили! — сказала Кира Голубева, и палец ее смотрел прямо в сердце биологичке, но та никак не могла понять, что происходит, — бубнила всё мимо, не то.

— Я подаю лицу такие деньги не для того, чтобы моя дочь сидела на уроках с отсутствующим видом! — повысила голос Кира и на слове «отсутствующий»

щий» не сбилась, устояла. Ей не улыбалось болтать с этой дурой так долго — да ей вообще этим утром не улыбалось. — Ваша задача — сделать так, чтобы Соне было интересно. Не получается — ищите подход. Вам за это платят, и платят прилично, не то что в обычной школе.

Биологичка хотела что-то сказать, но поперхнулась словом и просто чмокнула в воздухе губами — как будто поцеловала Киру Голубеву. На другой день в кабинете установили видеокамеры — Кира хотела знать, как продвигается дело по увлечению Сони биологией. Дело продвигалось вяло, Соня зевала, хрустела челюстью, и потому через месяц училку пришлось уволить. На ее место — как в китайском оркестре за каждым скрипачом — стояла длинная очередь претендентов.

Пал Тинычу не нравилось засилье родительской власти в лицее — но он прекрасно понимал, что революции здесь быть не может. Как и эволюции. Разве что деволуция и девальвация. Если жизнь его чему и научила — а ему с детства мама предсказывала, что жизнь обязательно обломает сучья и нападдает по всем местам, — так это терпению.

Он терпел Риту — хотя она подтрунивала над ним, потешалась, насмехалась и сколько бы еще глаголов вы ни вспомнили в продолжение ряда, все они здесь подходящие, берем — заносите!

Он терпел Диану — пусть она была ему временами совершенно непонятным и чужим человеком. Терпел коллег, терпел учеников (даже седьмой класс с литерой «А»). Терпел кроткую зарплату — Кира Голубева заблуждалась: платили в лицее немногим больше, чем в обычной школе, а он к тому же посылал часть Артему, тайком от жены. Терпел он и об-

ратную дорогу с ярмарки, и чем дальше уносило его от юности, тем больше требовалось терпения, но он справлялся: он вырабатывал терпение, как тополь — кислород. Это, кстати, была последняя тема урока у злополучной биологички, «сосланной» в обычную школу, — деревья, кислород и так далее.

Пал Тиныча в его терпении поддерживала вера — но не та, которая всех нас обычно поддерживает, с той верой у него как раз не очень складывалось. Зато была другая.

Теория заговора.

Рита особенно насмешничала по этому поводу — что он подозревает всех кругом, начиная с председателя проверяющей комиссии и заканчивая английской королевой.

Раньше, когда они были молоды, и Рита вставала каждое утро на час раньше, чтобы накраситься и сделать прическу — и только потом ложилась обратно в кровать и открывала глаза красиво и томно, как в фильме, где даже безутешные вдовы носят роскошный макияж... Так вот, раньше, когда они были молоды и Тиныч, уходя в ванную, всегда включал воду до упора — чтобы не оскорбить слух жены неуместным звуком... Да что ж такое, невозможно слова сказать — тут же проваливаешься в воспоминания, как в ловчую яму! Попробуем еще раз: когда они были молоды, Пал Тиныч делился с женой своими наблюдениями и мыслями, и она его внимательно слушала.

— Какое у вас красивое тело! — говорила жене массажистка, а Пал Тиныч ей терпеливо объяснял: всех массажисток специально учат льстить клиентам, чтобы они пришли еще раз именно к этому специалисту.

Или другой пример. В девяностых, когда они только начинали жить вместе, Артему было года три, рядом с их домом открыли казино. Раньше там работала «Пышечная», Пал Тиныч с детства привык смотреть на очереди под окном — со всего города приезжали сюда за пышками. А теперь — казино с традиционным названием «Фортуна».

— Ты не обратила внимания? — обращался Тиныч к жене. — Ровно в восемь ту дорожку, мимо казино, перебегает черная кошка. Каждый день!

— Придумываешь, — отмахивалась Рита.

— Ничего подобного. Они специально выпускают черную кошку, чтобы суеверные люди сворачивали в эту «Фортуну».

— Да что за бред, и почему ровно в восемь?

Рита смелела год от года, а Пал Тиныч так же год от года учился молчать о том, что видел, — и никто не мог его переубедить, что это бред или глупости. Он не был сумасшедшим, а идея его навязчивой считаться не могла — он ее почти никому не навязывал. Но идея, конечно, менялась, как любое искреннее чувство, становилась со временем всё мощнее и масштабнее. Вера в заговоры помогала объяснить всё, что происходило вокруг, даже самое нелепое.

В последнее время Рита морщилась, стоило Палу Тинычу лишь упомянуть о «Комитете 300» или заговоре нефтяников, вот он и прекратил эти упоминания. Хотя находил повсюду новые и новые свидетельства. И как историк, и как мыслящий человек.

— Не вздумай забивать этим голову Артему, — приказала Рита. — Хватит с меня одного заговорщика.

Артем был ее сыном от первого брака, так что Рита имела право командовать. Хотя если бы спросили Артема — задали бы ему тот дурацкий вопрос, который нынче, в свете новой психологии, исключен из традиции, — кого он любит больше, маму или папу, он не затормозил бы перед ответом ни на секунду. Разумеется, папу! Мама с пятого класса пыталась сослать его в суворовское училище — но оно оказалось под завязку укомплектовано наследными принцами из олигархических семейств, не справившихся с главным в жизни делом — воспитанием. А папа всегда был с ним рядом, ему можно было рассказать всё — и не бояться получить по губам шершавой ладошкой, а потом еще и огрести наказанием, которое могли бы взять на карандаш даже строгие британские воспитатели из закрытых школ.

У Пал Тиныча был простой подход к воспитанию. Он считал, что родитель — неважно, родной или нет — должен успеть научить свое дитя как можно большему. Покуда знания, умения и навыки усваиваются — учить да учить. И терпеть, конечно.

С Артемом было сложно, это правда. Терпения уходил двойной запас — как у батареек на морозе. Исключительный шалопай, ласково думал о сыне Пал Тиныч. Это он сейчас так думал — а лет десять назад руки чесались по всей длине, как говорится. И глаз дергался. И сердце — ходуном. Он сам ведь тоже был не подарок, мама не зря его в детстве пугала жизнью-дровосеком. Но терпел. Ни разу не ударил мальчика. А вот Рита прикладывала ему почем зря.

— Ты же учитель, ну как так можно! — увещевал Пал Тиныч, но в ответ летело воинственное:

— Уйди с дороги, а то и тебе прилетит!

В самых тяжких случаях Пал Тиныч уводил Артема из дома, они сидели на пустой веранде в ближайшем детском саду.

— Ты пойми, — говорил Пал Тиныч, — хорошим быть выгоднее, чем плохим.

— А плохим зато интереснее, — считал Артем.

С этим было трудно спорить, но Пал Тиныч пытался. Артем его слушал, поглощал слово за словом — как голодный человек, который не может остановиться, всё ест и ест, хотя давно не лезет. Слушал и грыз кожу вокруг ногтей — пальцы у него были объедены, как деревья зайцами. Раньше мальчик жевал бумагу — отрывал от книг и тетрадей, портил обои, потом начал есть сам себя. Пал Тиныч купил сыну головоломку, чтобы крутил в руках и отвлекался — и вроде бы помогало, но уже через день он ее обронил где-то и снова начал грызть кожу.

Пал Тинычу было так жаль Артема, как большинство из нас умеет жалеть лишь самих себя. Мальчик был умен не по возрасту, не по статусу — и не понимал, что надо скрывать этот факт даже от мамы, потому что его не простят, как и талант не прощают, и красоту... Артем был еще и красив — даже слишком красив для мальчика, и Риту это обстоятельство тоже почему-то раздражало. Потом уже только Пал Тиныч понял почему.

На веранде говорилось легко, не зря их так любили хулиганы в девяностых. Пал Тиныч, правда, в конце концов выдыхался — и тогда высказывался не сам от себя, а включал, например, Шекспира.

— Входят три ведьмы, — начинал Пал Тиныч, и Артем закрывал глаза, как старичок в филармо-

нии — чтобы ничего не отвлекало от музыки, то есть от Истории. История, которую рассказывал сыну Пал Тиныч, и история, которую он преподавал пятым, седьмым, девятым и десятым, сливались воедино — и получалось так, что Артем знал гуманитарную линейку лучше некоторых учителей, и не умел смолчать об этом. А учителя — обижались.

Пал Тиныч и сам отлично знал это чувство — когда подготовил урок об инквизиции, например, навдумывал загадок и вопросов для детей, которых развлечь без компьютера практически невозможно, — и вот на полуслове тебя сбивает с мысли какой-нибудь Вася Макаров:

— Полтиныч, а я видел Папу Римского! Он няшка!

Все они были в Риме, в Париже, сестры Крюковы плюются от Англии и считают Швейцарию скучной. Даша Бывшева целое лето проводит в Испании, у Карповых — дом в Греции, а что здесь такого?

— Да-да, Вася, я рад за тебя, — говорит Пал Тиныч и пытается встать на ту же самую лыжню — но какое там, впереди несется Вася и кричит на ходу, оборачиваясь:

— А вы были в Италии, Полтиныч?

— Не был, Вася.

Седьмой гудит, не верит. Как можно не бывать в Италии? Уже даже дети учителей туда съездили — правда, на них скидывались другие родители.

Дети лицейских учителей — особая разновидность школьной породы. Учатся лучше других, привыкли к повышенному спросу — их спрашивают чаще, это правда, и еще они с детства перециклены на том, чтобы соответствовать одноклассникам. В одежде, привычках, манерах. Это сложно, край-

не сложно для родителей. Поэтому Артем учился в Ритиной школе, и даже ту ему с трудом удалось окончить без двоек. Да, Шекспир, да, общий гуманитарный фасон выдержан, и даже математику дотянул — Рита за ним следила, как коршун за цыпленком. Но гонор какой! Высочка! Учительница природоведения из Ритиной школы даже написала ему в конце четвертого класса через весь дневник нелицеприятную характеристику, и Рита перестала с ней здороваться, свистела при встрече какое-то «сссс». Эта учительница природоведения была как тумба, и не только на Артема осерчала, но еще и позавидовала самой Рите, худенькой, лет на пятнадцать моложе паспорта. Вот эта зависть и вылезла из нее чернильными каракулями — бывает. На детях все обычно срываются — это очень удобно.

Сейчас Артем живет далеко от них, перебрался вначале в Питер, потом в Китай. Пал Тиныч сам ему посоветовал — уезжай. На расстоянии с матерью будете жить мирно. Так и получилось. Рита даже гордиться им понемногу начала — фотографии показывает в школе, вот Артем в Сиани, вот Артем в Лояне. Но стоит мальчику приехать — и, как в песне, начинается сызнова.

Всё мог понять в своей жене Пал Тиныч, кроме вот этой странной нелюбви к сыну — даже, он сказал бы, ненависти. Можно было бы объяснить это тем, что Рита не любила первого мужа, но нет, даже очень любила. Отец Артема был из околобандитской среды, закваска ранних девяностых. Красивый хмурый парень — Пал Тиныч часто смотрел на его карточку, вставленную между стеклами секретера. Чем он занимался, с кем имел дело, Рита особенно не рассказывала — но однажды откры-

ла, что Сережа покончил с собой. Она почему-то скрывала этот факт, считала самоубийство чем-то постыдным – вроде неприличной болезни. И это тоже казалось странным – Пал Тиныч никогда прежде не сталкивался с таким отношением. Потом понял, в чем дело: Рита считала, что у хорошей жены муж не застрелится. А если у нее застрелился, значит, она жена плохая. И все скажут, подумают, осудят, будут показывать пальцем и так далее, сами знаете. Жить в обществе и быть свободным от общества по-прежнему нельзя, хотя уже и необязательно помнить автора цитаты.

Но сын, сын-то почему? Ведь удивительный, уникальный ребенок! Читать в три года начал. В девять лет – сонеты Шекспира переводил. Китайский выучил – теперь думает, оставаться там или в Европу ехать. Чем он ей так не угодил?

– Так она дочку, наверное, хотела, – сказала однажды Диана и попала, как это у Диан обычно и бывает, прямо в цель.

Пал Тиныч и сам часто думал: мы живем в эпоху женщин. Раньше, история не даст соврать, ценились мальчики – но сейчас эти предпочтения уцелели разве что в Китае. Сейчас все поголовно хотят девочек. Дочек. С ними проще, это правда. Бывают неприятные исключения (Крюковы, например), но в целом девочки слышат, что им говорят, они обладают врожденным послушанием (мальчикам вместо него положена агрессия, и она хранится в одном месте с тестостероном), не цепляют столько вредных привычек. И самое главное: девочки – в той же системе интересов и ценностей, к которой приписаны женщины, главные воспитатели современных детей. Наря-

ды, жизненные удовольствия, комфорт. Танцы, романтика, наращивание прядей натуральными славянскими волосами (Пал Тиныч увидел однажды это объявление по телевизору — и такого себе напредставлял, что пришлось идти к Рите за разъяснениями). Будем честны: наш мир — в городской его версии — гораздо лучше приспособлен для женщин. К мужчинам он предъявляет такие требования, что не всякий выдержит. Женщины — мамы, бабушки, учительницы и воспитательницы — первым делом выпалывают из мальчишек ту самую агрессию, не понимая, что это не сорняк, а ценный знак. Пал Тиныч иногда разрешал Артему покомандовать — именно для того, чтобы он чувствовал, что имеет право это делать. Рита же всегда ломала сына — жестоко ломала. Она мечтала о дочке Арине, так и не смирилась с тем, что у нее мальчик, а второго ребенка ей Бог не дал. Не дают таким второго — потому что они первого не любят. Даже красота Артема ее раздражала — она видела на его месте так и не рожденную Арину, красивая была бы девочка!

Зато у Артема был лучший в мире папа — слова «отчим» мальчик ни разу в жизни не произнес, он и значением его не интересовался. Хотя по части значений разных слов всегда был на высоте. Поправлял учителей, если те ошибались — в слове «апостроф» ударение падает на третий слог, Майя Давыдовна, а роман этот написал не Уайльд, а Стивенсон. Подсказывал нужное слово, соскочившее по дороге от мыслительного к речевому аппарату. Пал Тиныча беспокоила нервная разговорчивость Артема — но, в отличие от жены, он не верил, что этот вывих вправят в военном училище.

Рита сердилась, когда Пал Тиныч входил в детскую ночью и слушал дыхание сына — ему всё казалось, что тот как-то слишком тихо спит. Он боялся за него, мучительно жалел в отрочестве — самом уязвимом возрасте, когда сам себе не рад. Прыщи, голос, срывающийся от тенора к басу, вечный страх, что родители вдруг сделают что-то не так при друзьях, будут выглядеть смешно, опозорят. Наедине Артем всё так же доверял отцу, но стоило появиться сверстнику — менялся, грубел, грубил. А потом вырос, повзрослел, уехал. Девочка у него — китаянка. Пал Тиныч скучал, писал письма, отправлял деньги. Нелишние, пока учится.

Место, которое осталось пустым после отъезда сына, оказалось каким-то уж слишком большим — его нельзя было закрыть ни обычной жизнью, ни работой. Пал Тиныч смотрел по сторонам, видел озлобленную Риту, которую он всё равно никогда не бросит, и думал: вот так и прошеlestят все эти дни-годы впустую, будто это и не годы, а страницы, которые скролит в своем планшетнике Вася Макаров.

Потом на одной странице случился сбой системы — в лицей пришла Диана.

Пал Тиныч отлично помнил этот день. Было так: сидит он в лицейском буфете. И тут входят три ведьмы — Кира Голубева и еще две мамашки, одна в розовом и блестящем, другая — в черном и клепаном.

— Видели новую по музыке? — спросила клепаная. Многодетная мать, между прочим, Пал Тиныч имел честь обучать истории всех ее отпрысков.

— Нет пока, — заинтересовалась Голубева, не сразу почувствовав, как розовая и блестящая дер-

гает ее за рукав — новая по музыке уже зашла в буфет и осветила его своим невозможным мини. Пал Тиныч пролил на стол кофе. Клепаная выронила всю мелочь из кошелька, и дети, которые стояли в очереди за плюшками, начали подбирать ее, стуча лбами.

— Это еще что такое? — вымолвила Кира Голубева, не с первой попытки придав лицу нужный презрительный вид (получился вначале удивленный, а потом завистливый).

— Это наш новый учитель по музыке, Диана Романовна! — крикнула одна из Крюковых, кажется, Настя.

Диана покраснела — чудесным, ровным румянцем, не то что Кира Голубева: у той в припадках злости проступали на щеках неопрятные красные материки. Южная Америка на правой щеке и Австралия — на левой. У Дианы даже румянец был совершенство.

— Ну и титаники, ничего так, — снизошел до новой училки Миша Карпов. Пал Тиныч сделал вид, что не заметил этой фразы, уткнувшейся в беззащитную спину Дианы — и трепетавшей там, как стрела. Бесплезно замечать — такие, как Миша Карпов, сын богатых родителей, всегда вне подозрений и замечаний. Миша, кстати, не такой уж и злой человек — и не такой назойливый, как Вася Макаров: от того даже школьная уборщица, дама не из робких, прячется в туалете. Заболтать Макаров может насмерть.

Пал Тиныч однажды оставил Васю после уроков переписывать тест по Смутному времени, попросил посидеть с ним школьного психолога. Та давно строила куры историку и потому согла-

силась, а когда Пал Тиныч, пообедав под ледяным взглядом Киры Голубевой, вернулся в класс, психолог стояла над Васиным столом и криком кричала:

— Да алкаш он, Вася! Обычный алкаш!

— Что у вас происходит, Олеся Васильевна? — испугался Пал Тиныч. По пищеводу, как в лифте, стремительно летела вверх котлетка, и так-то плохо прожеванная.

— Сама не знаю, — объясняла потом психолог. — Он меня вывел как-то неожиданно на разговор о моем муже. Спрашивает, главное, как взрослый! Ну надо же! Хорошо, что никто не слышал.

Пал Тиныч подумал — и решил: пусть «никто» так и останется никем. Не стал рассказывать ничего Васиной маме — да она и не любила, когда с ней говорили о сыне. Если ругали — расстраивалась, если хвалили — не верила. Она редко бывала в школе, хотя вызывали ее часто. Слишком сложным был ребенок, даже по современным меркам. Хитрый, лживый, ленивый — в стремлении увильнуть от выполнения обязательных работ доходил почти до гениальности. Но если ему было что-то интересно — прилипал намертво, как дурная слава. Чем-то он напоминал Пал Тинычу Артема — хотя внешне ничего общего. Артем тощий, как марафонец, Вася, пожалуй что, склонен к полноте, из кармана торчит вечный пакет с сухариками. У Артема, как у Риты, — темно-рыжие волосы, Вася — белокурая бестия. Наверное, в отца пошел, мама у него совсем другая — тоненькая печальная девочка со стрижкой, которую в советские годы называли «Олимпиада». Вася уже давно был выше и шире своей мамы. И вот эта девочка, на вид лет

двадцати, — Инна Ивановна — пришла однажды после уроков к Пал Тинычу и сказала:

— У меня давно созрел к вам разговор, Павел Константинович.

Она поймала его на выходе из класса. Мимо бежал еврейский атлет Голодец — полы под его ногами пружинили, как новенький матрас. Остановившись у окна, этот румяный юноша примостил ногу на подоконнике, поплюнул палец и начал оттирать пятнышко на новых кедах — сразу было понятно, что они новые и что Голодец находится с ними в особенных, нежных отношениях.

Инна Ивановна тоже смотрела на Голодца, пока он не убежал наконец в столовую — там гремели ложки и командный голос Миши Карпова.

— Я не понимаю, что происходит с нашей школой, Павел Константинович, — сказала она, вновь четко выговаривая его отчество — ни одного звука не пропало. Пал Тиныч вдруг вспомнил, что Васина мама работает в банке — ей это подходило. Васиной маме легко можно было бы доверить крупную сумму.

— А что с ней происходит? — бодро переспросил он вслух, выигрывая время на группировку и подготовку. Речь могла пойти о самых невероятных вещах, потому что никогда не знаешь, что придет в голову родителям.

Из-за угла вышла, как месяц из тумана, мама двойняшек Крюковых. Она целыми днями бродила по школе, отлавливала учителей по одному и пыталась их бесконечными расспросами. Ей страстно хотелось услышать про Дашу и Настю что-то хорошее — но, увы, хвалил их только физрук Махал Махалыч. Крюковы и вправду были

спортивные, рослые и здоровые девицы — даже в святые дни эпидемии гриппа двойняшек привозили в школу, потому что они никогда и ничем не болели.

Крюкова посмотрела на Пал Тиныча, как голодная лиса на мышонка, и даже, кажется, облизнулась. К счастью, с ним была Инна Ивановна, а потому лиса неохотно свернула за угол. Месяц скрылся в тучах.

— Да много всего происходит! Вы разве не замечали? Программу по физике сократили. На русский всего три часа в неделю, на английский — пять. Расписание составлял кто-то нетрезвый — потому что в седьмом классе во вторник и в пятницу подряд три языка: немецкий, русский и английский. И все задания нужно делать на компьютере, и все они теперь называются проектами и презентациями.

— Ну не все, — осторожно вякнул Пал Тиныч. — Вот я, например...

— К вам у меня вопросов нет, — признала Инна Ивановна. — А вот информатика... Зачем вообще столько информатики? Дети должны создавать свои аккаунты, на уроках они сидят в интернете. Мой Вася и так там живет.

— Но вы же в банке работаете? — уточнил Пал Тиныч. — Вам, банкирам, обычно нравятся новые технологии.

Инна Ивановна посмотрела на него ошеломленно.

— А кто вам сказал про банк? Вася? Ой, ну вы уникальный человек, Павел Константинович, вы всё еще верите моему сыну. Я работаю в библиотеке. Отдел редкой книги.

Пал Тиныч удивился, но решил, что редкую книгу он бы ей тоже доверил. Потом историк молча задал вопрос, и получил ответ — вслух:

— За школу платит Васин папа. Бывший муж. Он и в Рим его возил, и в Париж... Слушайте, вас там, кажется, ждут.

Пал Тиныч обернулся, увидел Диану — она уже давно, судя по всему, стояла в коридоре, изображала, что изучает расписание уроков на стене. Знакомое до последней буквы.

— Я понимаю, что мои претензии не к вам, — Инна Ивановна, закругляя разговор, стала мягче, почти извинялась. — Может, к директору идти? Знаете, мне иногда кажется, что всё это — какой-то заговор. Против нас и наших детей.

При слове «заговор» Пал Тиныч вздрогнул, а Диана повернула голову, не скрываясь теперь, что подслушивает.

— Диана Романовна, я приду в учительскую через пятнадцать минут, — сказал историк, и его любовница вынуждена была процокать мимо на своих дециметровых каблуках — коленки у нее заметно сгибались при ходьбе. Пал Тинычу стало жаль Диану, и всё же вслух, для Инны Ивановны, историк сказал, что у них совещание, но он может немного опоздать.

— Если речь о заговорах, то здесь вы попали на специалиста, — засмеялся он. Довольно нервно, впрочем, засмеялся. Смех у него и в юности был не из приятных, а с годами вообще превратился в какой-то чаячий крик. Риту он раздражал невозможно. Вот и Васину маму напугал, но она терпеливо дождалась завершения смехового приступа.

— Мне кажется, — повторила она, — что вокруг делается всё для того, чтобы наши дети не получили образования — не то что хорошего, вообще никакого. Программу сжимают, педагогов посреди года отправляют учить новые стандарты. И эти праздники — ненавижу их!

Пал Тиныч тоже не любил школьные праздники — самодеятельные спектакли, в которых играли не дети, а в основном учителя и родители, беспомощное, несмотря на все старания Дианы, пение... А главное — ему было жаль времени, которое уходит на подготовку всех этих бесконечных праздников осени, весны, матери...

— У моего Васи — никаких базовых знаний. И вы же в курсе, какой он — не захочет, не заставишь. Ну и потом, какие-то вещи даже я не могу ему дать — только школа. А в школе из него делают, простите, идиота. Петь, рисовать и сидеть в интернете — куда он после этого пойдёт? Кем станет?

У Тиныча был ответ на этот вопрос — Вася, как и многие наши дети, уедет за границу и станет иностранцем. Папа об этом позаботится.

Звонок прозвенел, мимо пронесся шестой класс, потом степенно прошествовали одиннадцатиклассники. Прыщи на лице главной школьной гордости — Алексея Кудряшова — походили на зрелые гранатовые зерна. Пал Тиныч вспомнил злобный шепот кого-то из родительниц, что Кудряшов «у репетиторов буквально живет». Будущий студент Оксфорда.

Васина мама тем временем говорила уже теперь словно сама с собой:

— Можно, конечно, нанять репетиторов, но зачем тогда учиться в лицее?

— А вот вас-то мне и нужно! — Пал Тиныч не заметил, когда рядом с ними вырос Махалыч. Физрук Васю терпеть не мог и предсказывал ему в жизни многие печали, потому что мальчик не любил футбол и не надевал на урок спортивную форму. Инна Ивановна безропотно пошла, ведомая Махалычем, к директору — разбирать очередной Васин проступок. Они с ней даже не попрощались толком, но Пал Тиныч был так взбудоражен этим разговором, что обидел Диану еще раз, и куда сильнее. Диана предлагала поехать сегодня к ней, даже не предлагала — просила и требовала, но Пал Тинычу нужны были свежий воздух и время, чтобы обдумать очередную теорию.

И был свежий воздух! В мае его навалом даже в Екатеринбурге — а тут еще рядом со школой липы на месяц раньше срока дали цвет. У природы тоже был свой заговор. Пал Тиныч шагал к своему любимому дендрарию — благо лицей был от него в двух кварталах, — шагал и думал о странном разговоре с Васиной мамой — и о том, что она, пожалуй, даже сама не понимает, насколько права.

Историк стал вспоминать последний лицейский год — и всё, что прежде проходило по разряду неприятных случайностей, вдруг обрело смысл и оказалось необходимым условием для заговорщиков, решивших лишить Россию образованного населения.

Подобно тому как птица вьет гнездо, собирая его по стебельку и соломинке и не брезгуя подобранным на ближайшей стройке мусором, Пал Тиныч строил свою теорию — и мог бы напомнить случайному зрителю какую-нибудь ворону, гордо летящую с трубочкой для коктейля в клюве. Да он

и вообще мог напомнить собой ворону — у него был такой слегка сумрачный облик, нос-утес и брезгливые усики. Женщинам подобная внешность, как ни странно, нравится.

Всё сходится, думал Пал Тиныч, мы живем в тени большого заговора — и тень эта растет с каждым днем. наших детей развращают компьютерными играми и сетевым видео — например, Вася давно уже ознакомился с процессом родоразрешения и шумно описывал его на одном из уроков истории, посвященном Петру Первому. Миша Карпов с компанией смотрят порнуху на телефонах — когда Мишин отец об этом узнал, его заинтересовал исключительно один момент: а что за порно, с девками? Ну и отлично, у мальчика правильная ориентация, по нашим временам надо быть благодарным и за это. И вообще, нужно же когда-то начинать.

Пал Тиныч вдыхал натуральный и при этом несомненно липовый аромат и думал дальше. Детей учат мыслить картинками, клипами — а ведь если эту стадию не перебороть вовремя, она так и останется основной. *Формирующей*, как сказала бы Юлия Викторовна, *личность*. Он знал это по Артему — когда играли в шахматы, сын не мог думать даже на один ход вперед и тем более учитывать действия соперника. Дети мыслят разорванными, несвязанными кусками, под которыми нет даже намек на какой-то фундамент. Фундамента попросту нет, никакого. Диана рассказывала, что ее первые ученики считали, что Бетховен — это собака, герой голливудского фильма. Сейчас этот фильм давно забылся, но и Бетховен истинный не вспомнился.

Заговор, решил Пал Тиныч, дойдя до центральной клумбы, еще не засаженной, но уже сладко пахнувшей распаренной, выпавшейся за долгие холода землей. Настоящий заговор, странно, что он сам до этого не додумался. Как бы ни насмехалась Рита, как бы ни молчала Диана. Зачем наших детей пытаются закрыть на ключ в интернете? Для чего окружают соблазнами, противостоять которым не сможет и взрослый? Почему всё это, в конце концов, служит, как выражаются врачи, «вариантом нормы»?

Пал Тиныч не считал себя педагогическим гением, тем более — спасителем русского народа или отважным одиночкой, бунтарем против общества. Он считал себя тем, кем, собственно, и был, — учителем истории, мужчиной средних лет, который никогда не уйдет от жены к любовнице и никогда не перестанет помогать своему сыну. Но в тот день жизнь Пал Тиныча, предсказуемая и скучная, как учебный план, на глазах стала вдруг превращаться в нечто новое и ценное. Заговорщики подобрались так близко, что Тиныч, кажется, мог ощущать их ядовитое дыхание, шевелившее листья с дьявольскими планами — учитель явственно видел эти листья разложенными на столе.

Рите, наверное, не следовало так старательно высмеивать слабость, которую питал Пал Тиныч к заговорам. Она считала, что он и в инопланетян однажды поверит, что это всего лишь вопрос времени. Но в заговоры верят не только глупцы и фантазеры — этот недуг довольно часто посещает тех из нас, кто не видит логики в окружающей жизни, не видит в ней смысла. Заговоры переодевали реальность Пал Тиныча в захватывающее приклю-

чение — которое так и не сбылось, хотя он честно мечтал о нем в детстве. Жюль Верн, Майн Рид, Буссенар — все они обещали приключения, но на выходе получился производственный роман, написанный исключительно ради денег.

Теперь же Пал Тиныч сам мог стать частью истории, а не смотреть на нее через окно в Европу...

В американских фильмах, на диете из которых вынужденно сидит каждый киноман, вся массовка — читай, вся страна! — довольно часто и всегда взволнованно поднимается на защиту одного человека, поправленных прав или ценного общественного завоевания. В кадре подсказкой звучит музыка — героическая, усиливающаяся с каждым тактом, — и на стороне героя, угнетенного и одинокого в начале фильма, к финалу оказывается целая толпа. Так вот, Пал Тиныч готов был стать первым из тех, кто поднимется со своего места — и бросит вызов порочной системе.

Он так переволновался, что не мог уснуть до трех ночи и стащил у Риты таблетку снотворного. Но спал всё равно плохо и во сне видел, как борется с пластмассовыми солдатами — все они были трехметрового роста и побеждали.

Каникулы в этом году начались неожиданно и быстро — как весна в классическом русском романе. Пал Тиныч отработал обязательный месяц — целый июнь писал программы, занимался с двоечниками, всё как всегда. Но вечерами он теперь сочинял собственную программу — дерзкую и даже, на его собственный взгляд, бессистемную. Он вспоминал всё, что должны знать образованные люди, — музыка, философия, астрономия, поэзия, все музы лежали

в его программе обнявшись, как тела в братской могиле. Конечно, ему не хватало знаний — июль он провел в библиотеке, закрывая пробелы, а вечерами *догонялся* в интернете. Диана удивлялась его внезапному интересу к истории музыки, но всё еще надеялась на общее будущее и потому терпеливо рассказывала про Гайдна, Бетховена — даже про Букстехуде. В августе программа была уже почти готова, а сам Пал Тиныч — готов к тому, чтобы начать битву. Он совсем потерял и так-то еле живой интерес к своей внешности, отпустил неряшливую бороду, и маленькая девочка в маршрутке, внимательно разглядев ее, громко сказала своей маме:

— У дяди борода, как у тебя — пися!

Вечером он побрился, и на лице его убыло безумия.

Второго сентября после второго урока Пал Тиныча пригласили в кабинет к директору. Юлия Викторовна была на редкость приветлива, рассыпалась в своем бюрократическом красноречии мельчайшим бисером. *Вы настоящий профессионал, Пал Тиныч, дети у вас организованные и ответственные, даже Макаров проявляет тенденцию к улучшению.*

Подобный зачин обещал запятую и последующее «но», и Юлия Викторовна не подвела. *Вы ценный сотрудник, но всё еще не завели себе страничку на сайте лица. Очень прошу вас найти время и помочь нам реализовать этот проект в жизнь.*

Прежний Пал Тиныч скромно кивнул бы и пошел за помощью к учительнице информатики — Оксане Павловне, которая просила звать ее просто Окса (имя, с точки зрения историка, больше подходившее реке, а не молодой женщине). Новый

Пал Тиныч, находившийся в эпицентре заговора, усмехнулся. Что это, как не еще одна часть хитроумного плана заговорщиков — все мы должны быть на виду: учителя, родители, дети. За нами давно не надо шпионить, не надо тратить деньги на агентскую сеть и вербовку — мы успешно следим за другими и охотно доносим сами на себя. Например, Диана как одержимая ежедневно отчитывалась в своих аккаунтах — что ела, где была, с кем встречалась. Публикации сопровождались фотографиями и ссылками, а потом Диана бдительно отслеживала — кому понравилось, сколько человек оставили комментарии, кому понравились комментарии, и так далее...

У историка по сей день не было нигде ни странички — он даже электронную почту завел только после того, как Юлия Викторовна пригрозила ему штрафом:

— Как родители должны с вами связываться, Пал Тиныч?

Тогда он зарегистрировал ящик и действительно получал иногда письма с вопросами «Что задано по истории?» и, самое ужасное, с поздравительными виршами от учительницы литературы. Вирши были длинные, хромые, лишние слоги торчали из строк, как невыполотые сорняки, — а литераторша была обидчива и на другой день обязательно спрашивала, получил ли Пал Тиныч стихотворную откритку *ко Дню защитника Отечества?*

Второго сентября Пал Тиныч пошел после уроков не в буфет, где обедала Окса и ее приятельницы — литераторша, химичка, англичанка, — а на школьный двор. Он знал, что справа в кустах, за гаражами, подальше от всевидящего ока водите-

лей, терпеливо высматривающих каждый «своего» пассажира, курят Миша Карпов и его гончие псы. МакАров их обычно чурался, но в этот день тоже оказался рядом — и как раз пытался прикурить.

— У меня к вам разговор, друзья, — сказал историк.

— А за сиги ругать не будете? — удивился Карпов.

— Буду, — пообещал Пал Тиныч, — но в другой раз.

Миша достал из кармана штанов коробочку «тик-така», потряс ею над каждой ладонью, после чего Пал Тиныч, как крысолов, вывел детей из кустов.

— Сергей, жди меня, — велел Карпов водителю, сидевшему за рулем очень новой и очень красивой машины — марка ее была Тинычу неведома. Его автомобильное развитие, а главное, интерес к подобным вещам остановились где-то на стадии «жигулей», в раннем детстве.

Пятидесятилетний на вид Сергей послушно кивнул. Он был маленький и краснолицый — голова над рулем, как на блюде.

— Вы куда это? — возмутилась Даша Бывшева. Она и Крюковы как раз закончили обед — на траве валялась гора конфетных оберток и три баночки из-под колы.

— Если уберете за собой это свинство, можете пойти с нами, — сказал историк, не оборачиваясь.

Сзади сначала зашуршало, потом затопало — гарпии неслись следом, заинтригованные. Класс еще не успел разъехаться, Пал Тиныч собрал почти всех в своем кабинете и спросил:

— Кто из вас знает, кем был Макбет?

— Это герой Лескова, — предположила отличница Катя Саркисян.

Пал Тиныч вздохнул. Всё это будет значительно сложнее, чем ему казалось. И зря, наверное, он пошел с Шекспира. Еще и с Макбета.

— Входят три ведьмы, — начал Пал Тиныч. Дети молчали, слушали, но не так, как Артем. Катя Саркисян была очень вежливой и не хотела перечить учителю. Остальные мучились, скучали, даже Вася смотрел на историка каменными глазами. Пал Тиныч волновался, забывал детали — получалась не высокая трагедия, но повесть, которую пересказал дурак.

— Зачем вы нам это рассказываете? — спросил еврейский атлет Голодец в том месте, где явился призрак Банко.

А Вася, предатель, стал издеваться, изображая:

— Я призрак Сбербанка!

Пал Тиныч ничего не ответил ни ему, ни Голодцу — рассказывал дальше, и постепенно к нему вернулась память. Целыми строками:

Лишь сыновей рожай. Должна творить
Твоя неукротимая природа
Одних мужей!

— Это к ЕГЭ, что ли? — осенило практичного Голодца. Но Пал Тиныч не ответил — он всё тащил и тащил детей за собой во тьму Шотландии, где королева всё никак не может смыть с рук кровавые пятна.

Про пятна понравилось даже Карпову.

— Так-то нормально, — снизошел он. — А зачем нам это, Пал Тиныч?

Лишь после финальных слов Пал Тиныч объяснил: он теперь будет каждый день рассказывать седьмому какую-то историю. Про ад, например. Или про белого кита. Хотят они про белого кита?

— Главное, не про белого китайца, — пошутил Вася Макаров.

Седьмой «А» ушел в недоумении. Вася задержался рядом со столом учителя и почему-то шепотом сказал:

— Полтиныч, я знал, кто такой Макбет. Но если бы признался при этих быдлах...

— Я понимаю, Вася. Не переживай.

Пал Тиныч и раньше усложнял свои уроки — он давал русскую историю, которая шла по программе, параллельно с европейской. Ему хотелось, чтобы у детей было объемное представление — *три дэ*, как сказал бы Вася. Теперь же он превращал каждую встречу с детьми в ликвидацию черных дыр и белых пятен — по крайней мере в седьмом, своем экспериментальном, как он его называл про себя, классе. Пал Тиныч старался впихнуть им в головы всё, что упало с корабля — и пошло на корм рыбам, все ценные знания, принесенные в жертву самостоятельности, тестам, интернету и заговору, всё, что он знал и мог им рассказать.

— Всё это есть в сети, — недоумевал Голодец, но Миша Карпов, которому чрезвычайно понравился Данте в вольном пересказе Пал Тиныча, заткнул его встречным вопросом:

— А ты, Гошан, *будешь* читать это в сети?

Пал Тиныч освоил наконец, на радость директорисе, интерактивную доску и показывал семи-

классникам репродукции великих картин — группировал не по мастерам, а по сюжетам, чтобы было интереснее. И понятнее.

Рождество, видите? Младенец Иисус в яслях. Да, Вася, это тоже называется *ясли*. И обратите внимание: вместе с Марией, Иосифом, пастухами или волхвами (это волшебники, Вася) на каждой картине — осел и бык.

Электронная указка тычет в Боттичелли, Дюрера, Брейгеля-старшего и художника, чье имя звучит как у голливудского актера — Ханс Бальдунг Грин. И вправду, всюду эта парочка — осел и бык. Зачем они здесь?

— Это *мы* зачем здесь? — продолжал сердиться Голодец, и Карпову пришлось швырнуть в атлета учебником истории. Попал!

— Я думаю, — почему-то шепотом сказала Соня Голубева, — что осел и бык на этих картинах — для уюта.

— Почти! — возликовал Пал Тиныч. — Они согревали своим дыханием младенца.

— А почему она вообще в таких условиях рожала? — строго спросила одна из Крюковых, кажется, Настя.

Пал Тиныч начал рассказывать про царя Ирода, показал Гвидо Рени, Маттео ди Джованни — избиение младенцев. Большой серьезный заговор, в который поверил Иосиф.

Дети молчали, Вася подбрасывал в воздухе карандаш — он всегда что-то подбрасывал, говорил, это помогает ему думать. Он даже на физику ходил с карандашом, и Махалыч боялся, что кто-то из детей напорется на него глазом.

— Жалко младенцев, — всхлипнула вдруг Даша Бывшева.

А Даша Крюкова подошла к Пал Тинычу, когда он уже отпустил весь класс, и спросила шепотом:

— А дальше что было?

— Ты знаешь, Даша, что было дальше. Иисуса Христа распяли.

— Так этот Ирод его все-таки нашел? — гневно вскрикнула девочка, и Пал Тинычу вдруг стало стыдно, что он считал ее гарпией.

Он занимался с седьмым «А» три месяца — дополнительный урок каждый день, и никто не ворчал. Даже Голодец в конце концов сменил гнев на безразличие — иногда и он прислушивался к рассказам Пал Тиныча. История, литература, кино, география, музыка — без сокращений и ограничений. Для администрации у Пал Тиныча, если что, была легенда — они готовят сюрприз к Новому году. Как выкручиваться, историк еще не решил.

В середине декабря седьмой привычно завалился в кабинет истории, и Вася Макаров уже подпер рукой щеку, приготовившись слушать, как вдруг открылась дверь и на пороге появилась Кира Голубева. Она была в чем-то черном и опасно узком. Одно лишнее движение, и что-то черное лопнет по швам.

— Мама, ты мне обещала! — закричала Соня.

— Я обещала сделать всё для того, чтобы ты получила хорошее образование, — сказала Кира — каждое слово отмерено, как лекарство, которое дают в каплях. — Давно хотелось мне поприсутствовать на ваших дополнительных занятиях, Павел Константинович, не возражаете?

— Нет. Пожалуйста.

— И не только мне, — уточнила Кира. За ней в класс вошло еще несколько родительниц — Тиныч заметил Крюкову. С ними шла директриса Юлия Викторовна, Окса, даже Диана была здесь, смотрела в пол, как будто боялась запнуться.

Дамы расселись на задних партах, «на камчатке», как говорили в пору детства Пал Тиныча. Кто-то просто стоял в проходах — массовка, хор, кордебалет. Сегодня, по заказу Васи Макарова, была тема — сюрреализм. Вася изменился в последнее время: он знал многое из того, что рассказывал учитель, но теперь он мог знать это на законных основаниях.

Кира Голубева засопела, уже когда на электронной доске появился первый слайд — вполне безобидный Дали.

— Скажите, Павел Константинович, а это есть в программе? — громко спросила она с задней парты.

— Нет, — ответил Тиныч. — В программе уже вообще почти ничего не осталось.

— Поняла, — сказала Голубева. — Вы считаете, мы должны быть вам благодарны, что вы тут насмерть пугаете наших детей рассказами про смерть? Соня не могла уснуть после вашего Данте целую неделю, я даже водила ее на специальный тренинг!

Вася Макаров неприлично хрюкнул, а Соня заплакала.

— А вы, Кира Борисовна, не говорили Соне о том, что смерть существует?

— Это решать мне, а не вам! — взвилась Кира Голубева. Взвилась как кострами — синие ночи, или

как соколы – орлами, честное слово. Диана напряженно рассматривала какой-то рисунок на столе, и, поскольку стол принадлежал отсутствовавшему сегодня Карпову, рисунок был, скорее всего, неприличный.

– Заканчивайте, Юлия Викторовна, – буднично велела Голубева и пошла прочь из класса, подцепив на ходу дочь за руку – как будто портфель. За ней потянулись все остальные: вначале учителя и родители, а потом – дети. Первым вышел Голодец, за ним шествовали сиротливые вассалы Карпова, Даша Бывшева и сестры Крюковы... Катя Саркисян поплакала, но ушла вместе со всеми. Только Макаров по-прежнему полулежал на своей парте, пока учитель не попросил его: пожалуйста, Вася, уходи и не волнуйся за меня.

– Я и не волнуюсь, – окрысился Вася. Хлопнул дверью.

Пал Тиныч остался в кабинете один, с электронной доски на него смотрел страшным взглядом Сальвадор Дали. А после этого позвонила Рита.

– Во-первых, приехал Артем, – сказала она. – С девушкой, которая по-русски знает два или три слова. Во-вторых, мне звонила твоя подруга – Диана, кажется. Сказала, что у вас всё кончено и чтобы я подавилась. Это вообще нормально, как ты считаешь?

Пал Тиныч выключил мобильник, подумал – и выбросил его в окно. Мобильник мягко упал в сугроб, наверняка не разбился – второй этаж. Бросить телефон легче, чем человека.

Когда Диана спрашивала, почему он не бросит Риту, если между ними давно уже не осталось ничего даже приблизительно похожего на любовь, Пал

Тиныч отговаривался какими-то общими фразами. Правды Диана не поняла бы. Рита — при всей ее резкости, холодности, нетерпимости — была самым беззащитным человеком из всех людей в его жизни. За эту беззащитность, эту беспомощность мужчины обычно и отдают всё, что у них есть, — они за нее даже умирают. Она ценнее красоты, важнее ума, соблазнительнее денег.

Пал Тиныч никогда не бросит Риту.

И не спасет от заговорщиков ни одного ребенка.

Ни одного!

Он вышел из школы в полной темноте, и охранник посмотрел с интересом — видимо, все уже знали, что это последний рабочий день историка.

Пустая парковка, днем забитая дорогими машинами, тишина в школьном дворе, под фонарем — каток, царство Махалыча.

И вдруг кто-то налетел на Пал Тиныча из-за угла и ударил его головой в живот — не сильно, но чувствительно. Учитель не сразу, но понял — это Вася Макаров попытался обнять его и сказать этим объятием то, чего нельзя произнести словами.

— Не плачь, Вася, ну что ты! — мягко, как сыну, сказал он. — Ты и так всё знаешь, о чем я рассказывал.

Он говорил это, но понимал, что Вася плачет не о том, что Полтиныч не успел открыть ему какие-то тайные знания. Он плакал потому, что его ровесники их не знали и теперь уже не узнают.

Дети всегда остаются детьми — но это, конечно, слабое утешение.

Пал Тиныч довел Васю до дома, благо жили Макаровы всего в двух кварталах — а вот, например,

Карпова возили в лицей через весь город. На прощанье мальчишка, как большой щенок, опять уткнулся головой, на сей раз в бок.

— Я вас никогда больше не увижу, — сказал он, всхлипывая.

Пал Тиныч дождался, пока Вася зайдет в подъезд. В окнах светились украшенные елки, и учитель вспомнил прошлогодний школьный праздник — роль Деда Мороза должен был исполнять папа Крюковых, директор завода, краснолицый богатырь. К сожалению, папа переусердствовал с разогревом, и пришлось выпускать на сцену семейного водителя — он был худой и маленький, шуба висела на нем, как на заборе, но в остальном он справился на ура.

Как хорошо, что приехал Артем с невестой — ее зовут Ян, «ласточка».

Пал Тиныч шел домой и думал, что сегодня он навсегда перестал быть учителем — и в утешение ему останется только теория заговора.

А возле казино дорогу ему перебежала черная кошка.

Умный мальчик

Последняя неделя августа, остаток лета — словно кусок торта, единственный на блюде. На клумбе бесновались петунии, их мыльный аромат проник в палату даже через закрытое окно.

Вместе с криком «Нина!» в окно постучали. Нина выглянула — увидела подругу и ее заплаканную дочку Милану. Детей сейчас называют мебельными именами. Нина сразу решила, что ее мальчишка будут звать по-человечески.

— Поздравляем! — закричала подруга, и на нее тут же шикнули из соседней палаты, где родились близнецы. Подруга медленно, как в боевике, развернулась к шикающему окну, но тут у нее, к счастью, зазвонило в сумке. И Милана канючила, тянула ноющую ноту. Дыхание у девочки — на зависть любой солистке.

— Заткнись, — рывкнула подруга и тут же захихикала в трубку: — Беллочка, привет, это я не тебе!

— Маш, может, позже зайдете? — спросила Нина. Подруга жила в двух шагах от роддома и, не прекращая слушать Беллочку, кивнула. (Близнецовая мама даже не поняла, как ей сегодня повезло.)

Над колыбелькой нависла нянечка — та, что дежурила позавчера. Голова у нее была трехцветная, как у счастливой кошки, — крашенные рыжие, собственные черные и седые волосы торчат из-под чепчика.

А сын такой маленький — его можно взять одной рукой, как котенка. Нянечка умело перепеленала мальчика и неумело похвалила:

— Ничего такой. Но надо неврологу показать, обязательно. А как назвать, решила?

— Александр.

Невролога посоветовала Маша. Опытная матерёшка, — это она сама про себя так; Нина не стала бы. Она ко всем была с изначальным почтением, даже если не за что. А вот матерёшка считала, что день потерян, если не удалось поставить на место официанта или дерзкую продавщицу. Обнаглели потому что все. Нина сколько раз краснела за нее — не пересчитать. Правда, с врачами подруга минимальный политес все-таки соблюдала. Невролог Лариса Лавровна сказала, что придет на следующий день после того, как Нину с ребенком выпишут из роддома.

Мальчик лежал в убогой больничной колыбельке, красивый и строгий, до смешного похожий на своего отца. Нина где-то слышала, что все новорожденные похожи на своих отцов — проделки природы или высший промысел, чтобы пробудить родительские чувства даже у тех, кто на них не способен.

Если так, то промысел, по мнению Нины, был не самый продуманный. Люди никогда не видят себя со стороны — и не понимают сходства. Лишь только она пришла в себя тем утром — отец мальчика получил сообщение на пейджер, и ответил... вечером. Поздравляет с новорожденным и желает счастья.

Хорошо хоть не любви и успехов в работе.

Отец мальчика живет в Киеве. «Младенец» по-украински — «немовля». Не говорящий то есть, а не просто маленький. Нине очень нравился украинский язык — красивый, мудрый, ласковый. И Киев ей тоже понравился сразу — она хоть сейчас могла вызвать под веками любую видовую открытку. Хоть Андреевский спуск, хоть аллею в Ботаническом саду, хоть печального Владимира на горке. И обязательно — квартиру на улице Коминтерна, ныне — Симона Петлюры.

Выписывали в полдень, мама приехала в служебной машине, с розами и конфетами для «сестричек». Подруга Маша — у нее сегодня был макияж как на фаумском портрете — с Миланой, Роланом и Глафирой притащили кучу воздушных шаров и плюшевого зайца размером с мотороллер. Крохотный пакетик с Александром Нина отдала маме — после разрывов нельзя было садиться, пришлось полулежать на заднем сиденье.

В машине властно пахло мамиными духами: аромат с кашляющим именем — тубероза. Александр было заплакал, но лишь машина тронулась — уснул.

«Неужели я всегда теперь буду чувствовать себя такой беззащитной?» — думала Нина, пока води-

тель посматривал на нее в зеркало, а мама молчала, держа кулек с внуком наперевес, как автомат. Или гитару. Клумбы с петуниями тянулись вдоль дороги — белые, лиловые, розовые цветы. Посреди лиловых вылез один незапланированно-белый, но его не вырвали — уж очень был красив.

Да, при водителе мама молчала, но дома, положив спящего мальчика в кресло — как коробку с туфлями, высказала всё, что придумала в последние дни:

— С твоим образованием, с твоей красотой... Нина, я думала о тебе лучше! Ты, ты... просто как девка деревенская!

— А что плохого в деревенской девке? — удивилась Нина. — Я бы еще поняла, если бы ты сказала «гулящая».

— С твоим-то умом! — причитала мама. — Где ум, Нина? Где он?

А Нине вдруг стало весело:

— «Нет мозгов у тети Вали — очевидно, их украли!»

Мама хлопнула дверью, потом рамой на лестничной клетке. Курит. А ведь столько лет держалась.

— Вот он, мой ум, — шепнула Нина, заглядывая в кроватку. — Ты будешь самым умным, правда?

Невролог Лариса Лавровна пришла ровно в семь, как обещала. У нее было круглое розовое лицо, всё в черных родинках — будто его случайно обрызгали тушью. И голос оказался очень громким.

— Почему вы на меня кричите? — удивилась Нина.

Лариса Лавровна тоже в ответ удивилась:

— Я не кричу! Просто у меня, мамочка, такой голос.

Она развернула Александра, малыш смотрел испуганно куда-то в сторону, поджал к животу тоненькие синие ножки.

Как будто Нина достала из себя сердце и показывала его, голое и мокрое, чужому человеку.

— Мальчик хороший, — услышала она, как из телевизора, голос врача. — Маша наговорила невесть что, а он у вас очень приличный ребенок. Он у вас, мамочка, будет учиться на одни пятерки. Другие дети будут у него списывать, вот увидите. Отличник будет! Медалист!

Она туго запеленала Александра и вручила его Нине, как букет цветов.

— Это очень умный мальчик. Я столько детей в день вижу — я знаю. Я у них всё вижу по глазам.

На прощание Лариса Лавровна посоветовала придумать малышу какое-нибудь домашнее имя.

— Сейчас волна идет — сплошные Александры. Надо отличаться.

Нина придумала — Шур. Три первые буквы фамилии его отца, который остался на мысленных видовых открытках, в Ботаническом саду, на Андреевском спуске и на улице Симона Петлюры, бывшая Коминтерна.

У него были необыкновенные руки — невесомые, легкие и ласковые, точно у карманника. Нина, кажется, и увидела вначале эти руки — они гладили кошку, в гостях. Гости были случайные, скучные. Нина сама не помнила, как туда забрела. А он сидел в кресле и гладил кошку — будто рисовал у нее на мордочке дополнительную шерсть.

Кошка умирала от блаженства.

Потом он пошел провожать Нину, а через месяц она прилетела к нему в Киев. На то время, что жена и дочка проведут в Крыму. Тиха украинская ночь... И Нина тоже умирала от блаженства — но не умерла, а даже привезла с собой в родной город еще одну жизнь.

— И что, Лавровна так и сказала — умный? — не поверила Маша. — Она всех ругает, а потом назначает по сорок уколов и сто массажей. А у тебя, значит, умный?

— Извини, — устыдилась Нина.

Мама тоже не приняла новость всерьез.

— Ум, Нина, проявляется во многом и по-разному. Я не пытаюсь принизить авторитет доктора, но она как-то уж очень разбрасывается прогнозами.

Шур рос спокойным мальчиком. Нина иногда даже забывала о том, что он спит в соседней комнате. Правда, через полгода после своего рождения он вдруг резко перестал спать вообще.

Маша, как опытная матерёшка, советовала бабку-травницу. Мама привела специалиста-профессора, очень важного и совершенно бесполезного — Нине показалось, что живых детей профессор не видел уже долгие годы. Сама она к тому времени уже с ног падала — спать удавалось по несколько минут в день, короткими порциями. Так спал сам Шур. Он никогда не кричал, не сердился — просто не мог уснуть. Возился в кроватке, перебирал ручками погремушки. Сидеть и ползать начал вовремя, развитие соответствует возрасту, писали в больничных карточках. Но сна — не было.

И тогда Нина решила взять няню. Кроме того, чтобы выспаться, она хотела еще и как можно скорее выйти на работу, пока воспоминания о ценной сотруднице не выветрились из головы начальника. Вот только няня — не котенок бездомный. Так просто не возьмешь. У Маши был печальный опыт, она не советовала чужих рук, но у Маши была еще и свекровь Зинаида Зиновьевна, которую матерёшка за глаза называла Зинатуллой. Зинатулла была безжалостно аккуратной — однажды за пыльное перекаати-поле под кроватью Маша получила от нее полноценный нагоняй, хотя зачем заглядывать под кровать в квартире сына, никто не объяснил. Свекровь всю жизнь проработала поваром в школьной столовой и поэтому пересаливала пищу — привыкла к большим объемам. Зато пекла такие булочки — меньше пяти не съешь, честное слово! И дети ее всегда слушались. С такой Зинатуллой можно и без няни.

А мама Нины привозила ей раз в неделю сумки с провизией, и всё. Не могла она смириться, что ее Нина, ее отличница, «ум школы», как выразилась однажды завучиха, так бездарно распорядилась собой.

— На что ты тратишь лучшие годы своей жизни? — мама так страдала, что выразаться могла исключительно проверенными фразами.

В детстве Нине все девчонки завидовали. Форменное платье у нее было плиссированное. Воротнички и манжеты — из кружева ручной работы. А фартук школьный шили на заказ, в ателье. Мама всё это помнила. Сколько сил вложено в эту девочку. Сколько любви. Сколько слез — сама ведь от многого отказалась, чтобы ее вырастить, одна, без

помощи. Карьера заколосилась позже, когда ничего уже не надо и не хочется.

А Нина, дура, свернула с магистрали ровно в том же месте, что и мать.

В мае, точно к празднику Победы, Шур пошел. Не ковылял, как другие детки, заваливаясь, а сразу уверенно и четко пересек комнату.

На прогулке ему теперь не хотелось сидеть в коляске, и Нина ходила за ним, склонившись, как актер-кукловод. Иногда Шур, впрочем, милостиво соглашался порыться совочком в песочнице. Нина тут же спешила на скамейку — вот и сейчас поспешно села рядом с двумя женщинами. Они были маминых лет — но у мамы ботокс, тренажерка, Париж. А эти честно ничего не делали, чтобы казаться моложе. Странно, но Нина чувствовала к таким женщинам симпатию, а не осуждала их за лень, как сделала бы мама.

На той, что справа, — заношенная, но еще недавно модная, несомненно, девичья одежда. Трикотажик, звезды из стразов. У подруги — сумочка, тоже явно переданная маме щедрой дочкиной рукой.

Говорили женщины про знаменитый местный торт.

— Я не повезу, наверное, Галя. Торт как торт. Но если в подарок? Как думаешь?

— Он испортится, — буркнула Галя. — Ночь в дороге. И сейчас еще сколько просидим, до поезда.

— А я сразу энтеролу куплю, — засмеялась та, что справа. — Или вот что — я его сначала сама укушу, похожу часа два, а потом уже ребятам дам.

— Вы можете у меня торт оставить, в холодильнике. Я рядом живу, — предложила Нина. Хмурая

Галя разгладила пайетки на курточке и промолчала. А та, что справа, удивилась: ой, а в городе так бывает?

Ее звали Оксана Емельяновна. И всю дорогу до дома Шур ехал у Оксаны Емельяновны на руках. Более того, он *заснул* у нее на руках, и за тортом в магазин бегала Галя.

Оксана Емельяновна и Галя жили в маленьком городе на севере Урала. О таких городах в столицах стараются не думать — как не думают, например, о смерти. Как отгораживаются от дурных новостей: не думаешь — и нет их.

Правда, смерть потом всё равно придет — вопрос только в том, какая. И новости хорошими не станут. И маленький город на севере Урала, спившийся до самого фундамента, — он тоже существует, пусть и никому не интересен.

Оксана Емельяновна вырастила дочь и сына, но потеряла мужа и работу. В город она приезжала редко — для нее Екатеринбург был как Париж для мамы, поняла Нина. Съездить в «Икею» на бесплатном автобусе, пощупать ткани и поругать швы в каком-нибудь магазине, съесть гамбургер в «Макдоналдсе». И купить домой торт, внукам.

— Ты с ума сошла! — возмущалась мама. Тема ума по-прежнему оставалась актуальной. — Как можно взять няню неизвестно откуда, без рекомендаций!

Нина ее не слушала. И Машу тоже. Всё это было неважно — главное, Шур теперь спал ночью и еще днем — дважды по два часа.

Няню решено было оставить, даже когда Шур пошел в детский сад — мама заплатила вступительный взнос, которого хватило бы на скромный ав-

томобиль. Зато Шур потом автоматически попадал в лучшую городскую школу.

Нина давно вернулась на работу, даже в аспирантуре восстановилась. Жизнь выровнялась, стала понятной, приятно предсказуемой.

Правда, мальчика в детском саду не хвалили.

— Вы не собираетесь забрать Сашу в мае, Нина Николаевна? — спросила однажды воспитательница. — Он не играет с ребятами, всё время с книжкой сидит. На прогулке один ходит. В праздниках не участвует.

Слава Богу, подумала Нина, я и сама в этих праздниках не могу участвовать, даже в качестве зрителя. Всё фальшивое, в цирке и то больше правды.

Вслух она, конечно, ничего такого не сказала.

А дома спросила сына:

— Шур, ты выучил стихи для праздника?

— Выучил, — сказал умный мальчик. — Но это очень некрасивые стихи. Их явно не Пушкин писал.

На празднике, куда они всё же явились — еще и бабушка пришла, в шелковом платье, и Оксана Емельяновна, гордая за мальчика, — Шур отказался выходить в центр зала.

— Я здесь прочитаю, сидя, — заявил он. — Не обещаю, что вам это понравится.

И снисходительно отбарабанил четыре строчки, скрестив руки на груди.

Чужие мамы оглядывались на Нину — смотрели кто с сочувствием, кто с осуждением.

Оксана Емельяновна громко аплодировала.

Друзей у мальчика не было.

— Они все тупые, — говорил он про своих одноклассников, а потом и одноклассников.

– Все не могут быть тупыми, – спорила Нина, но Шур усмехался:

– Конечно, могут. Ты просто никогда не училась в нашей школе.

Летом после первого класса Нина решила свозить мальчика в Киев. После того поздравления восьмилетней давности не было никаких вестей.

Отель заказали на улице Коминтерна. Весь отель – несколько комнат на третьем этаже крепкого старинного дома; одну из них и сняла Нина. На стене висела плохая гравюра, вид Андреевского спуска. До квартиры, где зачали Шура, – три минуты неспешным шагом по направлению к вокзалу.

– У тебя что-то связано с этим городом, – заметил Шур. Он сидел в углу комнаты, в кресле. В руках – очередная книжка, Нина боялась посмотреть, какая.

– Ваш мальчик столько читает! – восхищались другие мамы. Как всем нецелованным в смысле культуры людям, ребенок с книжкой был для них символом наивысшей степени школьного развития. Хотя на самом деле это был просто ребенок с книжкой.

Они много гуляли, ходили теми же маршрутами, что и девять тощих лет назад. Владимир всё так же смотрел на Днепр. Андреевский спуск заполнили торговцы с сувенирами – туристов прогоняли сквозь них, как сквозь строй. А отца мальчика встретить не довелось – Нине, конечно, мерещилось повсюду знакомое лицо, бежал по спине горячий страх. Еще подумает, что она специально приехала. Но не случилось. И если бы Нина читала про свою жизнь в книжке, она расстроилась бы

в этом месте и погрешила на писателя. А что толку? Жизнь тем и отличается от книжки, что многие сюжеты так и остаются в ней — не востребуемые, выцветшие, и пожаловаться некому. И не на кого.

Перед отъездом они отправились в Пирогово, был Медовый Спас. Черные и белые коровы лежали на траве, как шахматные фигуры в проигранной партии. На прилавке высилась гора мертвых пчел.

— Подмор, — объяснил продавец. — На них можно настоечку сделать, лекарство.

Очень грустно было Нине в этой поездке. Она чувствовала себя такой же мертвой, как эти пчелы, — но из нее даже настоечки не сделаешь.

— Мама, — спросил мальчик, — ты тоже думаешь, что каждая душа — христианка?

Продавец подмора дернул плечом. К далеким деревянным мельницам уходила нарядная невеста с женихом, фотографом и почему-то с чемоданом.

В воздухе пахло честным шашлыком.

— Я думаю, каждая душа — язычница, — сказала Нина.

— Да, — сказал мальчик. — Люди поэтому и ставят такие огромные памятники, как Родина-Мать, — они для них как древние языческие идолы.

— Почему тебе это интересно?

Шур улыбнулся:

— А это может быть неинтересно?

В родном городе их ждала наскучавшаяся Оксана Емельяновна. И мама Нины их тоже ждала — ей вдруг захотелось устроить праздник в честь дня рождения мальчика. Такой, чтобы не стыдно было. Катание на лимузине, полеты в аэротрубе, снятый на вечер детский театр. Артисты будут играть для

гостей, разумеется. Торт, фонарики с желаниями — их надо будет поджечь и выпустить в небо.

— И я, в белом плаще с кровавым подбоем, — сказал мальчик. — Отмените это, бабушка. Не сходите с ума.

Он был с ней на «вы», как и полагается обращаться к бабушке хорошо воспитанному украинскому мальчику. Но при этом сторонился. Не просил ни денег, ни дорогих подарков.

— Станный у вас мальчик, — говорили Нине.

Классу к пятому Шур стал заметно хуже учиться, но читал еще больше, чем в началке, — записался в три библиотеки и все карманные деньги тратил на книги. Компьютер, подозревала Нина, он знал постольку-поскольку.

А еще у мальчика появился друг.

— Придут сегодня вместе, — волновалась, рассказывая новость, Оксана Емельяновна. Она с утра жарила-парила, будто к столу ожидаются не два тощих школьника, а десять мужиков с рабочей смены.

Нина, впрочем, тоже волновалась. И даже бабушка решила заглянуть по такому случаю.

Наконец удар двух портфелей оземь в прихожей — будто мешки с камнями таскают, ворчала Оксана Емельяновна, эх, школа! И в комнате, на глазах трех женщин, появляется такой же невозмутимый, как всегда, Шур, а с ним мальчик — красивый, и этой красотой неприятный. Бывают такие лица — всё в них гармонично и ладно, но хочется не восхищаться этой красотой, а забыть ее поскорее.

Может, дело было в карих глазах — они отсканировали Нину уверенно, как взрослые. Но она

не позволила этой мысли укорениться — это ребенок! В гости пришел!

— Мишка интеллектом не блещет, — аттестовал гостя Шур. — Зато в компьютерах разбирается, папа у него айтишник.

Слово «папа» Шур выделил устным курсивом, от которого у Нины поплыло в голове.

От еды мальчики отказались, Оксана Емельяновна едва не плакала. Бабушка тоже чувствовала себя «необслуженной» — она ехала через весь город, привезла фрукты, конфеты, и что ей теперь, с нянькой чаи гонять? Шур и Мишка закрылись в детской, оттуда доносились деловитые пощелкивания и утробный вой старого процессора.

Когда оскорбленная бабушка уже почти закрыла за собой дверь, в коридоре появился Шур.

— Бабушка, может, подбросите Мишку до метро? И еще, вы недавно спрашивали, что я хочу на день рождения. Так вот, мне нужен нормальный комп. А не эти дрова.

Учеба, кажется, наладилась, но теперь сын всё свободное время проводил у компьютера. Ему никто не звонил, на вопросы о Мишке он не отвечал, морщился. Книги использовал только для того, чтобы проявить свое недовольство: когда Оксана Емельяновна или Нина позволяли себе сделать мальчику замечание, он единственным, верным движением — так деревенские косят траву — сшибал книги с полки.

В конце шестого класса Нину вызвали в школу.

На столе у директрисы, похожей на мертвую пчелу, лежали несколько листов под скрепкой. Напротив Нины грызла кожу вокруг ногтей классная

руководительница. И еще в кабинете присутствовал педагог по информатике, как он сам себя обозначил.

— Ваш сын, — сказала пчела, — виртуальными средствами оскорбил своего преподавателя.

Нина ахнула, развернулась лицом к информатике.

— Не туда смотрите! — взвизгнула классная. — Он сделал про меня игру, покажите ей, Полина Борисовна!

Директриса протянула Нине распечатанные листы. Подробное описание игры. Нужно попасть мячом в сладко улыбающееся лицо классной, явно взятое из какого-то коллективного снимка. Вместо мяча можно использовать помидор, грязную тряпку или тухлое яйцо.

Классная вдруг схватилась за горло, будто сдерживая рвоту — на самом деле, конечно же, плач. «Всю себя отдаю детям», — вдруг некстати вспомнилась Нине неизвестно откуда взятая фраза.

— Я не могу, простите.

Выбежала из кабинета. Молодая хорошенькая женщина.

— Не знаю, что нам с вами делать, — сказала Полина Борисовна. — На первый раз надо простить, конечно. Но Саше придется извиниться перед Ольгой Ивановной. Чем она ему не угодила — уж и не знаю!

Педагог по информатике на прощание похлопал Нину по плечу — как ей показалось, одобрительно:

— Я все-таки поражаюсь, какой он у вас умный!

Нина пришла домой неживая, как будто ее били по лицу грязными тряпками и бросали в нее тухлые яйца — до страшного реальные. А дома ее жда-

ла еще одна новость. Оксана Емельяновна сидела в кухне и плакала.

— Ниночка, ты знаешь, я тебя люблю как дочку. Но я больше не могу. Ты ни при чем, это Шурик. Он стал очень грубым. Он смеется, как я говорю, что делаю. Он... жалуется, что от меня плохо пахнет.

Нина смотрела на эту большую, полную сил женщину и хотела только одного — удержать ее рядом.

— Какая ему нянька, — продолжала Оксана Емельяновна, аккуратно укладывая вещи на дно маленького, будто игрушечного чемодана, — такой жених вырос! Сегодня послал меня на три буквы. Вот я и поеду, домой поеду, Нина. Прости, дочка!

Нина плакала вместе с ней, совала деньги, Оксана Емельяновна страстно отпихивала их, они обнимались — и в конце концов одна уехала, а вторая осталась лбом к окну встречать новую жизнь.

Шур пришел через час.

— Уехала?

— Как ты мог? — крикнула Нина. — Она тебя вырастила!

— Она дура, — спокойно сказал Шур. — Полное отсутствие мозговой активности.

— А что ты в школе вытворяешь? Меня сегодня вызывали к директору!

— Насчет игры, что ли? Ольга Ивановна тоже дура. Идиотка от рождения плюс расстройство психики.

— Зато у тебя психика устойчивая! Почему ты считаешь себя лучше всех, на каком основании? Кто дал тебе право судить людей?

Шур подошел к матери близко, нарушив всякую дистанцию — словно они жили в стране, где так принято.

— Если бы ты знала, как мне осточертело это право, — сказал мальчик. — Я отдал бы всё, чтобы стать таким, как другие.

К девятому классу он опять учился на одни пятерки. Особенно налегал на английский язык. Нина слышала, как во сне Шур разговаривает по-английски — и вспоминала рассказ Куприна про японского шпиона.

А за полгода до окончания школы мальчик объявил, что уходит жить к любимому человеку. Любимым оказался молодой режиссер в белом шарфике — на вид лет сорок. На самом деле тридцать, просто себя не берег.

— Он гений, — объяснил Шур.

— Это преступление, кошмар! Я на него в суд подам!

— Успокойся, мама, конечно же, не подашь. И в школу буду ходить — от Олега добираться быстрее.

С ним было бесполезно спорить. Нина, отчаявшись, написала его отцу в Киев, на старый адрес. Пусть поможет хотя бы советом! Но не было ни совета, ни ответа. Рассказала Маше и маме. Машка сочувствовала, но слегка злорадствовала — ее дети, пусть и не такие умные, зато к мужикам в шестнадцать лет не переезжают. Милана уже давно жила в мебельной столице мира — Милане. Ролан оканчивал архитектурный. Глафира училась в одиннадцатом классе, выиграла областной конкурс бальных танцев.

Мама с виду совсем не переживала, но сразу после разговора вызвала машину и куда-то уехала. А на другой день сын уже был дома.

— Бабушка неглупа, — сообщил он.

— А я?

— А ты моя мама. Тебе можно быть любой.

Нина хотела сказать ему в ответ то же самое, но не смогла. А сын смотрел куда-то в сторону, думал свое. Такой большой мальчик, плечи широкие — рук не хватит обнять.

Бабушка согласилась оплатить учебу в Англии — и сразу после выпускных Шур улетел в Лондон. Провожать его приехал талантливый режиссер — зарёванный, как маленькая девочка. Утирал глаза белым шарфом.

Нина и ее мама ехали из аэропорта домой — водитель, который вез их семнадцать лет назад из роддома, поглядывал в зеркало.

«Неужели я всегда теперь буду чувствовать себя такой одинокой?» — думала Нина.

А мама вдруг обняла ее и прижала к себе, как будто хотела отпечататься в ней навсегда.

В Кембридже Шур освоился сразу, ему дали прозвище «Русский гений». Маша, услышав об этом от гордой Нины, расстроилась. Она теперь была увлечена сразу и православием, и эзотерикой всех сортов. Сразу после крещенского купания звала к себе астролога, а после исповеди отправлялась к хиромантке. Она не видела в этом ничего странного и верила во всеобщую неслучайность. А Нина всё чаще думала о том, что вокруг — сплошная случайность. Зачем она, ее жизнь?

В конце мая, возвращаясь с работы через парк, Нина встретила врача Ларису Лавровну — она постарела, но была вполне узнаваема.

— А, помню вас, мамочка! Как мальчик?

— Студент, учится в Кембридже.

— Ну, молодец, мамочка! Я же вам говорила — это будет очень умный мальчик!

На громкий голос Ларисы Лавровны досадливо обернулась пара на скамейке — Нина глянула на них и обомлела. Ее любимый из Киева сидел в двух шагах и вытирал юной девушке уголки глаз — чистил их, как будто кошке. Нину он не узнал, и она, кивнув врачу, пошла прочь.

В песочнице сидел сосредоточенный малыш и ковырял песок лопаткой.

И целое лето, да что там — вся жизнь была впереди, как нетронутый торт в коробке.

Такая же

Бывают дни, о которых точно знаешь — они запомнятся на долгие годы.

Я ехал утренним поездом из города Ц. в город Л. Две эти буквы вместе — почти поцелуй. Странная ассоциация, для меня пожалуй что нетипичная. Я всегда четко отслеживаю свои ассоциации — за это, если не вдаваться в подробности, мне и платят. Как, впрочем, и за то, чтобы я в эти подробности вдавался.

Местные поезда, как принято считать, никогда не опаздывают — но что-то я этого не заметил. Зато давно заметил другое — с годами человек становится терпеливее, легче переносит бытовые трудности, если можно, конечно, всерьез считать трудностью пятнадцатиминутное ожидание поезда. Но

это не значит, что терпеливых людей подобные обстоятельства радуют. Отнюдь.

Я думаю, мало где еще можно так быстро узнать истинные чувства человека, как в аэропорту или на вокзале. Раздражение, страх катастрофы, опасение опоздать, нежелание уезжать — всё написано на лицах крупными буквами, как слова на стене Валтасара. Ассоциация: «слова на стене» теперь чаще вспоминаются в связи с фейсбуком, а не с Библией. Неплохо, но не пригодится.

Примерно половина людей, ожидающих поезда, нахмуренно тычет пальцами в телефоны. Планета — постоянно на связи, я и сам такой. Записывать мысли нужно сразу, как только они появились — первое впечатление сильное, но не стойкое, его нужно хватать за хвост в полете.

Элегантная дама в черном пальто стояла рядом и выглядывала поезд, как любимого. Она, возможно, жила в городе Ц., а я уезжал — и пока что не имел мысли вернуться, хотя город Ц. мне понравился. Я дарю себе города, как другие — женщин или, например, боровую охоту.

Сюжет с женщинами лично у меня сейчас пребывает в таком состоянии, что об этом лучше не думать. Но с тем, чтобы приказывать себе не думать, у меня еще более давние сложности.

Лучший способ забыть о себе — наблюдать за миром.

Люди на перроне всегда начинают шевелиться за минуту до того, как появится поезд. И в то утро мы тоже дружно пошли к путям, как будто хотели все вместе броситься на рельсы — но никто, конечно, не бросился. Евроэкспресс — длинная, серебристая, как ртуть, змея с хищной мордой.

Сейчас, когда я записываю эту историю — в городе Л., в маленькой душной комнатке, за письменным столом с лампой, которая не горит, — мне хочется сказать, что я сразу заметил ту женщину, которая зашла в вагон и села у меня за спиной. Увы! Я долгие годы отвыкал от привычки себя обманывать, нажитой в юности, — и мне слишком тяжело дался этот опыт, чтобы я снова пустился в пляс с теми же граблями. В тот момент, когда я садился в поезд, меня, как и всех других пассажиров, интересовало лишь одно обстоятельство — смогу ли я занять себе хорошее место, лицом по ходу движения, желательно у окна, и чтобы рядом никто не сидел? В крайнем случае «никто» может быть заменен тихим и чистоплотным молчуном. И пусть он сразу же уснет. Но не храпит.

Мне повезло, поскольку я сел у окна, по ходу движения — не выношу, когда нужно ехать задом наперед, хуже только сидеть в ресторане спиной к двери. При этом мне, к счастью, не пришлось бежать и толкаться. Рядом села элегантная дама в черном пальто, пошуршала с минуту газетой и уснула, когда мы еще даже не выехали за пределы большого Ц. Она не храпела, правда, рот у нее слегка приоткрылся во сне, и это доставляло мне небольшое беспокойство. Я не люблю видеть чужих людей в интимных обстоятельствах. В этом есть что-то недостойное и оскорбительное как для меня, так и для них. Потом дама удачно повернула голову, и я больше не видел ее приоткрытого рта. Я смотрел в окно. К сожалению, в отражении был виден не только пейзаж, но и я сам.

Женщина, которая сидела у меня за спиной, никак себя не проявляла. Обживаясь на новом месте,

я оглянулся еще до того, как мы тронулись, и увидел чью-то пушистую макушку. Даже не понял, что женскую — сейчас и мужчины могут носить такую прическу. Уверен был только в том, что человек сзади — брюнет или брюнетка. Моя бывшая жена тоже принадлежала к этой масти, и я обходил брюнеток широким кругом.

Как известно, в каждом самолете обязательно найдется младенец-крикун, в каждом лифте — человек, пренебрегающий дезодорантом, а в каждом поезде — любитель обсудить свои дела по телефону или компания девиц на пике смеховой истерики. У нас были и девицы, и телефонный болтун, но они сидели напротив и отчаянно друг другу мешали: болтун в конце концов сменил вагон, а девицы резко загрустили, достали каждая по бумажному пакету с провизией и грустно жевали свои сэндвичи — ни дать ни взять уставшие лошадки. Почему они только что хохотали и вдруг все разом загрустили — этого я понять не мог.

Я плохо разбираюсь в женщинах, и это мое единственное слабое место — разумеется, сейчас я имею в виду работу, а не личную жизнь. Между тем женщины — ядро практически любой целевой аудиторрии, говорю это как специалист. Вот почему мне мешают ограниченные представления — я не всегда понимаю, что может понравиться женщинам.

Поезд ехал так, как я люблю, — решительно, но без лишнего разгона. Время в пути — два часа двадцать пять минут, и я собирался потратить его на работу. К несчастью, солнце как будто бы ехало в одном вагоне с нами — я сидел в эпицентре солнечного света, как на костре, и почти ничего не видел на мониторе. Нашел в портфеле тем-

ные очки, но они мне не слишком помогли, а выглядеть я стал по-идиотски, это было видно даже в оконном стекле. Еще у меня был с собой роман, который похвалил один мой коллега, — но чтение шло у меня туго, возможно, потому, что я не слишком люблю беллетристику. Закладка не доплыла даже до экватора.

Я раскрыл книгу.

По вагону всё еще бродили пассажиры, которым не удалось найти себе место — или же оно им по какой-то причине не понравилось. Поэтому, когда сзади раздались женские возгласы, я не удивился.

Я удивился другому — возгласы были на русском.

Конечно, я знал, что мои соотечественники любят город Ц. и город Л., но всё же за неделю так привык к немецкой речи, что вздрогнул, как, бывает, вздрагиваешь, когда засыпаешь в неподобающем месте.

— Кошмар! — говорила та, что за спиной. — Это правда ты?

— Почему кошмар? — смеялась та, что пришла из другого вагона. — Я так плохо выгляжу?

— Ты замечательно выглядишь! Красавица!

— Можно я сяду с тобой? В том вагоне едет совершенно невозможный тип, ему звонят каждые пять минут, и он со всеми разговаривает.

— Конечно, садись. Дай я еще на тебя посмотрю. Куда ты тогда пропала? Сколько лет мы не виделись?

Женщины говорили не очень громко, соблюдали вагонный этикет. Но я всё равно их отлично слышал, хотя и не был уверен, какая именно из них что говорит. Кажется, та, что сидела за мной, была рада встрече больше, чем та, что сбежала от

телефонного болтуна, — но они вдруг начали пересаживаться, переставлять какие-то сумки, и я уже просто не понимал, кто есть кто... Тем более у них были похожи интонации, как у всех, кто имел общее детство. Заняться мне было нечем, и я просто слушал их разговор, как радиоспектакли, которые любил в детстве. Юную Джульетту на радио играла старуха с дрожащим голосом и задорными интонациями — но я пытался себя убедить, что Джульетта и должна быть такой. Я очень хорошо умел себя во всем убеждать.

— Мы не виделись, — сказала одна из женщин, — лет двадцать, не меньше. Но ты совсем не изменилась. Хотя нет! Ты стала красивой. А была такая смешная, пухленькая.

— Мы все тогда были смешные. Нет, ну надо же! Встретиться в поезде. За границей!

— Я живу здесь уже семь лет. У меня муж родом из Л.

— Да ты что? А дети есть?

— Сын, три года. Поздний, жданный. Сейчас покажу фотку.

— Какой лапочка! На тебя похож.

— Все говорят, что на мужа. Но глаза мои, да. А ты замужем?

— Никогда не бывала!

Это прозвучало у нее так, словно «Замуж» — название страны, куда можно отправиться в любую минуту. Здесь их беседа наткнулась на камень, забуксовала. Женщины молчали, вздыхали — а я с удивлением понял, что жду продолжения. Хотя ничего интересного они пока что не рассказали, но эти их вздохи были похожи на попытки автомобиля, севшего на кочку, сдвинуться с места. Ассоци-

ация — с беспомощно газующей машиной — вполне может куда-нибудь встать. Я записал ее в блокнот, не глядя, вслепую. Спящая элегантная дама клонилась к моему плечу, что мне очень не нравилось.

— Ты здесь по работе или отдыхаешь? — мать трехлетнего сына сдвинулась с места первой. Материнство делает решительными даже самых скромных.

— Отдыхаю. Всегда хотела здесь побывать. Шоколадные реки, сырные берега...

Они снова помолчали, и потом та, вторая, сказала:

— Всегда хотела и вот, приехала. Дело в том, что я скоро умру.

Я обернулся.

К счастью, они этого не заметили — кресла высокие, видна была только одна пушистая макушка. Женщина, которая скоро умрет, была, по всей видимости, миниатюрной — или же сидела, съехав вниз и положив ноги на сиденье напротив. Но во второе мне верилось меньше.

И я сразу же, поспешно отвернулся, чтобы они не подумали, что их подслушивают.

— Рак? — переспросила первая.

— Нет, ну что ты. Как можно. Это же банально.

— Подожди, я не понимаю. А что тогда?

— А ты разве не помнишь, что я всегда была очень болезненным ребенком?

— Не помню. Я же пришла только в девятом. Но что ты боялась быть как все — это да. Это я помню. А я, наоборот, всегда боялась стать не такой, как все. Помнишь, вдруг стали носить короткие сапожки? У меня их не было, и я так убивалась! Именно из-за этих сапожек меня не брали в стаю.

Ой, я что-то не о том. Я просто растерялась. Мы так давно не виделись, и ты чудесно выглядишь...

— Я расскажу, если хочешь. Никаких секретов.

— Хочу. Только я сейчас добегу до туалета, ладно? У меня это всегда — если волнуясь, то сразу нужно в туалет. Я быстро!

— Да ты не переживай! Прямо сейчас не умру. Но я выхожу в Б., так что не задерживайся.

Первая женщина неловко хихикнула и встала с места, я услышал, как она идет по вагону. К сожалению, туалет располагался ближе к ним, чем ко мне, — и она не прошла мимо. Тогда я подумал, что мне тоже надо выйти — пройти мимо одной и дождаться в тамбуре другую.

Я очень хотел увидеть этих женщин.

Конечно, я уже придумал, как они выглядят. Как многие, я с легкостью узнавал русских женщин за границей, — пусть они не произносили при этом ни слова. Русские всегда печальны, даже если они молоды и прекрасны. Печаль — такая же полноценная черта русского лица, как высокие скулы.

Первая женщина — назовем ее А. — обладает внешностью неправильной, но пикантной. То есть у нее слегка курносый нос, брови птичкой и короткая верхняя губа, поэтому рот всегда полуоткрыт, — но у А. хорошие зубы, и эта особенность идет в плюс. На носу вполне вероятны веснушки. Когда она кому-то сочувствует, на лбу появляются две волнистые морщинки, похожие на математический знак приблизительного равенства. У нее хорошая фигура, но она любит поесть, а для спортзала слишком ленива — пока выезжает только на генетике. Одета просто, но вещи у нее дорогие, добротные — такие можно носить лет по десять.

Вторая, которая скоро умрет — назовем ее В., — из тех невысоких худышек, которых и в пятьдесят трудно назвать по имени-отчеству. В. — блондинка, глаза обязательно черные. Такие женщины нравятся и очень высоким мужчинам, и тем, кого природа обидела ростом, — это я, в том числе, о себе. Невысокие мужчины могут восхищаться модельными девицами, но по-настоящему они любят таких вот малышек. Слегка игрушечных женщин. Моя жена была подобного сложения — то есть она и остается такой, просто теперь всё, что к ней относится, употребляется вместе с глаголом «быть» в прошедшем времени. Когда мы жили вместе, я любил смотреть на ее вещи, которые она, к счастью, разбрасывала по всей квартире. Я убирал в шкаф ее крохотные туфли, поднимал с пола маленькие, как на ребенка, джинсы, и каждый раз восхищался ее изяществом. Всегда любил всё маленькое, детальное и сложное.

Эта женщина В. у меня за спиной должна носить что-то узкое и длинное, белое и бежевое — но, возможно, я слишком увлекся и примеряю сейчас на нее гардероб моей бывшей жены. Хмурясь, она собирает лоб в три морщины — две вертикальные и черточка сверху. Число «пи».

У числа «пи» приблизительное значение, поэтому женщины за моей спиной были равны между собой.

Вот только одна из них скоро умрет.

Я встал с места, и элегантная дама вздрогнула, проснувшись. К сожалению, именно в эту минуту в вагон зашел контролер, и я снова сел. Соседка спала с билетом в руке, и я тоже приготовил свой, хотя был опечален тем, что не смогу выйти, — кон-

тролер приближался к нам, и мое исчезновение могло быть принято за бегство безбилетника. Да, мне очень хотелось посмотреть на женщин — и проверить, как мои фантазии ложатся на реальность, — но я решил, что случай еще представится. Контролер был болтлив, разговаривал с пассажирами, подробно отвечал на вопросы — и это замедляло его продвижение по вагону. Но дошел и до нас наконец. Он говорил со мной по-немецки, и я отвечал ему тоже на немецком. Я хотел, чтобы В. была уверена в том, что в вагоне нет русских.

Элегантная дама убрала билет в сумочку и тут же снова заснула, а женщина А. вернулась на свое место как раз в тот момент, когда контролер проверял билет у В.

Потом, к несчастью, оживились девицы, давно съевшие свои сэндвичи, — и начали болтать по-французски. Когда девушки болтают по-французски, они мило надувают губки, но даже это их не извиняло, ведь французский лопот мешал мне слушать радиоспектакль на русском. У меня отличный слух, и всё равно история В. досталась мне в виде разрозненных кусков — благодаря этим француженкам. Поэтому мне пришлось додумывать ее на ходу.

А. слушала свою старую знакомую с таким вниманием, с каким почти никто никого не слушает. Большая часть устных бесед в наше время — да вот хотя бы у этих девчонок-француженок — развивается по принципу «вытерплю чужое, зато озвучу свое». Но эта А. была по-настоящему одаренной слушательницей — она молчала, где нужно, и уточняла, где требовалось.

А история была крайне запутанная, там многое следовало уточнить. Несомненно начало: А. и В.

учились в одном классе, и на выпускной вечер В. пришла в черном платье.

Все праздновали рассвет новой жизни в белых и розовых нарядах, а она вырядилась как на поминки. Кто-то из учителей неудачно пошутил, В. оскорбилась и бежала с вечера, даже не получив аттестата. Потом его забирали родители (здесь хохотали француженки). Ночью В. в одиночестве бродила по улицам в этом своем черном платье, и ее предложили подвезти бандиты. Куда угодно, хотя сами они ехали в ресторан «Старая крепость». По дороге в ресторан В. пожаловалась тому, кто был за рулем, на учительницу, которая высмеяла ее наряд (и вдобавок поставила тройку по химии в аттестате), и бандит предложил поехать в школу на разборки, и, если нужно, убить учительницу. Тогда в их городе легко и часто убивали. (Здесь опять француженки.) В «Старой крепости» она танцевала с бандитом, который оказался не настоящим мафиози, а кем-то вроде подпаска — и он полез В. под платье. Она вспомнила, что очень больна, — и рассказала об этом своему кавалеру, жаль, что его это не остановило... У нее с детства было серьезное заболевание (здесь проснулась моя соседка и спросила, сколько времени). В. убежала, подвернула ногу, упала. Разбила колено в кровь. Ее бесплатно подвез домой какой-то добрый человек, — сказал, что у него тоже дочь-идиотка.

В ту ночь В. твердо решила уехать из города. Ей казалось, что здесь с ней будет происходить только плохое. Она выбрала самый романтичный город в стране, уехала туда и сняла комнату — деньги ей дали родители. Зима в романтичном городе была влажная и вонючая, как подвал. Деньги быстро

кончились, и В. пела в подземном переходе, а потом сочинила детскую сказку, но ее не приняли ни в одном издательстве. Днем она искала работу, но не попадалось ничего достойного. Любовь тоже не попадалась, хотя В. высматривала ее повсюду, как денежку на асфальте.

Мама умоляла ее вернуться (француженки отъели своим смехом приличный кусок). В. переехала в самый денежный город нашей страны, и здесь ей поначалу повезло. Она познакомилась с мальчиком, который присматривал за чужой дачей, когда хозяева возвращались в город. Они жили на этой даче с сентября по апрель, и там В. привыкла срывать яблоки с дерева утром. Все дни сентября начинались одинаково: В. вставала раньше мальчика, выходила в сад, и этот сад — сверкал! В. срывала яблоко с дерева, и ветка пружинила над ее головой. Яблоко было холодным и до того вкусным, что радости хватало на целый день — а там уже подступало следующее утро и было новое яблоко. Зиму они просто терпели. Потом хозяева решили продать дачу, и мальчик вернулся в свой город, а В. — осталась и устроилась работать в двухэтажное здание. Первый этаж занимали кресла и диваны, как в мебельном магазине, а на втором обитал мужчина, который с утра до вечера пил кофе. В соседней комнате сидели В. и еще несколько девушек такого же возраста — у них не было никаких обязанностей, кроме того, чтобы приходиться иногда в кабинет к мужчине и курить с ним сигареты.

Больше он ни о чем не просил, но однажды сказал В. с надрывом:

— С тобой так хорошо курится!

А она услышала — «курица».

Мужчина, с которым нужно было курить, платил немного, но В. присылали деньги родители — и спрашивали, почему она не поступает в вуз. Она отвечала каждый раз по-новому, ночевала где придется, иногда оставалась внизу, на диванах. Младшая сестра В. уже поступила в университет и получала повышенную стипендию.

Всё дело в том, что В. очень боялась сделать что-то так же, как все. Потому что, если делаешь как все, ты признаешься таким образом, что принимаешь эту жизнь и понимаешь ее.

В. не понимала.

Однажды она целую неделю ночевала в мастерской у знакомых художников, пока они были в Крыму. В понедельник пришла на работу, но мужчины там не было, а с первого этажа пропали все диваны и кресла. Другие девушки тоже пропали — их как будто растворили в кислоте. (Француженки.) Одна знакомая предложила снимать комнату на двоих. Район оказался таким далеким, что местные жители годами не могли вспомнить, что живут в столице. У них там было всё нужное для жизни, включая кладбище, и выбираться в центр никто не стремился. По музеям, что ли, ходить? Так они не для того переехали! В. согласилась, потому что в воздухе уже пахло снегом. Комната, которую им сдавали, была совершенно пустой — только у балконной двери лежал скатанный матрас, и от него исходил подозрительный запах. Девушки вытащили матрас на помойку, а ночью пришли бывшие жильцы и рыдали под дверь — чтобы они их пустили и отдали матрас, потому что в нем зашиты большие деньги. На помойке матраса уже не оказалось, но бывшие жильцы признали, что сами во всем виноваты.

В. и ее знакомая перезимовали в пустой квартире, а весной В. гуляла по городу (сходила в музей, между прочим) и встретила в парке несчастную молодую мать с несчастным ребенком — они были похожи друг на друга и поэтому без конца ругались. В., встав между ними, сделала их счастливыми. Ее наняли жить и работать в эту семью. В родном городе умер папа, но В. не решилась попросить отпуск — без нее в этой семье всё сразу же разваливалось. Она была няня им всем — и ребенку, и маме, и даже хозяину, хотя тот поначалу подозревал В. в корыстных замыслах. Но потом и он полюбил ее, она жила у них и всегда была под рукой. Хозяин коллекционировал оружие, но не умел им пользоваться: однажды чистил ружье, случайно выстрелил — и попал в В. Не очень страшно, но всё равно неприятно. Хозяин так испугался, что отправил В. восстанавливаться на курорт в Э.

Это была ее первая заграница. В клинике доктора посмеялись над ее «ранением», но женщина, которая делала УЗИ внутренних органов, так плотно сжимала губы, как будто боялась, что к ней ползет целоваться нелюбимый человек. В переводе с вежливого медицинского языка и, попутно, с немецкого оказалось — просто чудо, почему она до сих пор жива. Ей срочно нужен донор.

Такие операции тогда делали в столице, где жила семья неудачливого коллекционера. Они опять все переругались без В. и были рады, что она вернулась. Хотя вернулась она в очень плохом состоянии. В. с детства сильно болела, подолгу лежала в больницах, но в какой-то момент ей это надоело — и она решила, что лечиться больше не будет. Сколько проживет — столько и проживет. И вот,

по возвращении в столицу ей стало по-настоящему плохо, и хозяева заставили В. позвонить родителям. Сестра сказала, что готова стать донором. Их прооперировали семь лет назад. (Француженки вдруг резко умолкли, как птицы. Будто поняли, что рядом с ними речь идет о чем-то важном — пусть и на русском языке, таком сложном с его шипящими звуками.)

— Это была экспериментальная операция. Сейчас таких не делают. И всех, кого оперировали со мной вместе, уже нет в живых. Я должна каждый год показываться в клинике, и каждый раз мне удивляются, что я приехала. Только что не спрашивают: «Неужели ты до сих пор жива?»

Максимальный срок годности жизни В. — десять лет. Но она чувствует, что на самом деле этот срок меньше. Она живет каждый день, как...

— Как последний? — спросила А., шмыгнув носом.

— Как единственный, — ответила В. И высыпала перед А. еще целую горсть историй, правда, я слышал не всё — мы подъезжали к центральному вокзалу Б. и машинист сообщал об этом на четырех языках.

Детская сказка долежала до своего звездного часа — и В. проснулась если не знаменитой, то вполне обеспеченной. Она оплатила памятник на могиле отца и купила на том же кладбище место для себя. Маме она подарила домик с садом, сестре — машину, бывшему хозяину — коллекционное ружье (к сожалению, он застрелился из него через три года). Она путешествует и всё еще считает главной причиной своих бед глупую идею надеть на выпускной черное платье.

Я понял, что если прямо сейчас не встану с места, то никогда не увижу В. Я встал и пошел по вагону, но они сидели рядом и глядели друг на друга, волосы у В. были длинными, падали ей на лицо, тогда как А. закрывала себе нос и рот ладонью от сильного волнения. Поэтому я их почти не видел. У А. были длинные полные ноги в красных туфлях. Больше я ничего не заметил, а когда шел обратно, они снимали свои сумки с верхней полки. Я всегда бываю неловок, помогая дамам с багажом, поэтому прошел мимо и снова сел на свое место. Оно еще не остыло.

— А ты как провела все эти годы? — спросила В. приветливо, хотя поезд уже остановился и многие шли к выходу.

— Да я как-то обычно их провела, — смутилась А. — Мне даже рассказать нечего. Муж, работа, сын. Университет вот закончила. Живу в Ц.

— Приятно было поболтать, — сказала В. — Может, еще увидимся, хотя — вряд ли. В свете сказанного.

Они встали с места, расцеловались.

— Знаешь, чего я хочу? — сказала вдруг В. — Я бы хотела еще раз на рассвете сорвать с дерева холодное яблоко.

А. стучала костяшками пальцев по стеклу, прощаясь с подругой. В. пошла в другую сторону от нашего вагона — я смотрел ей в спину, но потом она повернулась — и тогда я увидел ее лицо на секунду. Глаза у нее были черные, как я придумал. В детстве, когда я встречал таких черноглазых людей, я думал, что они плачут черными слезами. И когда у маминой знакомой однажды потекла от смеха тушь, я был уверен, что это вытекают на щеки ее

черные глаза — тогда я очень долго плакал и никому не мог объяснить, почему. Лишь еще один раз в детстве я плакал точно так же сильно — когда увидел в цирке гимнастку под куполом. Она красиво качалась на трапеции под грустную музыку и была так прекрасна и хрупка, что я не мог этого выдержать.

В. ушла с перрона, А. перестала колотить по стеклу. Я приходил в себя и думал, что в этой истории меня смутила только одна деталь.

Она показалась мне лишней и неубедительной.

Яблоко.

Я отлично мог его себе представить, чувствовал, как оно ложится в ладонь холодным гладким боком, я видел даже брызги белого сока, которые разлетаются в стороны, как вода из неисправного душа! Но от этого яблока не пахло ничем, кроме выдумки.

Меня не смутил ни матрас, набитый деньгами, ни бандит, обещавший убить учительницу, ни даже горе-коллекционер, подстреливший няню. Все они вполне могли быть и, скорее всего, существовали на самом деле. Всё имело право на существование.

Кроме холодного яблока на рассвете.

Поезд тем временем тронулся. В наш вагон зашла юная мама с девочкой лет пяти, а следом за ними — высокая женщина моих лет. Я смотрел по сторонам — и видел вокруг себя одних только женщин! История невидимой В. так меня увлекла, что я не заметил, как исчезла моя элегантная соседка. Напротив сели мама с девочкой — малышка крепко сжимала в руках плюшевого единорога. Ноготки у нее были покрашены красным лаком, наполовину облупленным. Это выглядело отталкивающе.

Мама девочки молчала — и я подумал, что вижу ее, но не слышу, — а вот А. и В., сидевших сзади, я слышал, но не видел. Когда-то давно у нас в городе был художник-скоморох, и в мастерской у него стояло два телевизора: в одном работало только изображение, в другом — звук.

Эта ассоциация может пригодиться — пусть пока и неясно для чего.

По вагону проехала тележка с напитками, А. у меня за спиной попросила черный чай без сахара. Монеты звякнули в кармане официанта. Я пожалел, что не заказал кофе.

Солнце осталось в городе Б., я мог немного почитать. И вдруг за спиной у меня раздались крики: — Черт! Ну что ты будешь делать!

Ругаться она предпочитала на русском.

Я обернулся — как будто откликнулся на «черта», на законных основаниях. А. пролила чай на сиденье, причем умудрилась залить сразу и свое, и то, что напротив. Зато на одежду не попало ни капельки.

Она улыбнулась мне и спросила по-немецки, можно ли ей пересесть ко мне? Я кивнул, и А. снова начала стаскивать с верхней полки свою сумку.

Она села рядом со мной, и я жадно разглядывал ее, не брезгуя подробностями.

Я сильно промахнулся, придумывая ей внешность. Она не была хорошенькой — скучное лицо, а фигура такая широкая и плоская, что можно, кажется, повесить на стену. Одета по-европейски сдержанно, но туфли выдают русскую кровь — алые, блестящие, на платформах, которые моя жена называла «котурнами». А. вытащила из сумки телефон, набрала какой-то номер.

— Привет! — и снова русский. — Ты можешь мне перезвонить? Я сейчас пришлю тебе номер. Чтобы недорого. Спасибо!

Ей тут же перезвонили.

Спектакль, таким образом, продолжился.

Именно в это время поезд остановился в полях. Француженки спали, склонив друг к другу хорошенькие головки. У меня родилась странная и совершенно бесполезная ассоциация — уставшие солдаты в окопе. Мимо просвистел встречный, а нам на четырех языках объяснили, что мы вынуждены сделать небольшую остановку по техническим причинам.

— Ты не представляешь, кого я сейчас встретила в поезде, — сказала А. в трубку. — Нет. Не угадала. И снова — нет. А вот подумай, пожалуйста. Первые десять минут можешь думать бесплатно. И снова — нет. Подсказку? Ну ладно. Кого мы не видели ровнехонько с выпускного вечера? Да, я про нее. В каком смысле ты видишь ее регулярно? И она живет в том же районе? Ты что-то путаешь, дорогая. Она мне тут такого нарасказывала... У нее пересаженный орган, и она скоро умрет. Как это — дети? Нет, я знаю, что такое дети, но у нее нет никаких детей. Пластические операции? Ну да, я обратила внимание, она очень хорошо выглядит. Лет на тридцать. Каждый год ездит в Европу омолаживаться? Слушай, я ничего не понимаю. Но как она не боится про себя такое придумывать? Я в шоке. Я даже не знаю, что сказать. Вечером напишу. Пока-пока.

А. закрыла телефон и бросила его в сумку — как будто он в чем-то провинился.

— Нет, ну как она не боится? — прошептала она.

Молчаливая мама молчаливой девочки смотрела в окно. Девочка спала, положив голову на плюшевого единорога, как на подушку.

Поезд тронулся.

Мы прибыли в Л. с двадцатиминутным опозданием. Француженок встречали юноши, все, кроме одного, — красивые. Целовались так, будто участвуют в конкурсе.

Мама с девочкой поехали дальше. А. попрощалась со мной на выходе из вагона. У нее был хорошо отработан вежливый невидящий взгляд.

Я хотел сказать ей что-то на прощание, но не решился.

Гостиница моя была недалеко от вокзала. Я шел по мосту и думал: отпуск скоро закончится. Вернусь в свой город, в пустую квартиру. Начну считать часы до того дня, когда можно будет пойти на работу. Шеф скажет о новой рекламной кампании: «За деньги и я смогу, а вы придумайте, чтобы так». Коллеги продолжат смеяться над тем, как я записываю свои ассоциации. Пиарщики всё так же будут любить каждого, кто придет к ним «на мероприятие». Агенты — переписываться годами и не узнавать друг друга при встрече.

Комната в гостинице оказалась крошечной и душной, как парилка. Настольная лампа не работала.

Я сел за стол — записать то, что случилось сегодня. Хотя знал, что этот день и так останется в памяти.

В детстве у меня была любимая игрушка — обезьянка Чича. Всего лишь раз я взял ее с собой на улицу, и ко мне тут же подбежала незнакомая девочка:

— Мальчик, а у меня такая же! Такая же!

После этих слов я решительно разлюбил Чичу. Это была единственная персона женского пола, которую я в своей жизни предал.

Возможно ли, что В. всего лишь не желала стать такой же, как все? Прожить понятную жизнь, которая закончится так же, как у всех? Ведь горы чаще всего рождают мышей.

Сейчас я поставлю точку в этой истории, а потом сделаю то, чего не делал раньше никогда. Раньше я купил бы вина и сыру в магазине, выпил бы вдвоем с телевизором, а потом уснул, мечтая о бывшей и единственной моей жене. Я вспоминал бы о том, какие у нее маленькие джинсы и горячие ладони, и удивлялся — как в ней могло поместиться столько ненависти ко мне?

Сейчас я сделаю иначе.

Я вернусь на вокзал и куплю билет до города Б.

Это не очень большой город, все приезжие там ходят по одной улице — от главной станции до набережной реки А., где для живых медведей огорожен целый берег.

Если В. будет идти впереди меня — я узнаю ее со спины. Я хорошо запомнил, как она выглядит.

А если В. окажется позади — я почувствую это и обернусь. Скажу:

— Здравствуйте, хотите яблоко? Вот только оно холодное.

Она ответит — и я снова услышу ее голос.

Девять девяностых

Смена сезонов, как в зеркале, отражалась на прилавках старух, что торгуют плодами земли — и своих последних сил. Только что, кажется, царствовали редис и черемша, как вдруг их уже свергали с престола в пользу первых, неуверенных в себе огурцов. За ними следовали клубника в бидонах и черника в газетных кульках, морковь и бледные дирижабли кабачков. Сегодня, проходя мимо старушечьего рынка, Лина невольно заметила черную редьку — она была громадная, черная и страшная, как клизма. От макушки тянулась вверх волосатая антенна. В окружении рядовых свёкол редька выглядела, как ферзь среди пешек.

Редька — значит, осень. Ягоды и листья рябины почти равны цветом.

Лина не любила осень. Но она и зиму не любила, и весну, и даже лето.

С прошлого года она всё в своей жизни одинаково ненавидела. Даже не интересовалась тем, какой нынче сезон на дворе.

А вот старуха с редькой сохранила свежесть чувств и праздновала осень, как личный юбилей.

— Берем, девочки, редьку! — крикнула она Лине, хотя назвать ее девочкой можно было только сослепу. Да и никаких других «девочек» рядом не было. Таким старухам множественное число отчего-то кажется более вежливой формой обращения. — И астрочки покупаем! Редька для здоровья, астры — для хорошего настроения!

Лина мысленно заспорила: это от астр-то хорошее настроение? Да они, наверное, самые депрессивные цветы, хуже разве что похоронные хризантемы. Школьникам астры напоминают о том, что опять началась вся эта свистопляска с учебкой, влюбленным — что не хватает денег на розы. Лине — той, другой, из прошлого — когда-то нравились белые пионы. Но теперь это никого не интересует, как, впрочем, и саму Лину. Дайте ей сейчас пионы — ничего не почувствует.

Прошла мимо разочарованной старухи, так и не соблазнившись страшенной клизменной редькой. А вот свёклу напрасно не купила — можно было бы сделать винегрет и поужинать, как человеку. Лина опять перестала готовить — зачем, если для себя одной? Да и не из чего — запасов, как Муся, она сделать не успела.

Муся часто вела себя с Линой так, будто они не ровесницы, а мудрая мать и бестолковая дочь.

— Мы бы обязательно сходили за дочкой, — клялась Муся, — но сейчас рожать, это ж врагу не по-

желаешь! И вообще, у нас — только мальчики. Врачиха говорит — генетический сбой!

Лина молчала, поражаясь внутри себя Мусиной бестактности. Ужас, сколько всего она могла делать внутри себя: и поражаться, и спорить, и протестовать, и плакать... Главное, чтобы наружу не просочилось.

Она-то согласилась бы на любое время — ну да, дикие годы, и что? Мама Лины — та вообще родилась в блокадном Ленинграде; многие бросали младенчиков, а бабушка маму выходила. Они обе — блокадницы, и в Лининой школе их даже приглашали провести беседу. В пятом классе.

Сколько раз мама предлагала: возвращайся домой, Альвина, начнешь всё с начала. Здесь твой город, твой дом. Комната нетронутая, я так и не решилась ее разорить. И вообще, как можно жить где-то, кроме Ленинграда?

Раньше Лина думала: может, правда вернуться? Но потом поняла: некуда. Из ленинградской жизни она выросла, как из детской одежды, а самое счастливое время было здесь, в Свердловске. И начинать всё с начала она уже не хочет — ведь это будет значить, что прошлого не было.

Но ведь оно совершенно точно — было.

Летом, уже не школьница, но еще не студентка, Лина уехала в Москву — как все тогда ездили, «к родственникам». Тетку свою московскую Лина не любила. Та давала на завтрак манную кашу в хрустальных розетках и свято верила в то, что детские фотографии нельзя показывать черноглазым людям. У Лины глаза были именно что черные, поэтому от нее в первый же день спрятали все альбомы и убрали от греха подальше рамки с портретами

детей, сосланных на лето в Крым. Лина пыталась не сердиться на тетку — да, такой порцией манной каши не насытился бы даже воробей, зато в соседнем доме работала чудесная булочная. Тетка считала, что Лина достаточно взрослая для того, чтобы развлекаться в Москве самостоятельно — вот она и развлекалась. Вступительные экзамены были уже позади, сразу после Москвы, августа и колхоза Лина готовилась, как выразался папа, «брать языка». Английский у нее, впрочем, и так был приличный, а вот с немецким предстоит настоящая борьба. Может, даже битва.

Лина с удовольствием познакомилась бы с кем-то в Москве, но подойти первой не решалась, даже если ей нравилась компания. Нет, всё же Москва — это была плохая идея. Лучше бы она поехала с подружками в Одессу, тоже, кстати, «к родственникам» — только уже к чужим.

В Москве — бродила по улицам, уставала, маялась. Мама строго наказала: ходи, Альвина, в музеи, театры. Как будто бы в Питере этого нет. Но мама как чувствовала: именно у входа в театр, Вахтанговский, Лина столкнулась с Сашей. Столкнулась в самом что ни на есть прямом смысле слова — прямее был разве что Сашин нос, от удара, к счастью, не пострадавший. Лина, зазевавшись, уткнулась ему в плечо — как будто собиралась зарыдать. И, хотя было стыдно, всё же успела почувствовать, как от него пахнет — в точности как от папы. Родной аромат кожи, папирос, еще чего-то знакомого, ленинградского. Лина так обрадовалась этому запаху, что стояла теперь, раскрыв рот, и смотрела на Сашу, еще не зная, конечно, что это Саша. И он — тоже смотрел на нее.

У него были светло-карие глаза, такие светлые, что могли бы считаться желтыми — это оказалось неожиданно красиво. И еще были ямочки на щеках — похожие на скобки, в которые он пытался прятать улыбку.

— Ты так меня напугала! Выпрыгнула откуда-то и сразу — обняла, — вспоминал он потом, в другой жизни. А тем вечером в Москве они пошли в театр и, единственные во всем зале, смотрели не на сцену — друг на друга. И уже в сентябре Лина вышла с чемоданом на Свердловском вокзале — самом, наверное, угрюмом из всех вокзалов мира. Саша стоял на перроне — она увидела его в окно и поняла, еще не выйдя из вагона, что всё сделала правильно.

«Братъ языка» можно было и в Свердловске. Лину охотно перевели в местный педагогический — «иностранцев» в те годы учили только там. У Саши была однокомнатная квартира на улице Малышева — наследство деда.

В Питере, конечно, устроили целую историю, если не вообще траур.

— Я всё понимаю, — плакала мама. — Я любовь понимаю, и страсть — понимаю... Я, Альвина, не понимаю одного — как можно, будучи в своем уме, уехать из Ленинграда? Как вообще можно жить в другом городе, да еще в таком, как этот ужасный Свердловск?

Мама однажды была на Урале в командировке, и ей там очень не понравилось. Грязно, холодно. Еще и царя убили.

— Альвина, подумай хорошо, — подключался папа. — Пусть твой Саша лучше к нам приедет. А что? Проживем!

— Саша не может переехать, — объясняла Лина. — У него аспирантура и секретное предприятие.

Когда Сашу начинали расспрашивать, что там такое секретное производят, он всегда отвечал одинаково: «Пластмассу для военных нужд».

Гостей на свадьбе было пятеро. Родители невесты, мать жениха и два его друга, один из которых, как признался Саша, — внук человека, убившего царя.

— Главное, маме не говори! — переполошилась Лина.

— Не скажу. Пусть это будет наша первая тайна!

— ...Он тебя, конечно, очень любит, — признала мама, когда Альвина провожала их на вокзале, уже не таком угрюмом, как в первый раз.

— И я его люблю!

— И ты... — протянула мама с сомнением, что очень обидело Лину.

Саша звал ее «Львина». Говорил, это львица-королева. А иногда — что Мальвина с львиной гривой.

Лина учила английский, успешно сражалась с немецким. В институте она ни с кем особенно не дружила — Саша был ей и муж, и подруга, всё разом.

А вот в соседях приятельница нашлась сама собой.

Лина и сейчас помнит, как впервые увидела Мусю. Даже не увидела, а почувствовала на себе взгляд — такой тяжелый. Будто кто-то взял и бросил тебе на плечо мокрое полотенце. Лина обернулась — и даже не поверила сначала, что полотенце, то есть, фу ты, взгляд, принадлежит такой славной девушке. Взгляды у нее, по всей видимости, легко менялись — сейчас она смотрела приветливо.

— Недавно переехала? — спросила девушка. — И зовут тебя как-то странно, да?

— Странно — это еще мягко сказано, — засмеялась Лина. — Родители назвали Альвиной в честь какой-то тетки, которую я ни разу в жизни не видела. Но тетка, говорят, была хорошая.

Девушка нетерпеливо кивнула. Ей хотелось рассказать про себя.

— А меня мама назвала Марией — потому что к ней во сне пришла Богоматерь.

— Вы верующие? — шепотом спросила Лина. Тогда не принято было так запросто обсуждать сомнительные вещи.

— Как бы да, — согласилась девушка. — Я вечером к тебе зайду, можно?

Действительно, зашла. Лина не сразу заметила, что эта Мария, сразу же, впрочем, велевшая звать ее по-кошачьи Мусей, — беременна. А сейчас, вечером, разглядела. Животик уже был виден, и ела с аппетитом. Лина даже начала переживать, что Саше не останется, чем поужинать, — но в какой-то момент Муся, к счастью, остановилась. Говорить с ней было особенно не о чем.

Работала Муся кастеляншей в детском саду, а ее муж Валерий был ни много ни мало депутатом горсовета. Саша, когда она ему рассказала, изумился: какой мезальянс!

Валерий бывал дома редко, и беременная Муся, уже разменявшая к той поре декретный отпуск, отчаянно скучала. Она завела привычку караулить Лину на скамейке у подъезда. Щелкала семечки, умело сплевывая шелуху в кулачок. Или же курила, спрятавшись за бетонной стеной подъезда. А потом вместе с Линой шла к ним до-

мой — мешала готовить, заниматься, читать... Но у нее был животик, поэтому Лина терпела и молчала.

— Ты не курила бы, — сказала однажды Лина.

— А мне врач сказал, на таком сроке бросать нельзя! Это для ребенка — стресс.

Муся много и подробно рассказывала о себе — в деталях описывала свое самочувствие, и Лине порой казалось, что соседка путает ее с врачом.

Валерий хотел сына, Мусе было всё равно.

— А вы чего не идете за ребенком? — спросила как-то Муся, и Лина растерялась. Они с Сашей еще не говорили об этом всерьез, хотя прожили вместе уже целый год.

— Думаешь, у нас будут когда-нибудь дети? — спросила она тем же вечером, уткнувшись мужу в плечо. Как будто спрашивала у плеча, а не у Саши.

— Львина, конечно будут! — засмеялся Саша. — Мы еще даже, можно сказать, и не начинали этот процесс.

Лина успокоилась. В самом деле, куда торопиться? Ей надо диплом получить, Саше — защититься.

В августе Муся родила сына.

«На три пятьсот вытянул!», — крикнула из окна роддома.

Как про колбасу, поежилась Лина. Валерий приехал забирать жену и сына из роддома на красивой бежевой «волге» — и Лину опять удивило, какой они были странной парой. Миленькая, но при этом *простодыфая*, по выражению свекрови, Муся и ладный-складный Валерий. Пиджак сидел на нем, как на манекене из магазина «Синтетика».

Мальчика назвали по моде тех лет — Иваном.

Теперь они приходили к Лине вдвоем. Муся, не стесняясь, вынимала грудь из рубашки — так достают кошелек или же пистолет в заграничном фильме. Малыш хватал губами оранжевый сосок, кормление шло громко и долго, с гулкими звуками. Лина пыталась отводить глаза, а Муся над головкой малыша всё так же щелкала свои семечки.

Через полгода после рождения Ванечки она опять забеременела.

— Вот, Линка, скажут тебе, что, пока кормишь, не залетишь, — не верь! Вранье! Надо было предохраняться.

Муся была разгневана тем, как ее обманули организм и народные приметы. Она совсем не собиралась рожать второго сразу после первого.

— Моя мать из двойни. Говорит, что хуже близнецов — только погодки, — жаловалась Муся.

— Так у тебя и близнецы могут быть? — спросила Лина. — Это же передается по наследству?

— По мужской линии, — важно сказала Муся.

Действительно, в положенный срок Муся показала в окне роддома с единственным свертком. И лицо у нее было расстроенное.

— Опять пацан. Валерий еще и какое-то имя дурацкое придумал — Лука.

Лина тут же вспомнила цитату, застрявшую в памяти со школьных времен: «Лука — апостол утешающих иллюзий, Сатин — певец правды свободного человека».

Вернувшись из роддома, Муся объявила, что будет звать младшего Лукасом. Пока ее не было, домом заправляла мама Валерия — суровая дама в седых кудряшках, до смешного походившая на композитора Баха с известного портрета — точно

такой же крупный нос и подозрительный взгляд. С Ванечкой бабушка справлялась отлично.

У стен, как известно, есть уши — но в том доме, где жили Лина и Муся, стен вообще как будто не было — соседи могли слушать друг друга, точно радиоспектакль. Ванечка часто плакал, иногда Лина слышала, как ворчит Муся, а потом покрикивает Валерий. Иногда раздавались глухие шлепки и удары — как будто кто-то не слишком большой и тяжелый падал на пол.

А вот бабушка-Бах пусть и выглядела строго, но так щебетала за стенкой, что Лина невольно улыбалась, слушая — тоже, кстати сказать, невольно.

Она не сомневалась, что Муся вскоре начнет приходить к ней, как прежде, — теперь уже с Ваней у ноги и Лукасом у груди, но соседи неожиданно собрались и переехали. В считанные дни — Лина даже не успела толком попрощаться. Муся не оставила ни адреса, ни телефона, квартиру сдали молчаливому бирюку, который жил один в трех комнатах, но не издавал, если верить стенке, ровным счетом никаких звуков.

Лина чувствовала обиду, но в большей степени — облегчение. Никто теперь не мешал ей учиться, никто не напоминал о том, что главное предназначение женщины — это материнство.

Она получила диплом в тот год, когда умерла их страна. Та, новая, что пыталась занять ее место, была слаба — и сама в себя не верила. Как некоторые больные не верят в то, что поправятся, — и отдают концы.

Однокурсницы Лины торговали в «комках», сама она безуспешно пыталась найти работу по специальности, но в конце концов начала возить

по домам дешевые польские костюмы. Костюмы были синтетические, от них летели искры, как от трамвайных проводов, — и Лина, предлагая товар, мучительно краснела от стыда за него. Так краснеют за детей, когда они хватают с общего блюда лучший кусок.

Но детей — не было. Была жгучая нежность к несуществующему младенцу, была уверенность в том, что уж она-то знает, как его нужно растить и воспитывать. Были мечты, имена для мальчика и для девочки, были сладкие сны, в которых она — мама, — и три пустых, бесплодных, страшных года.

Бог с ними, дурными девяностыми, однажды они закончатся.

Плевать на искрящие костюмы — не станет же Лина торговать ими всю жизнь.

Не страшно, что диплом преподавателя английского и немецкого языков, скорее всего, засохнет на корню, как позабытый цветок.

Страшно — без детей.

Теперь они с Сашей говорили об этом открыто.

Саша сумел сохранить работу, но за нее, к сожалению, перестали платить. А он всё равно не бросал ее, потому что был из той породы людей, которые не могут бросить то, что по-настоящему любят.

Жили так бедно, что Лина научилась покупать семечки и неумело щелкала их, приглушая голод. Сашина мама выращивала «на участке» картошку — перебивалась дарами трудов и огородов. Она была хорошей женщиной, Лина свекровь, — сильной и справедливой. Лина видела таких только на Урале — чтобы и носки вязать, и бревна катать, и стихи по памяти читать. Стихи она любила о природе.

Она была хорошей, но прямолинейной, как проспект.

— Где моя внучка? — наседали свекровь, как будто Лина спрятала куда-то живую маленькую девочку и не показывает бабке из вредности.

Свекровь хотела внучку, и Лина тоже всегда представляла себе, что у них родится девочка.

Хотя можно и мальчика.

Всё равно кого.

Только бы родился, пожалуйста!

Они прошли все обследования. Съездили к бабушке, которая снимала порчу и брала плату продуктами. Молились у чудотворной иконы. Саша бросил курить. Лина по совету врачей высчитывала дни для зачатия. Узнала, что такое «овуляция» и «цервикальная слизь».

И — ничего.

Точнее, никого.

На очередном приеме у гинеколога Лина услышала бесстрастные слова врачихи: «Живот мягкий, безболезненный».

А ей показалось — «бесполезный».

— Десять процентов всех случаев бесплодия необъяснимы, — сказала ей однажды врачиха, крутившая кольцо на пальце с такой яростью, как будто вентиль завинчивала. — Никто не знает, почему у вас не получается. Раньше я посоветовала бы вам взять ребеночка из детдома — почему-то после этого у людей начинают рождаться свои детки, хотя это тоже необъяснимо. Но не в наше же время! Сейчас своих бы поднять...

И врачиха глянула на фото в рамке — оно стояло у нее на столе, и там была прелестная черноглазая малышка с беззубой улыбкой.

В тот вечер Лина так рыдала, что бирюк-сосед даже позволил себе возмущенный стук в стену — но Саша тут же вернул удар с такой силой, что это походило на драку. Стенка на стенку. Наверное, над этим можно было бы посмеяться, если бы у них еще оставался смех. Саша в конце концов ушел, и Лина испугалась — вдруг не вернется?

Но он вернулся и держал на руках старое одеяло, внутри которого дрожал от радости и ужаса лохматый щенок. Саша назвал его — Лев.

Так у них появился ребенок.

Щенком Лев был похож на овчарку — как овчарку его, собственно, и продавали на том углу, рядом с гастрономом, где Лина разглядывала сегодня ту жуткую редьку. Толстолапый, с медвежьим (а не львиным) черным носом — фотографии таких щенков любят печатать в календарях. Но по мере роста в нем просыпалась дремлющая до поры дворовая кровь — крепкая и липкая, как дешевое вино. Круп у Льва-подростка выглядел коротким, а лапы, наоборот, казались излишне длинными. И хвост как закрутился однажды кренделем, так и не думал принимать благородную форму. Лев смешно бегал, визгливо лаял, в общем, овчаркой он был примерно такой же, как и львом.

Но разве мы любим детей за то, что у них правильные лапы и хвосты?

Лев был отличным сторожем и верным охранником — здесь командовала овчаркина кровь. Лина часто с благодарностью вспоминала о том, что он рядом — Саша задерживался на своей бесплатной работе допоздна, а подъезд, ценный отсутствием железной двери, облюбовала местная шпана. Бывало, даже ломились в квартиры — просили то рубль,

то стакан, то позвонить. Лев рычал и лаял, поэтому к ним стучали реже, чем к соседям. Но вообще в те годы сложно было чувствовать себя защищенным даже рядом с собакой — дурные, дурные девяностые! Люди с трудом выплывали из-под этих тяжелых лет — как во сне, когда давит на грудь и нечем дышать.

Постепенно распогодилось. Лина начала давать уроки английского. Саша наконец расстался со своим секретным предприятием и сумел устроиться в только что народившийся банк программистом. Когда одна из учениц Лины начала соблазнять ее работой в коммерческой школе, где готовили секретарей-референтов, Саша сказал:

— Соглашайся! Тебе нужны люди, а не только мы со Львом.

Лев в подтверждение радостно дышал, длинный язык свисал, как галстук. Пес не возражал, чтобы его считали человеком.

В коммерческой школе Лине понравилось. Пахнет кофе, новой мебелью, и никому не интересно, куда она дела маленькую девочку. Здесь часто бывали иностранцы, читали лекции, проводили семинары, — возможно, впервые по Свердловску запросто гуляли англичане, бельгийцы, шведы. В подарок местным жительницам первоходцы привозили конфеты и колготки — Лине было неловко принимать эти подношения, но она всё равно принимала. Колготки — валюта перестройки.

Потом Лину впервые отправили в командировку — на Север. Уезжать от Саши и Льва она не любила. В чужих городах — и даже в родном Ленинграде, где приходилось бывать каждый год, — Лина

чувствовала себя в сто раз несчастнее, чем дома. На расстоянии всё казалось хуже, чем вблизи от Саши и милого преданного Льва. А может, это было предчувствие — как будто бы Лина знала, что не надо ей привыкать к этим поездкам. Точнее, не надо уезжать!

Накануне она почему-то вспоминала Сашиного деда. Он был известный ученый — и притом страшно суеверный человек. Жена спрашивала: когда ты вернешься из Москвы, а он отвечал: я *должен* вернуться послезавтра. Вот это «должен» — был реверанс ученого мужа перед судьбой, способной на всяческие подлости. Сашин прадед умер в путешествии — поэтому его сын говорил, что «должен вернуться», а вернется ли на самом деле — как знать? Рассказывая историю, Саша посмеивался над дедом, но и сам тоже всегда говорил «должен», а не «вернусь».

Наутро Лина впервые не смогла дозвониться домой. И всю дорогу, пока тряслись в автобусе от Тюмени до Екатеринбурга, уговаривала себя, как ребенка: ничего страшного, наверное, просто телефон отключили за неуплату. Или трубка лежит неправильно.

Свекровь она тревожить побоялась — и так потом ругала себя за это! Свекровь подняла бы панику, можно было бы что-то сделать, спасти...

У подъезда Лина увидела милицейскую коробочку и стайку старух на скамейке. Старухи сидели ровным, как пешки, рядом. С милиционером, сдвинувшим фуражку на затылок, беседовал тот самый сосед-бирюк — Лина подумала, что впервые слышит его голос, а потом увидела Сашу и Льва. То, чем они теперь стали.

История была для девяностых обычная, в криминальных новостях о таком рассказывали часто. Саша пошел выгуливать Льва поздно вечером и в темноте не заметил обводненную траншею. Они упали туда оба, Саша сломал ногу и позвоночник. Их не сразу, но всё же нашли — но, когда попытались вытащить Сашу, Лев стал рычать. Он не подпускал никого к хозяину, думал, что его хотят не спасти, а убить. Овчарка победила дворнягу. Саша был без сознания, кто-то предложил пристрелить Льва, но, пока разбирались, как это сподручнее сделать, — они уже умерли. И муж Лины, и ее ребенок.

Всё, что было потом, она уже не помнила — только этот, самый первый момент. Грязные, мокрые, мертвые, любимые, родные, единственные. И после этого — как можно было говорить ей, что нужно жить дальше? Ради чего?

— Ради нас с папой, — плакала по телефону мама.

Коллега из коммерческой школы принесла Лине какие-то таблетки, и со временем она впала в состояние тупого щенячьего счастья. Эта искусственная, химическая радость так напугала Лину, что она бросила лечение — и продолжала жить всё в той же квартире, не решившись выбросить мягкую подстилку Льва, не убрав из прихожей Сашин портфель, мерно обраставший пылью.

— Вещи нужно раздавать сразу после похорон, — сказала ей одна из старух, что сидели тогда у подъезда. Наверное, у нее были виды на Сашину одежду, но Лина не нашлась что ответить. — Вон хотя бы соседке отдай! Вернулись ведь Муся-то с семьей.

И правда, вечером за всеслышащей стеной кто-то визжал и падал, басил и покрикивал.

А на другой день в дверь постучали — и словно не было этих лет, тяжелых, словно горы, которые никак не хотят падать с плеч. Муся — с прежним своим миленьким личиком, самую чуточку потолстевшая — стояла на пороге и смотрела на Лину знакомым взглядом. Кажется, что в глаза, но на самом деле — за спину. Будто бы она искала что-то припрятанное, как бедная Сашина мама — нерожденную внучку.

— Я только садом спасаюсь, — сказала однажды свекровь. Пальцы ее были темные, в трещинах, как будто она целыми днями чистила свёклу — или накальвала вишни на варенье. — В саду всё живое, помрет без меня. Вот я и спасаюсь. Зимой что делать — не знаю.

Свекровь в первое время приходила к Лине почти каждый день. Они молчали или плакали. Говорить было не о чем и незачем.

А вот у Муси накопилось новостей.

— Мы же в Москве всё это время жили, — рассказывала она. — Валерий раскручивал бизнес.

— Раскрутил? — спросила Лина.

— А то! Будет здесь теперь филиал открывать. Как раз к началу года всё сделает — и обратно. Я бы ни за что не поехала, тем более с детьми — у нас в Москве условия гораздо лучше. И няня, и бассейн. Но ты же знаешь, Линка, мужика без присмотра не оставляют.

— Да, я знаю, — Лина сама удивилась тому, как спокойно прозвучали эти слова.

— Так я не про то! — почему-то разозлилась Муся. — Я к тому, что уведут. Сейчас это знаешь как просто!

Вскоре выяснилось, что на Сашины вещи у Муси никто не польстится — и муж, и мальчики одеты, как в каталоге немецкой моды. Валерию возраст был к лицу, как многим красивым мужчинам. Младший сын, Лукас, оказался прехорошеньким пакостником — и, к сожалению, астматиком. Старший, Иван, носил длинные, до плеч, волосы. Возможно, в Москве была такая мода, и она еще просто не докатилась до Екатеринбурга. Прическа эта мальчику не шла, а больше сказать про Ивана было нечего.

Муся приходила к Лине одна, без детей, — и не так часто, как раньше. Вместо семечек она приносила с собой шоколад и потом жаловалась, что у нее от шоколада — прыщики, но она всё равно не может от него отказаться. И курила на кухне, запросто — к вечеру там пахло, как на вокзале, но Лине было всё равно. Она и сама порой вытягивала из пачки сигарету, и Муся ее поощряла — даже как будто радовалась, что правильная Линка теперь тоже курит.

По вечерам Лина слышала из-за стены, как родители учат с Иваном уроки.

— Ты тупой совсем, что ли? — кричал Валерий. Не иначе с Валерием что-то произошло в Москве, или же, раскручивая бизнес, он сорвал у себя внутри какой-то жизненно важный тормоз. Раньше Лина не помнила, чтобы он повышал на детей голос. — Если ты идиот, так иди в школу для умственно отсталых, понял, урод? Что здесь решать-то, задача для дебила!

Девятый вал и вой раненого зверя. Мальчик плакал, потом включалось — как музыка! — повизгивание Муси, глухие удары и еще много всего, что Лина предпочла бы не слышать. Однажды спросила:

— У Лукаса проблемы с учебной? Вы поэтому летом занимаетесь?

Муся призналась: проблемы не у Лукаса, а у Вани, причем серьезные. Шестой класс окончил на двойки, не спасли ни деньги, ни репетиторы. Они еще и поэтому вернулись в Екатеринбург — найти ему хорошую школу, может, интернат...

— Он у нас не дебил, а индиго. Слыхала?

— Если хочешь, я с ним позанимаюсь.

Муся засмеялась, недожеванная конфета выпрыгнула изо рта, как лягушка. Долго кашляла, запивала чаем.

— Да хоть вообще забери. Мы плакать не станем.

Тогда был август, самое начало. Бабки у гастронома торговали тепличными помидорами, чесноком и репой. У некоторых уже появились ведра с мелкими яблоками — кривобокими, но душистыми, сладкими. «Чистый мед», клялись старухи, подталкивая ведерки с яблоками поближе к Лине, чтобы она их лучше рассмотрела. Познакомилась, так сказать, прежде чем купить и съесть. Лина шла домой от одной из своих прежних учениц — к ней вернулись все, кого она оставила, уйдя в коммерческую школу. С той школой было покончено навсегда.

— Ты пытаешься себя наказать, — часто говорила мама, и Лина соглашалась с ней, как соглашалась теперь со всеми. Дома она высыпала ведро яблок на пол, наслаждаясь их грохотом, ароматом и тем, как они раскатились красными мячиками по всей комнате. И застыли — каждое на своей орбите.

Потом пришла Муся, привела Лукаса — и у него открылся рот, как будто конверт расклеился.

— А зачем вам на полу яблоки?

— Не знаю, — сказала Лина.

И, кажется, в первый раз за весь год улыбнулась — такая у него была забавная, удивленная мордочка.

Через две недели случился дефолт.

Наверное, Лина была самым равнодушным к этому событию человеком — если не во всей стране, то уж точно в доме.

Для Мусиной семьи это была, как для всех нормальных людей, катастрофа.

Валерий потерял бизнес, который с таким трудом налаживал все эти годы. Пока доллар летел вверх, Муся металась по городу, пытаясь выгодно истратить на глазах тающие деньги. Было, например, куплено три шубы, две — длиной в пол. Попутно с этим Муся закупала гречку, варила компоты, мариновала огурцы — готовилась к войне. Такие, как Муся, — всегда готовы. На них держится страна, а не на таких, как Лина, дохлых львицах.

Она ни о чем не позаботилась — вот и смотрит теперь бессмысленно на черную редьку.

О возвращении в Москву никто не заикался. Валерий целыми днями сидел дома, воспитывал сыновей. Судя по всему, попивал. Муся бегала по знакомым, будто бы искала работу. Пыталась перепродать шубы. Про интернат для Ивана речи уже не было — первого сентября мальчишки вышли из квартиры с букетами, направляясь, надо полагать, в обычную школу. И у старшего, и у младшего — скромные астры. Отец спускался по лестнице следом, глядел в затылки детям, как надсмотрщик.

Уроки они теперь учили, начиная с двух часов, как только Иван возвращался из школы.

— Болван! — кричал Валерий за стенкой. — Тупица! Тварь!

Вполне возможно, имел в виду и себя.

Однажды, в какой-то особенно громкий день, Лина не выдержала. Вышла на площадку, позвонила в дверь.

Открыл разъяренный Валерий. Где-то глубоко в квартире всхлипывал мальчик.

— А Лукас у вас на продленке? — зачем-то спросила Лина.

Валерий, ни слова не сказав, ушел в кухню, долго чиркал там спичками — от злости не мог прикурить. Лина пошла следом. Кухня была заставлена банками с соленьями, вареньями, овощной икрой, компотами. Над форточкой висели длинные нити сушеных грибов, похожие на какие-то страшные бусы.

— Зачем вы с ним так?

— Что? — не понял Валерий. — А, вы заступаться пришли?

— Я каждый день слушаю, как он плачет.

— Ясно, — кивнул Валерий. — Жалко стало, да?

— С Лукасом вы по-другому общаетесь. Вы его любите. Но Ваня ведь тоже ваш сын.

— А вам не приходило в голову, — взревел Валерий, — что у каждого ребенка своя кредитная история? Это дерьмо мне всю жизнь отравило! Гнилой насквозь.

Валерий выругался сквозь зубы, полусшепотом — так обычно делают женщины.

— Ребенок не может быть гнилым, — сказала Лина.

Валерий так вдавил окурочек в блюдце, будто это был виновник дефолта и его личный враг. Потом

выбежал с кухни и начал метаться по всей квартире, собирая в большой пластиковый пакет какие-то вещи. Лина заметила ботинок, книгу, спортивные штаны...

— Папочка, не надо! — вопил Ваня, пытаясь остановить отца, но тот легко стряхнул его с руки, как сухой листик с дерева. Лина не знала, что делать — зачем она во всё это ввязалась? Зачем ей чужие беды, если она и свою-то пережить не может?

Валерий набил наконец пакет доверху, открыл дверь и с удовольствием вытолкнул из квартиры сначала Ваню, а потом Лину.

— Попробуйте сами! — торжествующе сказал он.

Лина попыталась обнять мальчика, но он отшатнулся, как чужой пес. Сел на пол в коридоре.

— Тебе тринадцать, да? — спросила она просто для того, чтобы хоть что-нибудь спросить.

Ваня просидел на полу почти целый час, потом всё же согласился умыться и зайти в комнату.

Лина не сомневалась — сейчас придет Муся и заберет сына, но за стеной было тихо, как при соседе-бирюке.

— Ваня, — позвала с кухни. — Ты картошку вареную любишь? Или жареную?

Они поели вдвоем, это было приятно. Ваня сидел рядом, и от него пахло знакомым, почему-то ленинградским запахом. Глаза опухли от слез.

— Телевизор включить? Или сразу ляжешь?

Когда мальчик уснул, Лина разобрала пакет с его вещами. Повесила школьный жилет на плечики, рядом с Сашиным пиджаком. Брюки нужно было погладить — и это тоже оказалось приятно.

В левом кармане — дырка, Лина зашила ее, смакуя каждую секунду.

В тот вечер она засыпала, думая: сегодня у меня есть ребенок.

Наутро за Ваней тоже никто не пришел. И сами не открывали — Лина, хоть и боялась Валерия, но всё же с утра исправно жала на кнопку звонка. Безуспешно.

Ваня спал, а ведь ему нужно в школу! Лина не знала, как разбудить его, чтобы не напугать. В конце концов просто раздернула шторы, и мальчика пробудил яркий свет из окна.

— Будешь завтракать?

Ваня сказал, что будет.

— Мне куда сегодня приходиться? — спросил он.

— Ко мне. Я буду ждать.

Мусю она встретила только к вечеру — та выносила из квартиры раскормленный чемодан. Увидела Лину и жарко вспыхнула:

— Линка! Я сама в шоке! Но Валерий уперся: пускай, говорит, она попробует, прежде чем нас осуждать. Мы едем в Москву, на время. Лукас у бабки. А Ваня — пусть он правда у тебя поживет, ты не против? Бабка с ним тоже не справляется.

Лина вспомнила бабушку-Баха, ее суровое, не прощающее лицо. И как сладко она щебетала за стеной с крошечным Ваней.

— Пусть поживет, конечно. Но всё это неправильно.

Муся махнула рукой:

— Скоро сама поймешь. Не поддержишь дверь? Чемодан, зараза, не проходит.

Лина гадала: что же такое она должна понять? Ваня вел себя тихо, как рыбка: из школы приходил

вовремя, ел, смотрел телевизор. Говорить с ним было мучительно — он отвечал так скупно, как будто тратил с каждым словом не слова, но деньги.

Кстати, о деньгах. Мусе даже в голову не пришло оставить сыну хоть сколько-то — скорее всего, она об этом просто не задумалась. А может, Лина казалась ей обеспеченной — кто знает? Но сбережений у Лины не было — то, что платили за уроки, она сразу проживала. Ваню нужно было кормить мясом, он рос — и ел с такой неряшливой жадностью, что Лина выходила из кухни, лишь бы этого не видеть.

В ее кошельке всегда лежала неприкосновенная купюра — на черный день. Для Лины — вполне крупная. Однажды днем, когда Ваня был в школе, а Лина ехала от ученика, ее как будто дернул кто-то изнутри — проверить кошелек.

Купюры не было.

Лина решила, что сама где-то обронила. Или в магазине вытащили. Расстроилась, конечно, и, чтобы прикрыть прореху в чувстве безопасности, тем же вечером положила в кошелек другую купюру. Номиналом пониже.

Через день исчезла и она.

— Ваня, ты случайно не брал у меня деньги? — спросила за ужином Лина.

Мальчик выронил вилку.

— Нет, не брал, — почему-то басом сказал он. — А много пропало?

Лина промолчала. И не придумала ничего лучше, как спрятать кошелек. Теперь он постоянно лежал в секретере, под ключом, и Лина часто забывала достать его перед тем, как выйти из дома, — всё это было очень неудобно.

— Вас в школу вызывают, — сказал ей Ваня спустя неделю после этой истории.

— Что случилось? — испугалась Лина.

— Математичка. Бесит вообще. Только ко мне придирается, орет.

Лина пошла в школу, представилась тетей. Математичка оказалась прелестнейшей — как из девятнадцатого века. Длинная юбка, волосы зачесаны кверху, бледные пальцы в мелу.

— Не знаю, что делать с вашим Иваном, — развела руками учительница. — У него сплошные двойки! На контрольных пишет только свою фамилию на листе, и ту — с ошибкой. Но ведь он не умственно отсталый. Нужно сидеть с ним дома — и упрямо решать задачи, одну за другой!

Вечером Лина позвала Ваню в кухню, где светлее. Раскрыла учебник. Мальчик послушно сторбился над тетрадью, от него пахло горьковатым потом. Так пахнут осенние цветы — бархатцы.

— Читай условия, — велела Лина.

— «Призвал царь к себе Ивана и велел помочь ему поделить свое царство:

“Вот тебе карта. На ней всё мое государство, как на ладони. Я на старости лет хочу пожить с Царь-девицей спокойно и потому оставляю себе только 54/90 от своего государства. А остальную часть надо разделить между моими четырьмя сыновьями, чтобы каждому осталась одинаковая по размеру часть. Ты уж их не обижай, Ванюша!”

Пошел Иван со своей бедой к Коню-Горбунку.

Что же посоветовал ему Конек?».

Лина обрадовалась, что задачка такая легкая, но Ваня смотрел в учебник несчастным взглядом.

— Видишь, — решила подбодрить, — задачка про тебя. Про Ивана...

— ...дурака, — уточнил мальчик.

Лина смутилась.

— Что мы с тобой примем за единицу?

— Не знаю.

— А ты подумай.

— Не хочу.

— Хорошо, я подскажу. За единицу мы примем всё государство.

Она объясняла решение, думая, что на самом деле, скорее, государство принимает свой народ за единицу. Точнее, за ноль.

Но вслух спросила:

— Ты понял? Сколько осталось всем детям?

— Тридцать шесть девяностых.

— И как узнать, сколько достанется каждому?

Ваня молчал. Глаза у него были не голубые, как у Валерия, а ярко-синие.

— На что нужно разделить тридцать шесть девяностых?

— Не знаю.

— Сколько сыновей у отца?

— Да не помню я, сколько сыновей у этого отца! Мне... на этого отца, и на его сыновей, и на коня этого горбатого! В гробу их всех видал, в белых тапках!

Лина заплакала. Занятие окончилось.

А утром, за завтраком, Ваня сказал вполголоса:

— Девять девяностых.

Лина не сразу поняла, о чем он. Но потом просяла — правильно!

— Только надо еще дробь сократить, чтобы ответ был точным. Девять девяностых — это у нас сколько?

— Не знаю, — сказал Ваня. — Одна десятая?

Они занимались теперь каждый вечер, по крошечке отгрызая от каждой из наук. С другими предметами у Вани было не лучше, английский просто отсутствовал — мальчик даже алфавита не знал. Зато он начал разговаривать с Линой — рассказал, как мечтал увидеть мумию в Мавзолее, пока отец не обозвал его идиотом и не объяснил, что эта мумия не имеет никакого отношения к Египту. Рассказал, что умеет ловить мух на лету, — ему нравится, как мухи щекочут лапками ладонь. Рассказал, что деньги он воровал у Лины для того, чтобы отдать долг отцу — Валерий обещал выгнать из него всё потраченное в Москве на репетиторов. Что маму он любит, а отца ненавидит, и желает ему смерти, и представляет эту смерть в подробностях. Что младший брат очень болен, и поэтому родителям не хватает любви на обоих своих детей. Что бабушка раньше любила его, а теперь не хочет даже видеть — ведь он плохо учится и друзей у него нет. Их никогда, за всю его длинную жизнь, не было.

А Лина рассказывала ему, что она очень скучает по своему любимому мужу, который погиб так нелепо и глупо. Что она часто видит во сне умильную морду Льва — он так ловко выпрашивал куски за ужином! Что у нее никогда не будет детей, хотя она еще совсем не старая. Что некоторые вещи нельзя ни отпустить, ни пережить — и время лишь добавляет боли, ведь ты начинаешь забывать тех, кого любил больше всех на свете. Что она потеряла не только одну семью, но и другую, и не может вернуться в город, где живут ее мама и папа. И что научиться решать задачи с дробями — это очень-очень важно, пусть Ваня этого пока и не понимает.

В октябре вернулись из Москвы его родители — Валерий пришел с коробкой конфет и медленно опустил ее на стол.

— Это то немногое, что я могу для вас сделать, — сказал он с ненавистью. — Я вам благодарен.

Конфеты были самые нелюбимые — «Грильяж». В детстве Лина думала, что их делают из гвоздей.

Ваня собрался вмиг и ушел, не взглянув на Лину, — возможно, боялся увидеть, как она плачет. Или же он просто торопился — спешил домой, к родным людям и стенам.

Вечером Лина слышала из-за стены, как орет на сына соскучившийся отец:

— Расслабился, да?

Муся привычно подвизгивала, и снова что-то падало с грохотом.

Дни теперь тянулись медленно — были одинаковые и ровные, как вставные зубы.

Лина прошла мимо старух, сидевших на пустых ящиках. Сегодня здесь — редька и свекла, потом придет время капусты. Эту капусту будут продавать до самых холодов, после чего старухи скроются из виду до самой весны. Некоторые из них, вполне возможно, умрут, но большинство счастливо переживет морозы, посадит огород и гордо выйдет на угол у гастронома с первым пучком редиса, чтобы продать его втридорога.

И Лина не станет их осуждать... Вырастить что-то живое — пусть даже пучочек редиса! — стоит большого, очень большого труда.

Безумный Макс

1

Было начало девяностых, город только-только переименовали из Свердловска в Екатеринбург.

Максим Перов ехал в автобусе на Агафуровские дачи и думал о том, что старик-сосед, с которым они дружат собаками, не может сказать слово «Свердловск». Буква «д» проваливается, ударение съезжает, как с носа очки, — и получается город зубных техников или фрезеровщиков: «Сверловск». «Потому что у нас царя свергли», — утверждал сосед. Неизвестно еще, как он справится с «Екатеринбургом» — тоже не из легких. Пока выговоришь, полдня пройдет.

«Ека-тере, ека-тере», — тихо бубнил Перов. Он еще год назад мечтал стать артистом, учил скороговорки. Самая сложная — «Купи кипу пик». «Кипу

кип, кикю пик», — бормотал Максим. Кипа кип воображалась легче, нежели кипа пик.

За окнами темнел нечесаный уральский лес. На Агафуровские Перов ехал, к счастью для себя, по делу. Нынче здесь никто не помнит, с каким изяществом позировала фотографу красивая купчиха Асма Агафурова — в гамаке между сосен. Дачи знаменитых торговцев приютили областную психбольницу.

— Первый километр, — водитель-татарин объявлял остановки, словно бы иллюстрируя своим акцентом исторические воспоминания Перова. — Третий километр.

На восьмом «километре» вышли многие. Максим нарочно отстал от толпы, спрессованной в автобусе в единое нечто, как мокрый сахар в пакете. В кармане курточки (а в Свердловске все куртки — вне зависимости от размера и фасона — назывались почему-то «курточками») лежал оторванный угол газеты «На смену!», где мама записала имя-отчество психиатра.

Максим глянул на часы, и ему стало остро жаль потерянного дня. Он словно бы увидел, как этот день пронесется мимо — самый интересный из всех, возможно, лучший в жизни! А он, спасибо маме, проведет его с психиатром.

Кто-то хихикнул — звонко и кратко, будто подал сигнал. Макс остановился, повернул голову. С ветки решительно, как вертолет, поднялась сорока. На тропинке лежала разорванная обертка от бисквитного рулета, вокруг суетились воробьи.

На таких вот бисквитных рулетах с пропиткой разбогател товарищ Максима, Игорь Кравцев. Деньги к нему приносили домой в спортивных сум-

ках — Макс несколько раз присутствовал при этом таинстве. Когда в дом вносили сумки, все тут же бросали свои дела и принимались считать деньги. Купюры мельче пятидесяти рублей Кравцев приказывал откидывать в сторону, их прямо в воздухе ловили дети и бабушка. Как собачки в цирке! Бабушка делала вид, что целует смятые бумажки: «Муа, муа, муа!»

Кравцев с женой Маринкой ужинали только в «Зимнем саду». Заказывали котлеты по-киевски — обязательно с папильоткой. Держишься за папильотку, кусаешь, и масляные брызги — широкой распальцовкой... Жульен грибной, солянка — в ней, как буйки, плавают маслины. Максим однажды опозорился, спросил у официанта, почему виноград в супе — да еще кислый?

Нам, из будущего, известно, что Кравцев с женой так и проел впоследствии всё свое богатство, все эти деньги в сумках. Сейчас Игорь горько усмехается в кондитерских отделах, берет один пряник «березка» и триста граммов овсяного печенья — твердого, как вера молодого человека в свои силы. Никто не помнит бисквитных рулетов с пропиткой, которыми питался в девяносто первом целый город. Никому не интересно, как шуршит накрепко застрявшая в памяти бумажная папильотка.

У входа в приемник Максим столкнулся с пожилой дамой — она несла букет осенних цветов, походивших на скрученную колючую проволоку «егоза». «Егоза» напомнила Перову о неприятном, он ускорился и почти что влетел в кабинет.

Психиатра звали Олег Игоревич, был он гранитно-сед, а лицо имел молодое, разглаженное. И симпатичный полукруглый шрам на левой ще-

ке — словно глубокий след от стакана. На полках в кабинете — книги, все про половые извращения, и Лев Толстой акцентами. Олег Игоревич смотрел на Макса так, словно уже поставил ему диагноз, но еще не оформил его словесно.

— Смотрю, не нравятся тебе мои книги.

— Отчего же? — дерзко ответил Максим. — Выбор литературы — личное дело каждого.

— Расслабься, — махнул рукой психиатр. — Это материал к диссертации.

Он взял со стола желтый карандаш и начал жевать его с той стороны, где ластик:

— Люба сказала, ты работу ищешь.

Макс кивнул. На самом деле работу ему искала мама. Если бы спросили самого Макса — он ответил бы, что не хочет работать. Он хочет совершать чудовищные ошибки, о которых будет жалеть потом всю свою жизнь до глубочайшей пенсии. Но мама поставила условие: она отмажет его от армии только в том случае, если он бросит пинать балду и возьмется за ум. И то и другое Максиму следовало совершить одновременно. Об этом-то и напомнил пышный букет «егозы».

— У меня есть деньги, — сказал Олег Игоревич без особой гордости, но и без стыда. — И я хочу начать какой-нибудь приятный бизнес. Например, туристический.

Максим вернул на место справочник по половой психопатии. На тот момент лично он не посетил еще ни одного зарубежного государства, а вот Кравцев, благодаря своим рулетам, успел побывать в Арабских Эмиратах.

— Ты не думай, что будешь по заграницам рассекать, — Олег Игоревич читал лицо Макса, как

букварь. — Для этого я сам у себя уже есть. И секретарь у меня есть, Ольга. Печатает десятью пальцами. У меня даже директор фирмы есть и водитель с личным транспортом. А нужен мне рабочий конь, — про коня Олег Игоревич сказал с таким мечтательным выражением на лице, словно этот конь только что проскакал мимо, и грива его красиво развевалась на ветру.

Олег Игоревич не хотел бросать психиатрию. Бизнес должен был стать его внебрачным ребенком, на которого, тем не менее, отец возлагал серьезные надежды.

Договорились, что конь выйдет на работу через три дня.

— Мне нравится твое простое среднерусское лицо, — сказал Олег Игоревич на прощание. — Привет маме!

За границу Макс Перов и вправду попал не скоро. И про коня психиатр не шутил — в этом Макс убедился сразу же, как прибыл к месту службы.

Фирму назвали, на взгляд Перова, странно — «Эркер». Расшифровку он узнал потом — а это была именно что расшифровка. «Эра Кердакова». Михаил Кердаков, он же Кердак и Мишган, — страшный человек родом то ли из Егоршино, то ли из Шали. Ходил повсюду с тэтэшкой и с чемоданчиком, полным денег. Называл этот чемоданчик ласково — «кошелек». Одна из любимых скороговорок Макса Перова звучала так: «На Урале три дыры — Шаля, Гари, Таборы». Но упаси, Господь сказануть такое при Кердаке! Впрочем, «Эркер» не часто удостаивали высочайшими визитами. Мишгану было достаточно полного обслуживания, славы и, само собой, оплаты за крышевание. В распоряжении «Эр-

кера» имелись две комнаты с фанерными столами и бумажными, судя по слышимости, стенами, зато крыша у него была — на зависть всем!

Максим приходил в контору первым, поднимался по лестнице, глядя под ноги — белые мраморные осколки в железобетоне были похожи на кусочки жира в колбасе. В те годы он всегда хотел есть и бормотал, чтобы отвлечься от голодухи, бесконечные скороговорки — все они были теперь на одну тему:

— Цокнул сзади конь копытцем, под копытцем пыль клубится!

— Лошадь с седоком, да без седла и узды, без подпруги и удил!

Лифт не работал — и пока Макс добирался до девятого этажа, где свил гнездо «Эркер», он уже почти вслух кричал:

— Во поле-поле затопали кони, от топота копыт пыль по полю летит! Пыль по полю летит!

— Чего так разоряться? — удивлялась Наташа, секретарь из соседнего офиса, где торговали паленой водкой. Наташа тоже приходила на работу затемно. Через минуту после того, как конь заступал в борозду, она стучала в стенку — и Максим послушно шел в соседнюю комнату, где жарко пахло плойкой и дезодорантом «Юлия». Эта «Юлия» выпала однажды у бедной Наташки из сумки и прокатилась через комнату, полную народу — как граната в американском фильме.

Часам к десяти Максим возвращался к себе. Секретарь Ольга, которая умела печатать десятью пальцами, обычно являлась к одиннадцати, а в два уже уходила «на обед», поэтому конь выполнял и ее обязанности тоже. Пусть и двумя пальцами. Печа-

тал он — будто пара ленивых куриц клевала корм. Или еще была такая старинная русская игрушка — Мужик и Медведь.

Директор — родной дядя Олега Игоревича — в миру был ведущим закройщиком в ателье на Лунке и заглядывал в офис раза три в месяц. Ему было нестерпимо скучно выслушивать отчеты Макса, оживлялся он, лишь когда в конторе появлялась Ольга.

— Оленька, я бы пошил вам жакет, — мурявкал директор. — Секрет посадки дамского жакета — умение найти центры!

Ольга улыбалась так, будто сдвигала с места каменную глыбу, но закройщик этого не замечал. Он уже явно нашел центры на Ольгиной груди, и плевать ему было, скольких людей успела отправить в Санкт-Петербург в этом месяце турфирма «Эркер».

Ну, а самым главным человеком в «Эркере», безусловно, был водитель Константин Петрович, брат тестя Олега Игоревича. Всю свою жизнь, до прихода дурных времен, Петрович возил генерала и научился у него тому, что мы в ближайшем будущем стали называть «самопрезентациями», «умением себя подать» и «мощной харизмой». Максима он откровенно презирал, как, собственно, и всякого человека, не заработавшего геморроя на шоферской службе. Хотя нет, Макса Петрович не любил как-то по-особенному. Поэтому Макс ездил по городу в троллейбусе.

Начиная бизнес, Олег Игоревич имел в виду заграничные путешествия — но, увы, потуги «Эркера» и других турфирм сдерживал государственный закон об ограничении на покупку валюты. Двести

долларов на человека в год, и ни центом больше. Тогда психиатр придумал работать с приезжими гостями — и начал возить поляков в Корею и корейцев в Польшу транзитом через Москву и Санкт-Петербург. Организовывал путешествия рабочий конь Максим Перов. У него обнаружилась эйдетическая память, благодаря которой он держал в голове расписания всех авиарейсов. А еще Макс умел заводить знакомства в железнодорожных кассах, обаятельно говорил по телефону и с первой попытки отправлял факсы.

Мама свое обещание выполнила — армия пома-ячила, да и прошла стороной, как страшный сон. Приезжая на Агафуры, к Олегу Игоревичу, Перов часто встречал здесь своих ровесников — они гуляли в вольерах за сеткой-рабицей, «косили» от армии. Один из них, известный в нашем общем будущем артист Василий Ж., утверждал, что два месяца психушки уверенно засчитываются как два года армии.

— Как понять, сумасшедший человек или симулирует? — осмелев, спросил однажды у хозяина Максим Перов. Они прогуливались по тропинкам, усыпанным хвойными шпильками, и Олег Игоревич благосклонно кивал пижамным людям, то и дело попадавшим навстречу. Полукруглый шрам на его щеке выглядел сегодня благородно, как след от сабли. Очень маленькой и очень кривой сабли.

— Сумасшедшие не догадываются о том, что они сумасшедшие.

— То есть, — решил уточнить Макс, — если я считаю себя безумным, я нормальный?

— Безумный Макс! — обрадовался Олег Игоревич. — Как я люблю этот фильм!

Обратить разговор к истокам Перову в тот день не удалось. Олег Игоревич был титаном словесного реслинга.

2

— Свинья белорыла, тупорыла, весь дом перерыла, — Максим давно заметил, что бессознательно повторяет скороговорки, подходящие к нужному случаю. А его застенная любовница Наташка начинала тихонько напевать романс «Я ехала домой» ровно за полчаса до 18:00. И пение ее становилось всё громче с каждой минутой.

Клиентка, с которой так долго возился сегодня Макс, и впрямь напоминала свинью. Полная, курносая, в розовой мохеровой кофте. Вначале собиралась в Душанбе за одеждой, потом передумала — пусть лучше Кишинев. Конь терпеливо рыл землю, валялся на непочатом краю работы и вообще делал всё, что мог, умел и был должен. В Москве ждали его звонка по поводу группы корейских товарищей, которые должны были прилететь в гостиницу «Космос». Важным пунктом отдыха у корейцев считались творческие встречи с русскими женщинами, всё это нужно было организовать, подтвердить и так далее. Но белорылая свинья не давала коню перевести дух.

— Ну я прямо не знаю, Максимушка, ну что вы мне посоветуете? Где лучше, в Кишиневе или в Душанбе?

Макс не бывал ни там, ни там, но рассказывал о незабываемых впечатлениях в убедительных подробностях.

— Веселей, Савелий, сено пошевеливай, — радостно закричал он, когда свинья ушла наконец в кассу *проплачивать Душанбе*. Касса была в конце коридора, общая на три фирмы — с окошечком и решеткой, за которой сидела бедная горбатая девушка.

Но не успел он сделать даже шаг в сторону факсового аппарата, как его опять отвлекли. Звонила Ольга, объясняла, что больна и не выйдет. Все ее десять пальцев тоже оставались дома, и Максим пригорюнился. Петрович с утра торчал в соседней комнате, читал книгу о Сталине. Макса поражало, сколько книг успели написать про Сталина в последние годы. Они всё никак не заканчивались.

Когда дверь в комнату открылась, Максим был уверен, что это вернулась Свинья с квитанцией. Но нет, на пороге стоял незнакомец. Длинный плащ — летящий, с квадратными крыльями на спине, под ним — мятный пиджак в тонкую клетку и шелковый галстук с цветовыми сложностями. Макс мечтал о таком, видел что-то похожее в «комке» на Ленина, но цена на это что-то даже не была указана, как на ювелирное изделие. Продащица не ответила Макс, когда он поинтересовался: «Сколько?», лишь обожгла его взглядом и усмехнулась. Наверное, с незнакомцем она не посмела бы так — тут же выдала бы и галстук, и самое себя.

Он был некрасив, решил Максим. Мал ростом, плюгав. Ботинки — на каблуках, прикрытых брючинами. К тому же картавил:

— Ну здьявствуйте, молодой человек!

За гостем в дверь попыталась пролезть Свинья. Картавый молча принял у нее бумажку и сказал:

— Подождите, гьяжданочка, за двейю.

Макс уже немного знал характер клиентки и был уверен, что сейчас она хрюкнет и начнет ближний бой. Но, странное дело, белорылая покорно кивнула и закрыла за собой дверь в кабинет — так бережно, словно за нею спал младенец с кишечными коликами.

— Алексей Иванович Сигов, — представился гость, и Макс поразился тому, как промыслительно назвали его родители. Ни шанса скартавить!

— А вас звать... — гость защелкал пальцами не хуже испанской танцовщицы, и Петрович за стеной перестал шелестеть Сталиным.

— Максим.

— Отличное имя! Мне пьё вас йяссказывал Олег из психушки.

Петрович за стеной возмущенно кашлянул.

— Вы не один? Нехоёшо. Надо убьять постоённих.

Макс испугался — в каком это смысле убрать? Он судорожно пытался вспомнить, куда Ольга засунула номер телефона Мишгана Кердакова — звонить ему было велено в случае любой непредвиденной ситуации. Хотя... вдруг Сигова и вправду прислал Олег Игоревич? Слово «прислал», если честно, к Сигову верстается плохо, подумал Макс. А на сцене тем временем появился Петрович — злой и багряный, как закат над ВИЗовским прудом.

— Здьявствуйте, вы кто?

— Ты сам кто такой? — возмутился Петрович.

— Водитель, — догадался странный гость. — А водитель должен водить! На-ка денежку и сгоняй побыстьёму до лайка. Возьми йюлет, колбаску, шампанского.

Петрович открыл было рот, но тут же его захлопнул. Макс глазам не верил — дерзкий водила вдруг превратился в угодливейшего халдея с откляченным задом. Побежал вниз со всех ног, ключи от машины звенели, как ордена на груди ветерана.

— А мы тут пока поговорим, да?

Алексей Иванович Сигов оказался давним знакомцем Олега Игоревича, более того, именно ему психиатр был обязан появлением знаменитого шрама на щеке. Темная история с карточным проигрышем, и, видимо, долг свой психиатр отдал не полностью.

— Ты, Максим, поедешь чейез неделю в Швейцарию. Не был там, никогда? Что ты! Такая стьяна! Жаль, что я не могу там показываться, въеменно. Да, въеменно. Но ты пьивезешь мне оттуда денежки. Я скажу, где забьять. И, конечно, ты получишь суточные. Подхайчишься там. Погуляешь. Швейцайки кьясивые!

На лице Сигова застыло приятное, близкое его сердцу воспоминание.

Петрович вернулся и теперь поспешно раскладывал на столе богатое ларечное угощение — рулет имени Кравцева, колбасу с белыми жиринками, по собственной инициативе купленные батончики «Марс». Шампанское водитель поставил на стол так торжественно, как будто сам приобрел его для мамы, с первой полочки.

— Ну что, Максим, пьиятного аппетита! — Сигов потер ручки, они у него были неприятно маленькие, а на запястье, рядом с часами, нарисован чернильный крестик, похожий на распятие. И вышел вон.

На столе осталась лежать его визитка – черная, с золотыми вензелями, она была как эскиз для могильной плиты.

Петрович растерянно повернулся к двери, будто ребенок, которого мама впервые оставила в детском саду (несмотря на дары с полочки). Но вместо странного гостя на пороге выросла Белорылая Свинья, готовая обсуждать свою поездку далее. Она улыбалась, во рту у нее счастливо посверкивал золотой зуб.

– Шампанского? – спросил Максим.

Кем он был, загадочный Сигов? Нам, из будущего, известен ответ на другой вопрос – кем ему удалось стать впоследствии. Профессиональный игрок чудом, не иначе, сумел развязаться с опасным миром. Взял себе по случаю пару заводиков, типографию, банк. Сходил во власть, но неудачно, вынужден был трижды жениться, прежде чем нашел правильный вариант. Вариант родил дочку и сына, Сигов превратился в трепетного отца. Галстуков не носит ни при каких обстоятельствах! Видимо, в памяти жив старинный эпизод с попыткой нападения и удушения – но об этом мы обещали ни слова.

На Максима таинственный гость произвел впечатление такой силы, что он долгое время сам себя спрашивал – почему? Да, от Сигова пахло, прямо-таки разило деньгами, но деньгами в ту пору пахло в Екатеринбурге повсюду. Вспомнить того же короля рулетов, или Мишгана Кердакова, который питал слабость к широким кожаным плащам в пол и к туалетной воде «Отто Керн». Нет, дело здесь было в чем-то ином. Алексей Иванович Сигов стал для Макса живым, пусть и картавым воплощени-

ем судьбы, которая постучалась в его дверь, — как в Пятой симфонии.

Даже тогдашняя любовница Сигова, с которой Максусу довелось встретиться в процессе подготовки швейцарской поездки, была особенной. Ядовитая ягода, смотреть смотри — а пробовать ни-ни. С Максом ягода кокетничала безжалостно — бретельки падали, ресницы трепетали. А отъезд в город Цюрих приближался, визу открыли на диво быстро. Секретарь Ольга завидовала Максусу отчаянно, всеми своими десятью пальцами барабанила по столу, возмущаясь странным выбором начальства. Ясно, что она куда лучше справилась бы с порученным делом.

— Так сидела бы на работе! — ворчала за стеной Наташка. Она долго боролась с собой, но потом всё же попросила Максима привезти ей из Швейцарии туфли — черные лодочки на каблуке, 37-й размер. Обвела ступню по контуру на листе бумаги одиннадцатого формата, а с другой стороны приклеила вырезанную из немецкого каталога картинку.

Деньги на расходы Сигов выдал широко, не пожадничал.

— Шли сорок мышей, несли сорок грошей, — эта скороговорка привязалась к Максусу накануне отъезда. — Две мыши поплосше несли два гроша.

Олег Игоревич посоветовал пришить карман к трусам и вести себя на границе уверенно. Карман пришила мама, Наташку Макс такой просьбой обременять постеснялся.

— Удачи, сынок! — мама провожала московский поезд и махала в окно так яростно, будто он уезжал на войну.

На соседей по купе — средних лет пару с высокой и хмурой дочкой — Максим Перов смотрел с чувством искреннего превосходства. Они ехали всего лишь до Москвы, а Макса ждала Швейцария.

Сутки в поезде он проспал маревым, пунктирным сном. Приходя в себя, первым делом ощупывал валютный карман, а потом спускался с верхней полки, как туман с горы. Хмурая девочка выразительно вздыхала над книжкой, ее длинная тонкая косица лежала между страниц, как закладка. Максим курил в тамбуре, меняя одну вонь во рту на другую, а потом снова поднимался к своему сонному гнезду. Мама девочки всю дорогу вязала крючком что-то неприятно-розовое, папа сопел над кроссвордом. Ночью, когда весь поезд спал, Макс в очередной раз проснулся для краткого перекура — и увидел, как мама девочки стоит перед зеркалом на двери, голая по пояс, и внимательно разглядывает себя, приподнимая груди ладонями. Груды были вполне красивыми, и это выглядело странно — потому что и лицо, и шея, и живот, и даже руки, лодками держащие круглую белую плоть, им уже не соответствовали. Честно сказать, красивая грудь была здесь не к месту — как и вся эта сцена. Мама девочки убрала наконец руки и повернулась к Максиму. Он успел крепко закрыть глаза.

Проспал бы, наверное, и Москву, но его разбудила проводница.

— В пруду у Поликарпа три карася, три карпа, — пыхтел Максим, еле успевая за новыми знакомыми — Миша и Паша, бывшие хоккеисты, а нынче известно кто, уговорили взять одну тачку на троих.

Макс и без Мишипаши знал, что на пути в международный аэропорт «Шереметьево-2» многих безжалостно грабят на полпути, а некоторых даже убивают. Потом костей не сыщешь, а маму жалко. Миша и Паша неслись на захват такси так яростно, что их без труда можно было представить себе на льду, с клюшками. Таксист, в общем, сам испугался этих пассажиров и за всю дорогу от вокзала до «Шереметьева» не произнес ни слова. Паузу заполняли яростные голоса из магнитолы: «Фáйна, Фáйна, Фáйна-Фаина́ фай-на-на».

— Да выруби ты их, — взмолился наконец Пашамиша, когда машина уже подруливала к «Шереметьеву». Над зданием аэропорта висела грозовая туча — словно громадная меховая шапка из тех, что вошли в моду минувшей зимой.

Как ни странно, рейс не задержали. Самолет Ту-154 Б-2 был полупуст и почти не тарахтел в полете. Макс вытянулся на трех сиденьях, и сердобольная пожилая стюардесса заботливо прикрыла его упавшей курточкой. Снилось короткая и звучная, как расстрельный приказ, скороговорка: «Гроза грозна, грозна гроза».

Гроза мчалась какое-то время за самолетом, но потом отстала и, поплеывая, развернулась в сторону Урала. Максим всё спал и спал, будто мало ему было целых суток в поезде — и во сне натягивал на себя курточку. От нее пахло домом и мамой.

Швейцарский пограничник с желтыми, как сыр, волосами так внимательно изучал его паспорт, что Максим занервничал.

— Урляуб? — спросил пограничник.

Перов пожал плечами. Он не знал немецкого, да и по-английски мог выдать из себя максимум

какое-нибудь «опен зе до». А кивать страшно — что за урляуб, бог весть. К счастью, пограниец вытащил из стопки документов, которые Перов просунул в окошечко, листок с бронью отеля в Цюрихе.

— Урляуб, — кивнул он и поставил отметку о въезде.

Какое-то время Перов не мог заставить себя выйти из аэропорта — собирал бесплатные рекламки на стендах, гулял по магазинчикам, с трудом удержавшись от того, чтобы не купить прямо здесь шоколадную корову для мамы и часики для Наташки. Валюта вначале приятно грела кожу, но потом начала, по выражению Петровича, «жечь ляжку». Когда Макс вышел на улицу, там уже было темно. У выхода стояла длинная очередь такси. Перов сел в первую машину и сунул водителю листочек с названием отеля. Назывался отель по-южному просто — «Адлер».

Это был самый центр Цюриха (местные говорили «Зюрик»), из окна, если изогнуться вправо, можно было увидеть Лиммат. Перов с огромным трудом поселился, напугав своей безъязыкостью девушку-администратора. Вспомнилась Ольга — у нее, в дополнение к десяти пальцам, был еще и свободный английский, с «йоркширским», как она настаивала, произношением. Наверное, если бы Сигов знал об этом, он действительно отправил бы за деньгами Ольгу.

Макс дивился всему: старинное здание, картины на лестнице — коровы и лошади в богатых рамках, неслыханно новый телевизор в номере, крохотное мыльце, которое он, разумеется, сразу же положил в чемодан. Если бы Максим знал, что это здание отлично помнит Ленина, то удивился бы еще боль-

ше. К Ленину Макс сохранил смешную детскую любовь — он не мог предать золотого кудрявого мальчика с октябрятской звездочки. Он в самом деле был верным, словно конь.

В ванной нашелся еще один кусочек мыла. Максим спрятал и этот — один Наташке, другой маме. Трусы с валютным карманом на всякий случай взял с собой, повесил на дверную ручку и только потом влез под душ.

Человечек от Сигова согласно инструкции свяжется с ним завтра. Максим надел чистую, всё еще не согревшуюся после багажного отсека рубашку, брызнул ниже пояса туалетной водой «Самарканд» — так, на всякий случай.

Шнуруя ботинки, Перов всегда гримасничал, как отец, когда стягивал с себя высокие охотничьи бахилы. Максим удивительно четко помнил отца, хотя тот ушел от них десять лет назад и за это время прислал сыну лишь несколько открыток — и ни единой своей фотографии. Макс щурился, сам зная, как смешно выглядит его лицо в такую минуту.

И, словно бы отозвавшись на эту мысль, выхватив ее из воздуха, за стеной кто-то рассмеялся.

Максим прислушался.

Стена молчала.

Он взялся шнуровать второй ботинок.

И тогда кто-то рассмеялся снова.

Это был не страшный хохот водевильного злодея. Не дикое ржание подпившего Петровича. Не веселый колокольчик Наташкиного хихиканья. И не усталый смех мамы.

Это был искренний смех молодого мужчины, который услышал удачный анекдот. Короткий «по-

хохот». Пожалуй, так мог бы смеяться Алексей Иванович Сигов, но Макс никогда не слышал его смеха. Максимум, что мог позволить себе Сигов, когда все остальные заходились от смеха, — это резко растянуть губы в улыбке. Так улыбался бы сжатый со всех сил ручной эспандер.

Максим взял со столика стакан, приставил его к стене и приложился ухом, как внимательный, обеспокоенный лекарь к больной спине. Так его научили делать в пионерском лагере «Юный пожарный».

Спина молчала.

— Корабли лавировали, лавировали, да не вылачивали, — довольно громко и уверенно продекламировал Максим. — Не веровали в вероятность вылачивать! Вот маловеры: веровали бы — вылачивали бы.

Стена молчала.

Не произвели на нее впечатления ни дикция, ни артистизм.

Макс вернул стакан на бумажную кружавчатую салфеточку — кстати, тоже надо будет забрать домой. И вышел из номера.

На двери его комнаты был написан краской номер 14. Соседний должен был нумероваться пятнадцатым, но нет, эту дверь никто не посчитал. Цифру 15 Макс увидел в самом конце коридора — зрение у него было как у охотника. Родной двадцать шестой трамвай Перов выглядывал в Екатеринбурге первым на всей остановке. А там тоже собирались люди опытные, прозорливые.

Максим прижался ухом к неподсчитанной двери, но там было тихо. Под ногами нервно скрипнул старинный паркет.

«Чего с ума сходить?» – с Наташкиной вопрошительной интонацией сказал себе Макс и зашагал к лестнице. Девушка-администратор молча помахала ему рукой.

3

Маленькую площадь окутывал мягкий фонарный свет. Люди, несмотря на осень – а был сентябрь, сырно-желтый, – сидели на стульчиках прямо на улице, вокруг бегали официанты в смешных женских фартуках. Макс был, как всегда, голоден, поэтому засмотрелся на пару, которая вылавливала при помощи тонких палочек какую-то снедь из дымящегося горшка. Мужчина – в длинном шарфе, женщина – в кружевных перчатках. Выглядели они как привидения, но жевали как вполне реальные люди. Макса накрыл аромат расплавленного сыра, но он никогда не позволил бы себе тратить валюту на еду. Тем более что в номере его ждала полукопченая и кипятильник. Мужественный человек Максим Перов сглотнул слюну и пошел по направлению к Лиммату. Над аккуратными домиками то здесь, то там торчали колокольни – как сигареты, вытянутые из новой пачки. Памятник у реки еле удерживал коня, вставшего на дыбы.

Макс кричать был готов от голода. Повернуть назад, к полукопченой и кипятильнику, или всё же погулять по вечернему Зюрику? Почему не хватило ума поужинать перед выходом? Почему ума вообще никогда не хватает – точнее, зачем он так быстро заканчивается, особенно к вечеру?

В задумчивости Максим шел по мосту через реку. Швейцарский флаг — медицинский с виду — реял на носу позднего кораблика. С воды тянуло холодом.

Холод и голод сразу — перебор, как в картах.

Даже не ступив на другой берег, Максим развернулся и поскакал обратно, в гостиницу.

Официант в женском фартуке уносил со столика привидений остывший горшок. Смятая кружевная перчатка лежала на мостовой, как бумажная салфетка.

Максим кивнул девушке-администратору и вмиг взлетел на свой этаж.

Там было темно и тихо.

Сразу включил телевизор, как это было принято у них дома. Весь экран занимала загорелая блондинка в отважном декольте — она слегка походила на любовницу Сигова, но говорила, к сожалению, на немецком.

— Йа, йа, — повторяла блондинка, а Макс тем временем резал колбасу, облизывая пальцы. Мелкие пузырьки облепили кипятильник, как будто кто-то икру метнул, пришло в голову Максу, и блондинка в тот самый момент отчаянно и хрипло захохотала.

Возможно, это была юмористическая передача.

Макс заварил чай и выключил телевизор.

За окном шумела старая липа — просветы в осенней кроне, подсвеченной фонарем, были похожи на дырки в сыре. Гость Зюрика съел почти всю колбасу, выпил две кружки крепкого чая с конфетой «Гулливер» — ее, как маленькому, сунула в сумку мама, когда они прощались на вокзале. Максим задумчиво разглядел фантик. На нем была изобра-

жена огромная, как у Пушкина, голова без всякого продолжения; в ноздрю Гулливеру совал копые лилипут с восточным плюмажем на шапке.

За стеной кто-то негромко рассмеялся.

Точно так же, как час назад.

«А ведь нет», — похолодел Макс. Смех был теперь с полустоном в финале. Как будто у хохотуна кончился завод.

И тогда Максим Перов разозлился.

Да, у них в «Эркере» тоже были тонкие стены, но там никто не ржал, как дурак, и не пугал смехом соседей.

— Ха! — дерзко сказал Максим. — Ха-ха-ха!

За стеной замолчали.

Максим провез по полу стул, чтобы раздался мерзкий скрип. Стул не подвел, но в ответ не поступило ни звука.

Сгреб со стола колбасные шкурки и газетный лист «На смену!» в жирных пятнах. Стало вдрут очень одиноко.

Вот была бы здесь Наташка. Или хотя бы Ольга. Она бы поговорила с той девушкой-администратором, объяснила бы с йоркширским акцентом, что нельзя так ржать среди ночи.

Кстати, ночь уже. В Свер... то есть в Екатеринбурге — полночь.

«Была бы здесь хотя бы мама», — подумал Максим Перов, безуспешно взбивая узкую и длинную, как червяк, подушку.

Он свернул ее пополам и засунул голову внутрь.

Застенный житель, кажется, утомился, и Максим Перов уснул.

Ему снился зимний день на улице Мамина-Сибиряка. Они с Игорем Кравцевым идут в ЦГ —

Центральный Гастроном — и захлеб обсуждают какие-то пластинки.

— А я же сейчас в Швейцарии! — хлопнул себя по лбу Максим, не покидая сна. На голове у него была огромная енотовая шапка. — Я тебе, Игореха, привезу, что захочешь!

Потом Кравцев исчез, и перед Максимом выросла телефонная будка, красно-желтая сестра свердловских трамваев, и все стекла у нее были сплошь покрыты морозными перьями и папоротниками. Автор сценария сна, который снился Максиму в отеле «Адлер», настаивал на том, что герой должен открыть будку и войти — но дверь примерзла, и Максим дергал за нее тщетно. У него замерзли ноги, а голове было жарко, будто капали на маковку горячей водой. В конце концов дверь подалась — и там на полу лежала смятая газета в жирных пятнах, явно скрывавшая нечто неприглядное. А телефонная трубка на длинном шнуре висела головой вниз. Максим во сне начал искать в кармане «двушку», но потом услышал, что из трубки несется чей-то голос, и поэтому прижал ее к своей раскаленной голове, к горящему уху.

В трубке смеялся человек. В его смехе не было ничего от ликования торжествующего злодея, нежной радости маленькой девочки или угодливого хмыканья подхалима. Это был всё тот же «похохот» молодого человека, с довольно-таки мерзким подстаныванием в финале.

Максим вылез из-под мокрой от пота подушки. Смех за стеной звучал теперь непрерывно, как будто в записи — его прокручивали снова и снова.

Перов со всей силы саданул кулаком в стену — и тут же охнул от боли.

Ответом стал новый приступ смеха.

Макс натянул брюки, прихватил трусы с валютным карманом и выскочил из номера. Со всей силы начал барабанить в соседнюю дверь.

Ему никто не ответил.

— Открывай, — кричал Максим. — Опен зе до, сука!

— Эншульдигун, — из-за двери пятнадцатого номера выглядывала дамочка, та самая, что ела с мужиком в шарфе из одного горшка, а потом потеряла перчатку. — Вас ист лос?

— Я спать не могу, — сказал Максим. — Он ржет там и ржет. Как лошадь.

— Ихь ферштее зи нихьт, — сказала дамочка. Она была в кружевном, как из морозных перьев и папоротников, халатике.

— И я вас нихт, — кивнул Макс. Он словно увидел себя со стороны — голый по пояс, в руке — трусы, полные денег. Молотит в дверь, за которой, судя по всему, никто не живет.

Но кто смеется-то? Кто не дает коню спать?

Дамочка пожала плечами и закрыла дверь.

Максим пошел к себе. Прислушался — вроде бы тихо. Он свернул из газетной бумаги что-то вроде «турундочек», как говорила мама, вставил в уши и снова лег. Подушка была всё еще влажной. Максим перевернул ее на другую сторону и начал думать про Наташку.

Проснулся он утром, в комнате было светло и жарко, как летом.

Посмотрел на часы — восемь. Вчера администраторша что-то объясняла ему про завтрак — слово «брэкфаст» Макс не без труда, но всё же опознал.

За стеной — тихо, как в гробу. Гость Зюрика не отказал себе в удовольствии подойти к ней лицом, если можно так сказать, к лицу и гаркнуть что есть мочи:

— Дрыхнешь, гаденыш?

Так в кошмарах Перова орали на новобранцев украинские прапорщики.

Стена не ответила.

— Ха-ха-ха, — мрачно сказал Максим.

Картинка над кроватью — портрет очередной коровы — закачалась, будто бы от смеха.

4

Еду подавали в нижнем этаже, на столиках были церемонно расставлены чашки с блюдцами, разложены вилки с ножами и полотняные салфетки, свернутые, как птичий хвост. Булок и хлеба — сколько угодно, и маленькие баночки с джемом, и тоненькие пластинки сыра, и яблоки в плетеной вазе. Два чайника и кофейник, кувшин с апельсиновым соком... Макс набрал себе полную тарелку снеди и уселся под мужским портретом — художник с палитрой в руках с ужасом смотрел в тарелку Максима, где лежал добрый десяток булочек. Хорошо, что у Макса была с собой сумка — точнее, пластиковый пакет, в который вошел еще десяток. И сыр в фольге, и яблоки, и джем. Так он легко продержится до следующего завтрака, а вечером уже — обратный рейс и кормежка в самолете.

— В нашей покупке — крупы и крупки, — бормотал Максим, наливая себе кофе в огромную чашку без ручки. Эти чашки стояли рядом с двумя сте-

клянными конусами, заполненными ярко-желтыми хлопьями, похожими на кукурузные палочки.

Максим Перов был очень хорошо воспитанным юношей. Нельзя откусывать от булки, греметь приборами и хлюпать соком. Этикетности, которыми мама обогащала его детство, вдруг всплыли в памяти — как желтые хлопья в плошке с молоком на столе у соседки. Макс не сразу признал в ней вчерашнюю кружавчатую дамочку.

— Морген, — холодно выплюнула она.

Максим пробормотал что-то в ответ и сосредоточился на еде — как на интересной книге, которую хочется дочитать до конца. Особенно расслаживаться было некогда, человек от Сигова зайдет ровно в десять. При слове «человек» Макс представлялась фигурка из детского конструктора, о котором он безрезультатно мечтал с третьего по пятый класс.

Коридоры в гостинице были устланы мягкими ковровыми дорожками, ворующими звук шагов. Макс шел, помахивая пакетом с булочками.

Под дверью соседнего номера лежал белый длинный конверт. Наполовину — в коридоре, наполовину — в комнате смеха.

Комната смеха молчала, как приличная.

Мы, из будущего, можем подтвердить — ни до, ни после описываемых событий у Максима Перова не было желания влезть в чужие дела или присвоить чьи-то тайны. Первый и последний раз случился в тот самый день. Макс наклонился и потянул конверт к себе. В этот самый момент дверь номера напротив открылась и Максим увидел давешнего господина при полном параде — в костюме, очках и длинном шарфе.

— Морген, — сказал господин в шарфе. — Максим Перофф?

— Да.

Господин указывал пальцем на конверт и ободрающе ухмылялся.

Макс перевернул конверт и увидел на нем свое имя.

— Это же не моя комната! — крикнул он господину, но тот уже закрыл дверь.

Максим разорвал конверт поверху — так всегда делала Наташка, вскрывая почту. Внутри лежал листок бумаги с адресом, а вместо подписи был нарисован маленький кривой человечек.

Сегодня вахту администратора нес пожилой мужчина в монокле и с усами — словно сбежал с цирковой афиши. Макс положил перед ним листок с адресом, и циркач быстро начертил на карте города угловатую чернильную линию — не слишком, впрочем, длинную и запутанную. Карты Перов обожал с детства — умел их читать, не переверачивая, чем восхищал девчонок в турпоходах. И эту цветную схему Зюрика, разделенную голубой лентой, где плавали, словно мелкие айсберги, белые буквы *L-i-m-m-a-t*, он видел как реальный город — с домами, углами и пешеходами. Цюрихское озеро, длинное и узкое на карте, было похоже на кривую улыбку.

Макс шел на встречу с человечком, думая о том, почему тот не стал ему звонить, а подsunул письмо под чужую дверь?

Церковь, куда привела чернильная дорога, была украшена не по-протестантски богато — на шпиле сидел флюгерный петушок, словно бы насаженный на шампур. Барельефный святой смотрел на Макса

с невыразимой, а точнее — именно что с хорошо выраженной тоской. По каменным мятым ступеням Перов поднялся к тоскующему святому и, раз такое дело, зашел в храм. Там было холодно и пусто. Ощетиненные трубы органа прицеливались, точно артиллерийские дула. Витражная розетка походила на стекло калейдоскопа. Всё на свете похоже на что-то еще на свете — Перов давно это понял.

Макс обошел церковь по часовой стрелке, посидел под прицелом органа, потом снова вышел на улицу. Святой тосковал. В ледяной воде фонтана плавали голубиные перья.

— Максим?

Девушка. Полноватая, словно бы выросла из своей одежды. Первое, что бросилось в глаза Макс, — четко обтянутое тесными брюками межножье, превратившееся в букву W. Под свитером — тоже буква, на сей раз русская Ф. Эту девушку можно было читать, как книгу!

Швейцарке, похоже, нравился пристальный взгляд Перова.

— Меня зовут Майя.

Она говорила почти без акцента, чуть-чуть — и можно поверить, что русская.

— Ну так я же славистка, — объяснила Майя. — Я училась в Москве, занималась таким поэтом, как Хлебников. Вы знаете Хлебникова?

Начала декламировать:

О, рассмейтесь, смехачи!

О, засмейтесь, смехачи!

Что смеются смехами,

что смеянутся смеяльно,

— Но у меня самолет...

— Я закажу вам другой билет.

— Хорошо, — согласился Макс.

— Я могу вам еще чем-то помочь? — спросила Майя, когда они выпили — Макс в полглотка, славистка — медленно, растягивая по капельке, — горький кофе, похожий с виду на жидкий гудрон. Чувствовалось, что Хлебников встал между ними навсегда — как непреодолимое препятствие. Максим решил убрать поэта с дороги и пальнул наугад:

— А чем вы еще занимались в университете? Кроме стихов?

Попал.

Майя улыбнулась — зубки у нее были красивые, белые и не напоминали ни о каких буквах.

— Ой, ну я еще писала одну интересную работу — прозопопея у Есенина.

Перов понимающе улыбнулся. К счастью, на этом самом месте Майя вышла в туалет, и, глядя на ее тюленьи формы, обтянутые брюками, Перов подобрал значение для слова «прозопопея». Попея у славистки была не прозаическая, а вполне себе впечатляющая.

Вернувшись, девушка бросила на стол пару монет, а потом хлопнула себя по лбу:

— Ах да!

И вынула из сумки объемный картонный пакет.

— Пересчитайте.

— Ну не здесь же!

— А где?

— Пойдемте ко мне в гостиницу.

Майя посмотрела на Перова в упор. Было в ее взгляде что-то опасное и в то же время жалкое.левой рукой она пыталась незаметно расстегнуть пу-

говицу на поясе брюк — чтобы не впивались в живот, по всей видимости.

Когда заговорила снова, голос у нее был охрипший.

Архип осип, Осип охрип, подумал Максим.

— Что ж... если вы настаиваете.

Сигов строго велел ему пересчитать все деньги, до последнего доллара.

Славистка положила пакет обратно в сумку и снова тряхнула волосами — будто опустила занавес.

По дороге в гостиницу она беспощадно болтала — и напомнила Максу турбовинтовой Ил-62, который, по рассказам туристов, беспощадно тарактел, пока летел до Кипра шесть с половиной часов с посадкой в Астрахани. От коротенькой прогулки с Майей конь устал больше, чем от целого рабочего дня. Даже каменный святой, и тот смотрел ему вслед с сочувствием. Но когда до «Адлера» оставалось всего ничего, Майя вдруг вскрикнула и схватила Макса за руку.

— Гук маль! Та афиша, видите? Выставка! Искусство душевнобольных! Это так интересно, вы будете в восторге. Это так близко русским! Я приглашаю.

И потянула его в какой-то узкий переулок, напомнимший Максиму щель за пианино, стоявшим дома. Туда однажды провалилась родительская свадебная фотография в рамке из металлических шариков — да так и осталась там. Макс пытался вытащить ее хоккейной клюшкой, но рамка, словно живая и раненая, отползала от него всё дальше и дальше. Мама сказала, пусть лежит там хоть до второго пришествия морковкина заговенья.

Майя вдруг замолчала, но руку его так и не выпустила, хотя они с трудом помещались в этом переулке — швейцарка была все-таки слишком уж тучной.

Афиша мелькнула впереди еще раз, словно указатель, — и вот Майя уже ведет его на второй этаж нового здания, которое очень старалось выглядеть старым. Максим вертел головой, пока Майя покупала билеты и болтала по-немецки с кассиршей. Немецкий язык был похож на шум трещоток и шипение масла на сковородке. Бедный Перов опять хотел есть — но на обед сегодня было искусство.

«Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, да все с творогом», — думал Максим. Будто командир поверженного войска, он с тоской обвел взором поле боя, тесно завешанное картинами — все они были в мясистой, красно-розовой гамме. И называть их картинами было, честно сказать, сложно — похожи скорее на детские каляки-маляки, которые рисовала Наташкина племянница. Выбросить — жаль, но и хранить в таком количестве длиннорылых принцесс и лошадей, похожих на кроликов, у Наташки тоже не получалось. На работе они переворачивали принцесс рылом вниз и выкладывали на них бутерброды — две золотые шпротины лежат «валетом» на кусочке черного хлеба, крохотный фейерверк укропа, лимон. Наташка деликатно выплевывала горькие косточки в ладошку.

— Это работы Элоизы, — объяснила Майя. Она так жадно смотрела на картины, что Максим совсем загрустил. И всё же слышал какой-то частью слуха, что Элоиза — знаменитая шизофреничка, ее работы всерьез выставляются, и смеяться над ними может только совсем неразвитый зритель.

Максиму Перову нравилось творчество художников-передвижников, а мама любила импрессионистов. Красно-розовые рисунки Элоизы, вероятно, смогли бы заинтересовать Олега Игоревича, но его здесь не было. А Макс видел в них только отражение своего старого страха — безумия.

Почти в каждом рисунке Элоиза изображала обнаженную женскую грудь — она у нее всегда получалась похожей на пончики с кремом. Или на совиную морду. Макс подумал, что в детстве художницу, возможно, напугала обнаженная женская грудь — но делиться мыслями с Майей не стал. Она застывала подолгу перед каждым рисунком, мучение всё длилось. В конце концов швейцарка насмотрелась на эти рисунки и сама стала красной, как будто сошла с одного из них. В галерее было очень жарко.

— Пойдемте, — неохотно сказала Майя. — После таких сильных визуальных переживаний я не всегда могу говорить. Простите.

Через десять минут они уже сворачивали с набережной к «Адлеру». Из ресторана неся веселый, похожий на лай женский хохот. Максим тут же вспомнил свою беду:

— Майя, вы можете поговорить с администратором? В номере рядом со мной кто-то смеется всю ночь.

— Конечно, я поговорю. Можете не волноваться об этом.

Она действительно принялась беседовать с администратором — теперь на смену заступил блондин с осветленной, как носили лет пять назад, челкой. Блондин сосредоточенно хмурился, слушая Майю, а Максим в изначальном смысле слова

немцем сидел на диванчике, разглядывая картину в раме. Там был изображен конь чистых кровей и пышных статей. Каждый мускул был прорисован художником так любовно, что картина могла сойти за учебное пособие для ветеринаров.

— На йа, можно идти в номер.

— А что он сказал?

— Сказал, что рядом с вами никто не живет. Там темная комната, кладовка, которую открывают очень редко.

— Но там смеются!

— Максим, вы впервые за границей, и сразу — в Швейцарии. Я думаю, вы слегка возбуждились из-за этого.

Или она не слишком хорошо знала русский, или, напротив, знала его слишком хорошо.

— То есть комнату мне не поменяют?

— Сейчас я поднимусь вместе с вами, и мы послушаем, кто и как там смеется. А потом примем решение, гут?

Она уговаривала его как маленького. Даже за руку зачем-то взяла. Ладонь мягкая и белая, словно булочка. Булочки! В номере у него лежит сокровище — пакет, набитый утренними лакомствами. Макс поспешно вызвал лифт, он тут же явился, узенький, как девочка. Пока они ехали, Перов вынужденно разглядывал Майину прозопопею, размышляя о том, что, если она подпрыгнет, лифт совершенно точно остановится. И они застрянут.

Но девочка-лифт остановилась на нужном этаже, и Макс и Майя ступили на красную, в гамме Элоизы, ковровую дорожку.

Там опять было тихо. Майя показала пальцем на дверь комнаты смеха — Максим кивнул, что да,

та самая. Ему вдруг стало ясно, что никаких звуков они сегодня не услышат. Майя решительно постучала в дверь — но открылась другая, 15-й номер. Кружевная дамочка, наряженная сегодня в тяжелый твидовый пиджак, нахмурилась при виде Майи, но всё равно кивнула и поздоровалась:

— Халло.

Максим вспомнил, как в детстве играл с девочками в «Стоп, хали-хало». Девчонки почти всегда уговаривали его, хотя ему самому эта игра казалась глупой. Такой уж он был — делал даже то, что не нравилось, если хорошо попросят.

Опять шипело масло немецких слов, Майя и соседка говорили так долго, что Макс заскучал. Он открыл дверь и ахнул — пакет, на который он так рассчитывал, был пуст и валялся на полу. На столе грустно блестела бутылка водки, недопитая со вчерашнего дня.

Майя вошла следом, улыбнулась. У нее была привычка — Макс заметил это еще в кафе — прижимать пальцами ушные мочки. Она проверяла, на месте ли сережки, но выглядело это так, будто Майя приводит в действие какой-то сложный механизм.

— Соседка говорит, что здесь никого не было, что никакого смеха она не слышала и что ты — странный.

На этих словах швейцарка еще раз улыбнулась. И расстегнула кофточку.

— Я бы выпила, — призналась она. — У тебя там водка, да?

Максим вытащил из сумки то, что осталось от колбасы. Наливая водку, он вдруг вспомнил, как Мишган Кердаков однажды следил в «Эркере» за розливом ликера. Ликер распределял по рюмкам

бережливый Петрович. Был женский день, Восьмое марта.

— Ты чё как кошкам? Лей нормально, — велел Мишган.

Петрович трясущимися руками схватил высокую бутылку.

Максим выпил, вцепился зубами в колбасу. Майя тянула водку по капельке, будто вкусный коктейль. Сейчас она вылезет, как джинн, из своих штанов. А грудь у нее, наверное, как на рисунках Элоизы.

«Швейцайки кьясивые».

Макс еле успел добежать до туалета, там его обстоятельно вырвало, а когда он вернулся, Майи в комнате не было. Как и ее сумки, как и пакета с деньгами. Максим побежал к лифту, жал на кнопки, спускался по лестнице, пытался говорить с портье — но славистки и след простыл.

Кажется, он всё испортил. Неудачник. Вбили кол в частокол. Водовоз вез воду из водопровода. Стоп, хали-хало!

Максим упал на кровать в прыжке — как делал подростком, выводя из себя маму. Что делать, что делать?

Когда за стеной раздался хохот, Макс улыбнулся в ответ горько и облегченно — как при встрече с нелюбимым, но неотменимо родным человеком.

— О, рассмейтесь, смехачи! — сказал Перов. И швырнул в стену пустую бутылку из-под «Пшеничной». Бутылка почему-то не разбилась, а мягко отскочила от стены и упала на кровать.

— А говорили, не знаете Хлебникова, — услышал он за спиной. Майя! Она стояла на пороге, покусывая локон. А потом вдруг подняла сумку в воздух — и прислушалась к ней, будто в сумке звонил теле-

фон. У этой девушки был поистине неиссякаемый запас странных привычек.

— Я договорилась, вас переведут в другой отель. Он в двух кварталах. Собирайтесь! Максим, вы слышите меня? Соберитесь! Да не бутылку! Бутылку вы можете оставить.

— Все-таки кто там смеялся? — спросил Максим, когда они уже выписались из «Адлера».

Майя не ответила.

В новой гостинице, названия которой изможденный Перов не запомнил, Майя заставила его пересчитать деньги, потом погладила по голове и ушла. Пол скрипел под ней, как под тачкой.

Максим забыл о голоде, о Наташкиных туфлях, он забыл даже о Сигове. Сил хватило только на то, чтобы уложить под подушку пакет с деньгами.

...Может, там, в номере, жил болящий родственник хозяев отеля? Сумасшедший, безумный Макс? Сдать в дурдом жалко и дорого — а тут живет себе под присмотром, спит, ест. Ну, смеется иногда, так и что? Максим думал об этом недолго, он быстро уснул. А ночью проснулся... от смеха за стеной. Его прокручивали, будто в записи, раз за разом, один, другой, третий и так далее — до лежащей, упавшей на бок от бессилия или от смеха восьмерки. До полной бесконечности.

5

Нам, из ближайшего будущего, очень хотелось бы, чтобы эта история окончилась хорошо — хотя бы для Максима Перова. Но закончилось всё, как обычно, плохо.

Даже мы, из будущего, что можем мы знать о безумии? Не больше, чем о смерти, снах и коме. Что, если это и вправду — кома? Что, если сумасшедшие всё слышат и понимают, но не могут даже моргнуть в ответ?

Или это сон, где надо бежать, спастись, а у тебя ноги ватные и будто прибиты к земле.

Или — смерть, когда мы оплакиваем безумного, а его душа в это время ходит рядом с нами, мягко касаясь, но мы не видим и не чувствуем ее, не можем даже моргнуть в ответ?

Группа студентов топталась перед входом в отделение.

Доктор, сдержанно приветствующий гостей — жданных, но не нужных, — был слегка похож на Фрейда, и ему нравилось это сходство — он подчеркивал его сколько мог. Очки-кругляшки, борода, морщина на переносице в виде летящей чайки. Впечатление смазывал разве что шрам на щеке — полукруглый, похожий на растущий месяц. Студенты старались не смотреть на шрам, но он притягивал, как вторая улыбка на лице. Тем более улыбки первой от Олега Игоревича дожидаться было не просто.

— Что такое гелотология в теории — вы знаете. Зачем она нужна на практике? А бес ее понимает.

Высокая девочка в черном свитерке — без халата, без колпачка — недовольно цокнула языком.

— Нам сказали, вы покажете случай!

Олег Игоревич подошел к девочке так близко, что она отвернула от него лицо. Испугалась, как поцелуя.

— Как звать?

— Наталья.

— Такого случая, Наташенька, ты еще точно не видела.

Доктор махнул рукой, и студенты потекли за ним белой рекой, в которой мелькало черное пятно — Наташкин свитерок. Она была еще и в модельных туфельках на каблучках — кто так, скажите, ходит на практическое занятие?

В палате сидел на койке молодой мужчина. Он смеялся и рисовал; рисовал и смеялся. Смех его был похож сразу и на нервный девичий хохот, и на грубый гогот подростков, и на усталое женское хмыканье. Смех звучал, как будто в записи, которую прокручивали снова и снова. А рисовал он красным фломастером коней и голых женщин с грудями, похожими на совиную морду.

Или на пончики с кремом.

Наташка вытянула шею — как черепаха за одуванчиком.

— Максим Перов, — представил больного Олег Игоревич. — Человек, который смеется. Иногда он еще и рассказывает интересные вещи — будто бы его зовут Макс Рокатански и он недавно ездил в Цюрих. Не бывала в Швейцарии, Наташенька?

Студентка не слышала профессора. Она подошла к Максиму ближе, чем разрешалось на инструктаже, наклонилась так, что из сумки у нее выпал баллончик с дезодорантом «Юлия» и прокатился через комнату, словно граната. Максим схватил Наташку за руку и красным фломастером нарисовал ей на запястье, рядом с часиками, букву *w*.

— Роли дублировали Александр Новиков, Ольга Сирина, Игорь Тарадайкин, — сказал он.

И засмеялся.

Без фокусов

Никто не мог вспомнить, как их занесло в этот, с позволения сказать, клуб.

Начало вечера — классика, пиво у Гореловых. Потом девочкам стало скучно, и Горелов, который хотел сразу и Машу, и Лену (лишь бы не свою Оксану), потащился за ними следом. Оксана была, по мнению друзей Горелова, «мудрой женщиной» — так обычно называют тех несчастных, которым супруг изменяет с открытым забралом, но они стойчески терпят, потому что у них — любовь, дети и страх остаться одной навсегда.

Вот поэтому она и побежала за Гореловым — на ходу наказала дочке смотреть за сыном, а сына просто — наказала. Без мультиков на четыре дня, раз он отказывается немедленно лечь спать. Захлопнула дверь, там рев на весь дом.

Часом раньше Маша стащила у Витечки таблетку циклодола, и Горелов волновался, как это

на нее подействует. Пока что она вела себя тихо, улыбалась куда-то внутрь себя. Витечка — у него бабье тело и розовые безволосые ноги, мстительно вспомнила Оксана, — сопел, пытаясь успеть за быстрым Гореловым. Витечка у них часто ночевал — насмотрелись в разных видах.

Лена пела что-то из репертуара общеобразовательного хора:

— Плещутся звезды в мерцающих далях, светится снег, хоть в ладони бери-и-и!

— Хорошие стихи, кстати, — льстился Горелов.

Лена запела ту же строчку, с начала:

— Плещутся зве...

— ...зды! — басом поддержал Витечка.

Препотешная у них была компания. Образовалась сама по себе — как опухоль. Причем злокачественная, думала Оксана, злая на весь свет, что опять не выспится. Ей-то с утра на работу, это остальные могут, как выражается Витечка, *мочить харю* часов до двух. Удивительно вульгарен этот Витечка, но на лицо — интеллигент, палец вечно на переносице, очки поправляет. Горелов однажды заметил, что Витечка похож на Чикатило — и правда, мог бы сойти за брата. Оксана всякий раз удивлялась таланту мужа находить для каждого двойников. Когда он встречал людей, ни на кого не похожих, то буквально изнемогал, подыскивая нужную знаменитость. Примерял и так, и этак! На памяти Оксаны в подобных поисках Горелов забуксовал лишь дважды — так и не смог подобрать двойника Светке, бывшей Витечкиной жене, и вот теперь, совсем недавно, — Маше. Маша всё еще ходила без пары, зато все остальные были пристроены.

Лена похожа на актрису Анну Самохину, и это, к несчастью, было горькой правдой.

Сам Горелов напоминал писателя Сент-Экзюпери.

Оксана, как он раньше утверждал, — просто вылитая Кейт Буш. К сожалению, слово «вылитая» теперь воспринималось иначе — вылили воду из чашки, и нет ее. Забыта. Кто помнит про воду, которую вылил? Или даже — выпил?

Ну и плевать.

Прополоскать — и сплюнуть, как она велит пациентам.

Оксана второй год работает в стоматологическом кабинете на заводе. Не врачом, как мечтала, — всего лишь ассистентом. Опустить кресло, включить лампу, подать салфетку, убрать салфетку. Прополосните хорошо и сплюньте.

Детские мечты о медицине — пусть и подшлифованные мамой, но всё равно искренние, — после встречи с Гореловым исчезли, как боль после анестезии. Это было на первом курсе. Оксана готовилась к зимней сессии, когда одноклассница пригласила ее на концерт. Она честно отказывалась — но эта девочка, Эля, была такой настойчивой! Проще было согласиться.

Вот так — всего один концерт, и вся жизнь изменилась. Между рядами в зале, куда Эля вытащила Оксану танцевать, стоял неподвижный Горелов. Все танцевали, махали шарфами, а он позволял себя «обтекать», как скала — волнам. Профиль у него был совершенно нездешний — ни пить ни есть француз.

В итоге Эля успешно сдала первую сессию, тогда как Оксана перешла через дорогу — и перевелась

в медулице, как называют медицинское училище презрительно настроенные люди. Потянуть одновременно институт и Горелова оказалось невыносимо, это были противники равной силы.

Строго говоря, Оксана не могла обвинить Горелова в том, что он загубил ее судьбу, не дал учиться, забрал лучшие годы жизни и так далее. Она сама так отчаянно захотела быть с ним вместе, что не раздумывая бросила всё, что у нее было, к его ногам. Горелов регулярно напоминал ей этот факт — без лишнего злорадства, но и без сочувствия.

Было у Оксаны не так уж и много. Институт, мечта стать врачом. Репутация ответственного человека. Гордость, пусть и сомнительной закваски.

Мама так плакала, когда узнала про медулицу! Как будто Оксана с собой покончила, а не с высшим образованием.

— Стоматолог — такая верная профессия! — причитала мама. — И деньги хорошие получают, а кем ты будешь после медучилища?

Оксана поклялась, что снова подаст документы в институт — вообще она так и хотела, но у них родилась Юля, а через два года — Миша. Какой там институт, она училище-то окончила с грехом пополам в три подхода.

То ли дело сейчас девчонки учатся — Маша и Лена были студентками и будущими социологами, но при этом Оксана постоянно видела их с рюмкой водки у себя дома. Каждый вечер, иногда — даже ночью.

Эти студентки — достижение Витечки. Он познакомился с ними на рынке, привел в дом — и Горелов тут же влюбился в обеих. То есть Горелов и раньше постоянно влюблялся, но это всегда про-

исходило вне дома — Оксане хватало ума не выяснять, где и как. Раньше Горелов без конца слонялся по концертам и мастерским, а теперь, напротив, стал отчаянным домоседом.

— Ты же понимаешь, Витечка переживает тяжелый развод, — объяснял Горелов, хотя Оксана его ни о чем не спрашивала. — Выгнать его еще и из нашего дома у меня рука не поднимется. А эти девчонки — они его согревают. В смысле обогрева души.

Оксана слушала его и думала о том, что Витечка, Горелов и Маша с Леной отлично раскладываются на дважды два, но вот она здесь явно лишняя. Не говоря уже о детях. Горелов относился к сыну и дочери хорошо — но только первые пять минут. После пяти минут общения с Мишей и Юлей у мужа наступала прямо-таки смертельная усталость — поэтому Оксана отправляла малышей в комнату с телевизором, который, в общем, и занимался их воспитанием. Спасибо маме, что забирала их к себе на выходные — гуляла, читала, выслушивала. Мама была педагогом и всегда подчеркивала, как важно выслушивать детей — даже если это невероятно скучно. Оксана с мамой не спорила, просто у нее все силы уходили на то, чтобы не потерять мужа.

Лена принимала гореловских детей терпеливо, хоть и без восторгов (однажды даже принесла с собой два чупа-чупса), а Маша их не выносила — демонстративно курила в кухне, чтобы Оксана увела малышей наконец к телевизору. Горелов разрешал девочкам курить где захотят, радостно хохотал каждой их шутке, бегал к таксистам за водкой. Однажды, когда Лена прихорашивалась в прихожей, глядя на свое отражение в зеркале — мини-юбка,

черные чулки, новенькие туфли на высоких каблуках, Оксана вздохнула:

– Хочу такие же туфли.

– А ноги такие ты не хочешь? – ядовито переспросил Горелов. Оксана вспыхнула, ушла в комнату к детям и так сильно обняла Мишу, что он от неожиданности заплакал.

Оксанина мама любую свободную минуту тратила на то, чтобы раскрыть дочери глаза на ее несчастную жизнь. Мама возмущалась: разве это нормально, когда дома каждый вечер народ, все постоянно пьют и прокуривают шторы? И еды не напасешься.

– У нас Юрий готовит, – вступалась Оксана. Горелов действительно готовил – особенно ему удавались лапша и жареные сосиски. А Витечка, отработывая постой, каждую неделю приносил продукты – он сутки через двое сторожил в коммерческом продуктовом на Малышева.

– Всё Юрий да Юрий, – сердилась мама. – Не припомню, чтобы он с тобой хоть раз так ласково!

Горелов с Витечкой были профессиональные меломаны. Оба страстно ненавидели бардовскую песню, и, как только на горизонте возникал призрак инженера с гитарой, его тут же выносило из поля видимости – Горелов и Витечка не допускали даже малейшей возможности отравить свой слух песней «Милая моя, солнышко лесное».

Витечка работал сторожем, а днем продавал на Шарташском рынке шапки, которые шила из трикотажных женских рейтуз его бывшая жена Светка. То есть развестись-то они развелись, из квартиры Светка его выгнала, но шапками торговать всё равно заставляла. Частенько Витечка спяну терял

непроданные шапки по пути домой, и тогда Светка звонила Гореловым с разборками — и так орала, что из телефонной трубки, казалось, летели брызги слюны. Витечка дважды в год лежал в дурдоме, но Светка об этом не знала. Как только узнала — сразу выгнала.

— Здоровых детей от него не будет, — сказала как отрезала.

Оксана завидовала Светке — она бы так не сумела. Что там шапки — Горелов всю жизнь ее мог выбросить под кустик, как пустую бутылку. Если уже не выбросил.

Еще до развода с Витечкой Светка однажды сказала Оксане, прищурившись, как от дыма:

— Тебе надо нормально себя с ним поставить. Это ж твой дом! А ты в нем даже не хозяйка. Всё Юрик да Юрик! Когда я уже услышу «Говнюрлик»?

Им бы с мамой Оксаниной поговорить. Отличное было бы взаимопонимание. А тут...

Ну что она скажет?

Как только рот раскроет — Горелов тут же уйдет. Он ее сто раз предупреждал, хотя и одного хватил.

Вот потому Оксана молчит — и терпит.

Интересно, как Светка отнеслась бы к Маше и Лене? Наверное, как Стивен Сигал в фильме, раскидала бы их в разные стороны. Жаль, Светка перестала у них бывать.

У Маши — отличные зубы, а у Лены — скученные, передние налезали один на другой. У худеньких девушек часто так бывает — зубы как будто передразнивают общее сложение. Оксана привыкла смотреть всем в зубы, даже у дареного коня первым делом оценила бы челюсть.

— Как тебе не противно ковыряться у людей во рту? — удивилась однажды Маша.

Витечка неожиданно заступился:

— Ковыряет не она, а врач. Оксанка только салфетки подает и пломбы смешивает.

— Спасибо тебе, Витечка, за коллегиальность, — сказала Оксана. Маша недовольно нахмурилась — ей не понравилось, что у Оксаны водятся в свободном употреблении такие слова. Перевела разговор на что-то музыкальное, потом села на любимого конька — искусство. Пришпорила — эгей! Филонов, Мунк, Сальвадор Дали...

Оксана в таких случаях незаметно уходила с кухни — ей тяжело было видеть Горелова. Взгляд его метался с одного девичьего лица на другое — как свет от фонаря бегущего человека.

Горелов учился в театральном институте, окончил два курса, но потом заглянул однажды в рок-клуб — и стало уже не до учебы. Сам не играл, не пел — но слушатель был одареннейший. Группы в очередь выстраивались, чтобы Юрий послушал и подсказал. Толком он нигде не работал, где-то лежала трудовая книжка — как забытое сокровище из старой сказки. Но тогда, в конце восьмидесятых, еще можно было жить без денег — всегда находились друзья с бутылкой, музыкой, едой. Много ли ему надо... Быт везла Оксана — и не жаловалась. А раз не жалуется — значит, всё в порядке.

Вот и сейчас они идут, а точнее, бегут по вечернему городу — потому что девочкам захотелось приключений, а Маша стащила у Витечки таблетку циклодола. Впереди — целеустремленная пьяная Лена под руку с Витечкой, за ними — Маша с Гореловым,

а позади — Оксана в дряхлом пальто и сапогах (на левом разъехалась молния, и она сколота английской булавкой). Зачем жена с ними увязалась, Горелов не понимает — но и прогонять не собирается, ему не до этого.

Лена кричит:

— Мне надо в туалет!

Слева — стройка, забор. Горелов подскакивает и рыцарски отдирает доску, потом другую — Лена проскальзывает туда и громко журчит.

Оксане холодно, особенно ногам. Туда, где разошлась молния, дует ветер.

Самый противный месяц — ноябрь. Снег то выпадет, то растает. Грязь под ногами чавкает, как майонез в салате.

Еще светло. Памятник облеплен голубями, как помойный мешок — мухами.

Маша объясняет про новый бар, который будто бы открылся за углом — но это, наверное, в ней говорил циклодол. Нет там никакого бара, и приключений не найти — скучный город, пора домой. И тут кто-то замечает вывеску — «Клуб». Лена тянет на себя дверь и машет рукой — открыто!

Внутри — можно сказать, уютно. Меломаны подозрительно вслушиваются в музыку, которая негромко играет в зале, — и переглядываются.

— Мне это показалось? — спрашивает Витечка.

— Отнюдь! — отвечает Горелов.

Музыка в клубе отвечает их высокохудожественным вкусам. Лена с красными пятнами на щеках — то ли от молодости, то ли от спиртного — проходит в зал. Там небольшая сцена, столики. Людей приятно мало.

— А почему мы раньше здесь не были? — обижается Лена.

Маша подходит к стене, на которой висит чеканка — «Алые паруса». Такая же точно — в квартире Оксаниной мамы. Маша хочет поймать чеканку, а та вдруг берет — и уползает вверх по стене. Паруса раздуваются и лопаются с громким звуком — как воздушные шары. Маша прыгает, пытается достать чеканку, но эта зараза ползает уже на уровне потолка, и наконец Горелов соображает, в чем дело.

— Витечка, держал бы ты свои колеса при себе, — критикует друга Горелов, бережно отстраняя Машу от стенки. Она переводит бессмысленный взгляд на Витечку — и тут же вцепляется в его очки. Дело в том, что очки тоже решают убежать с лица, взмыть к небесам, найти свои алые паруса... Дело в том, что одна таблетка циклодола для Маши — перебор.

Горелов отнимает у Маши очки и возвращает их Витечке.

Все они уже сидят за столиком, накрытым, к счастью для Оксаны, длинной скатертью. Под этой скатертью легко спрятать ноги в драных сапогах.

Маленькая Юля говорила вместо «драные» — «дряные». Соединяла два значения в одном слове. Дрянная мать Оксана не может спокойно сидеть за столиком, думает, как там дети. Миша так плакал...

— Я позвонить, — говорит она мужу, но ему это неинтересно. Оксана идет к гардеробу, там висит под колпаком тяжелый металлический телефон с черной трубкой.

— У нас по жетонам, — любезно поясняет гардеробщик. — Желаете жетон?

Оксана желает, покупает. Потом звонит, ждет, пока Юля ответит — и за то время, которое тянут на себя четыре длинных гудка, представляет самые разные ужасы. Открыли дверь бандитам. Уронили на себя зеркало. Выпали из окна.

— Алло! — милый голос дочки.

— Юляша, у вас всё нормально?

— Нормально, — вздыхает Юляша. — Миша спит.

Вот что ненормально — это оставлять дома таких маленьких детей. Юле — шесть, Мише — четыре. У Оксаны — нет выбора.

— А можно еще посмотреть телевизор? — спрашивает дочь. — Тут передача с фокусником.

— Пять минут, — разрешает Оксана. — Я скоро приду, Юляша. Не волнуйся и дверь никому не открывай.

Дочка уже повесила трубку.

В зале тем временем заняты уже почти все столики. По сцене — как ладонь Горелова по Машиной спине — жадно шарит фиолетовый луч прожектора.

Как это они пропустили открытие такого клуба?

Витечка шепчется с Леной, Маша смотрит в пустую тарелку безумным взглядом. Горелов жуёт губы, размышляя. Можно бы заказать какую-то еду, но у них мало денег. А заказать всё равно что-то нужно — представление только для клиентов, с важностью объяснил официант.

Решили — водку.

Оксана садится рядом с мужем.

В этот самый момент выключается свет — а когда он загорается снова, на сцене стоит фокусник.

Это молодой мужчина в черном плаще, из-под которого видна голубая, как у милиционера, рубаш-

ка. На лице неровно держится улыбка, как будто ребенок приклеивал. Прическа с длинными зализанными, похожими на рога. Не красавец, в общем, хотя Горелов так не считает. Его диагноз — Ник Кейв.

Фокусник кланяется и трясет руками, словно пытаясь вызвать гром. Или хотя бы аплодисменты.

Горелов забывает о симпатичном сходстве с Кейвом и бьется в фальшивом восторге. Витечка свистит. Оксана ненавидит свою жизнь.

— Добрый вечер! — фокусник слишком близко поднес микрофон ко рту, и зрители морщатся от неприятного свиста. — Сегодня для вас буду выступать я, иллюзионист Геннадий Цыкин, и моя прекрасная ассистентка — Снежана!

Ассистентку опишем с красной строки.

Бывают такие женщины — недолепленные. Скульптор устал или умер, а им таким — жить. Плечи у Снежаны — широкие, ноги — жилистые и шишковатые, а шея и грудь отсутствуют. Лицо — уральская деревня, рост — чуть выше семилетней Юли. Но — гордый взгляд! Но — блестящий купальник! Но — волосы красные и торчат во все стороны!

— Пиаф? — засомневался Горелов.

Оксану поразило серьезное лицо ассистентки, да и вся она была собрана, как в кулак. Даже когда Лена с Витечкой захохотали, услышав слово «прекрасная» (Горелов, ликуя, колотил по столику) — даже тогда на ее некрасивом лице не мелькнуло ни тени растерянности.

Шоу тем временем началось. Геннадий Цыкин доставал из рукава цветные атласные ленты, связанные между собой, как те веревки, с помощью которых совершают побег из тюрьмы. Поднимал

цилиндр, показывая, что он пуст изнутри, — а потом там появлялся цветок в горшке.

— Прямо как наперсточник, — зевнула Лена.

Маша возила по столу пепельницу так, что Горелов никак не мог попасть туда сигаретой.

Прекрасная Снежана вышагивала по сцене, купальник искрился и отвлекал внимание от Геннадия Цыкина, затеявшего какой-то особо сложный фокус — возможно даже, гвоздь программы. Во всяком случае, музыку сменил барабанный треск — и ассистентка изогнулась в затейливой позе.

Вуаля! Только что фокусник держал на ладони игральную карту, разорванную на две половинки, — и вот она уже вновь предъявлена залу, целая и непоруганная. Туз пик.

— Мы здесь должны хлопать? — спросил Витечка. И тут же начал аплодировать, как на концерте, подняв руки перед лицом.

Горелов орал «браво». Лена хохотала. Маша уронила пепельницу, поднялось облако пепла.

Оксана поймала взгляд фокусника — так ловят волан в бадминтоне. Он был искренне счастлив, не чувствовал издевки. Кланялся, распахивая плащ и прижимая ладонь к шее. Там пульсировала горячая кровь художника, который только что раскрыл людям свой дар.

Прекрасная Снежана была не столь наивна — ее лицо вдруг стало серым, как будто бы до него долетело пепельное облако.

Люди в клубе молчали, а их столик — бесновался. Каждый новый фокус Цыкина — как на беду, один нелепее другого — вызывал у Горелова и Витечки бешеный восторг. Можно было подумать, они приветствуют Гарри Гудини.

Глаза фокусника сверкали – его искусство дарит людям такую радость!

Оксана боялась поймать еще один взгляд этих сверкающих глаз, поэтому ломала зубочистки и выкладывала из них буквы на скатерти. Ю Р И К. Пришел официант, смахнул «Юрика» в ладонь и принес счет. Шоу завершилось распилом прекрасной Снежаны. Потом она тоже явилась публике в изначальном виде – и кланялась так, будто хотела достать руками до пола во время производственной гимнастики.

– Бис! – верещал Витечка. – Верните чародея!

Прекрасная Снежана обернулась и пронзила Витечку взглядом, как шпагой.

– Может, по домам? – робко предложила Оксана.

Горелов заёрзал:

– Давайте лучше так. Вы с Витечкой еще здесь посидите, а я девчонок уведу к нам. Лена пьяная, Маша под кайфом. А дома еще и дети одни, ты про них забыла!

– Я помню, – сказала Оксана. Она прекрасно поняла, что задумал Горелов: уложит спать Лену и пристроится к Маше, или наоборот. Главное, чтобы жены рядом не было. Странно, что Горелова всё еще смущали такие условности.

– Если бы я была индейцем, – сказала она, – я взяла бы себе имя Оксана Пятая Нога.

– Ты была бы не индейцем, а скво, – возразил Горелов. – Ну так что, посидите еще?

– Посидим, – сказал Витечка. – Статус скво!

Он помог другу вытащить полуживую Машу в гардероб. Лена шла сама, качаясь, как тонкая рябина из песни. Оксана видела, как ее муж одевает

обеих девочек — застегивает пальто, подает шарфики. На бледную Машу даже беретку напялил. Она видела всё это — и не понимала, почему не бежит за ним следом, как сделала бы еще два часа назад, как, собственно, она два часа назад и сделала.

Витечка вернулся, зачем-то обошел столик по кругу, но потом всё же сел и вlepил очки себе в переносицу.

— Давай, Оксанка, выпьем! Не оставлять же...

— Не хочу я пить, Витечка. Я домой хочу. Прямо сейчас.

Витечка неодобрительно кашлянул.

— Посиди еще минутку, и пойдем. Я давно хотел с тобой обсудить одну тему. Скажи, у тебя плохое зрение?

Оксана удивилась.

— Нормальное у меня зрение. Единица оба глаза.

— А почему же ты не видишь, что я в тебя влюблен? — глухим, как из подземелья, голосом спросил Витечка.

Лучше бы он вылил рюмку водки ей на голову. Что ей делать с этим признанием? Куда положить — на ту же полку, где хранятся презрение к Витечке и вечно сияющая, как сказочный меч, любовь к мужу?

— Ну что ты молчишь? — томился Витечка.

— Не знаю, что сказать. Я люблю Горелова. Я даже эротические сны вижу только с его участием.

То, что случилось сразу после этих слов, Оксана еще долгие годы переживала в кошмарных воспоминаниях — и даже иногда специально вызывала из памяти это видение, чтобы заплакать, когда бывает

нужно. Витечка бахнул кулаком по столу, так, что графинчик упал Оксане на ногу. Водка пролилась на колени и немного — в дырявый сапог.

Витечка кричал на нее так громко, как не умела даже Светка в минуты справедливого телефонного гнева. Да как она смеет любить этого козла, если он прямо сейчас трахает Лену или Машу в комнате, где за стеной спят малые детки? Да где ее гордость или хотя бы чувство собственного достоинства? Да почему она не видит, что он, Витечка, приходит к ним в дом только из-за нее, Оксаны?

Оксана попыталась встать, но запнулась за длинную скатерть — и снова упала на стул. Люди за столиками были рады продолжению спектакля. Какая-то дама с длинными серьгами в длинных ушах вся подалась вперед, чтобы не пропустить ни слова.

— Ты говоришь точно как моя мама, — вымолвила наконец Оксана. — Давай я вас познакомлю — вы друг другу понравитесь.

— Дура, — коротко сказал Витечка. Еще раз печатал очки к переносице и ушел, подхватив пакет, которого Оксана почему-то не заметила раньше. Из пакета падали на пол трикотажные шапки — как хлебные крошки Мальчика-с-пальчика.

Оксана взяла из вазочки новую зубочистку и разломала ее.

— Можно?

К ней за стол, не дожидаясь ответа, сиделся фокусник Геннадий Цыкин. Он был в штатском, выглядел моложе и глупее, чем издалика.

— Я хотел сказать вам спасибо, — признался Цыкин. — Меня никогда так не принимали, как сегодня. Наверное, вы любите магию, да?

— Очень люблю, — сказала Оксана.

— Вы согрели мое сердце, — улыбнулся фокусник. — В наше время никто не ценит искусство. А где ваши друзья? Я бы их тоже поблагодарил...

Оксана была благодарна прекрасной Снежане, которая внезапно выросла за спиной у фокусника и потянула его за руку. На Оксану она не смотрела — возможно, в отличие от Цыкина, ей удалось захватить фрагмент выступления Витечки. Снежана была в старой дубленке с потертой вышивкой, песцовая шапка выглядела на ней оскорблением.

Цыкин долго прощался, ему не хотелось расставаться с поклонницей истинной магии.

— Я исполню одно ваше желание! — крикнул он перед тем как уйти. — Загадывайте, обязательно сбудется!

Оксана шла домой и мечтала — пусть дома будут только дети и муж. Чтобы ни Маши, ни Лены, ни Витечки, ни чужой обуви в коридоре, ни посторонних запахов в ванной, ни лишних чувств, ни сомнений, ни-че-го.

Небо сверкало звездами, как мамин шарфик из люрекса. «Плещутся звезды», — пела Оксана, чтобы согреться и скорее дойти до дома.

Открыла дверь ключом — и тут же споткнулась взглядом о две пары высоких женских сапог и разбитые, как у странника, Витечкины боты.

Может, если она решится уйти из дома, забрать детей к маме, вернуться в институт, то у нее всё получится?

Или вот еще вариант: ворваться сейчас в ту закрытую комнату, перебудить по дороге малышей и Витечку, сладко храпящего перед включенным

теликом, и отхлестать этих девок их же длинными сапогами?

В общем, у Оксаны было не так уж много желаний.

Она поцеловала спящих малышей (Миша даже во сне выглядел обиженным), легла с ними на диване третьей и уснула.

Во сне Оксана твердо дала себе обещание начать новую жизнь, что бы это ни значило.

Утром она тихо собрала Юлю с Мишей и увела их в детский сад, потом отработала смену, забрала детей и вечером сидела за кухонным столом, слушая, как Горелов спрашивает у всех сразу: все-таки кому из них первому пришла в голову идея зайти в тот, с позволения сказать, клуб?

Никто не смог вспомнить.

Екатеринбург

*«Рано или поздно в Париже
вы наверняка столкнетесь со мной».*

Андре Бретон

Города и люди

Города — как люди, и с кем-то просто не складывается. Неважно, кто виноват — ты или город. В Вене пролился горячий глинтвейн — обжег коленку, и на руку тоже попало, огнем по вене. Киев — место, где сумело остановиться время, но это не в плюс Киеву. В Варшаве так серо и грустно, будто это Москва. Как можно уехать в Москву по своей воле? Сюда должны ссылать, будто на урановые рудники. Наказан и казнен — Москвой. В Санкт-Петербурге лучше, но он сырой, болотный, и под обоями в квартирах — непрописанный, но живучий туберкулез. Палочки Коха.

А вот когда Олень рассказывала про свою Вену, она у нее была теплая и круглая, как добрая бабушка. А Варшава — цветная. И так вкусно звучало коварное киевское слово «кавяря». Олень *обожает*

Питер и всё еще, несмотря на преклонные сорок, мечтает жить в Москве.

Прозвище сама заработала: в первом классе подписывала рисунок для выставки — «Оленька», но буквы были детские, в аршин, и уместился на листке только «Олень». Дальнейшее — заслуга одноклассников. Хорошее прозвище, кстати. Аду дразнили хуже — Матреной. Обидно иметь такую румяную, жирную кличку — особенно если мечтаешь стать бледной и длинноногой. Матрена — это благодаря учительнице литературы:

— Образ Матрены Тимофеевны! Морозова, к доске!

— Ты заметила, — спрашивала Олень, — что Ремарк подчеркивает в своих героинях широкие плечи и тонкие колени?

Десятый класс — самое время читать Ремарка и внимательно разглядывать друг друга, а потом, особо пристально, себя — в зеркале, под музыку. Какие у меня ноги, волосы, губы. Какая же я? И зачем — я?

«Казанова, Казанова, — визжал магнитофон, — зови меня так!»

«Назову тебя Гантенбайн, — мстительно думала Ада. — Или вообще — Измаил». И снова в зеркало, как в книгу: «Плечи широкие, это точно. Но я совсем не уверена в том, что у меня — узкие колени».

Одноклассник, дымящийся от тестостерона, который, впрочем, в широких массах тогда еще идентифицирован не был, увидел у Ады книжку. Автор Хулио Кортасар.

— Галина Пална! А чё Морозова читает матерные книги!

Галина Павловна по кличке Галка-Палка — это у нее на физике однажды выпал зуб изо рта, когда она вопила на весь класс. Первопричину ора не вспомнить, а вот зуб всё так и летит через память у каждого. Сейчас нахмурилась, предвкушая:

— Дай книжку, Морозова.

Олень с мелком у доски смотрит испуганно, правда что Бемби.

Галка-Палка схватила Кортасара, листает возмущенными пальцами.

— Заберешь у директора, с родителями. Как тебе только не стыдно? На обложке такое слово, а ты читаешь!

— Это имя писателя, Галина Пална!

Чеканкой:

— У писателя не может быть такого имени!

Директор школы маленький и лысый, смотреть на него неприятно. Почему-то Ада представляла себе, как он лезет в форточку — и не застревает.

— Родители придут?

— Мама в Китае. А папа очень занят.

— Ясно. И что натворила гражданочка Морозова?

Он всех учениц зовет гражданочками. Тревожная привычка.

Петровна торжественно кладет Кортасара на стол — как торт. Шепчет в ухо директору. У нее сильный запах изо рта — в классе доносится до первых парт. А тут — прямой наводкой. Директор морщится.

— Галина Павловна, тут написано, что это известный латиноамериканский автор. И чем вам не нравится его имя?

Галка-Палка краснеет: по лицу, как по рассветному небу, проносятся алые облака.

— Больше не читай на уроках, Анна, поняла меня?

«С чего я взяла, что он неприятный? Директор как директор. Еще бы имя мое запомнил, но я, наверное, слишком много хочу».

Галка-Палка возвращает оправданного Кортасара и дневник — исписанная красными чернилами страница выглядит так, будто ее залили кровью.

Верная Олень ждет на лавочке, у гардероба.

До выпускного — полгода. Они в тюрьме, а потом темницы рухнут, и — свобода! Весь мир на блюде с голубой каймой.

Родной город Свердловск Ада тоже не любит. Она здесь ненадолго. Вот увидите.

Каждый может

Улица Генеральская, темно.

Ада подняла руку, будто подзывала официанта. Или передразнивала памятник.

Машины проносятся мимо, никому в этом городе не нужны деньги. Ада мерзла, широкое пальто-свингер — красивое, но продувное. Мама невзлюбила его вполне заслуженно. Отказывалась покупать, но куда бы делась. Мамы не было дома целый учебный год. После Китая им пришлось привыкать друг к другу заново.

— Как ты плохо одета! — первое, что сказала мама, когда увидела Аду на перроне. Сама-то в вареных джинсах, в синих мокасинчиках — Ада сразу решила: выпросит. И джинсы, и мокасинчики — как маленькая разбойница у Герды.

Улица Восточная, мост. По мосту несется поезд, нужно загадать желание. Всегда готова!

Свингер на ветру, как алый парус.
 Желание единственное — с детства.
 Париж!
 Сейчас каждый может.

По возвращении показываешь фотографии — но даже самые вежливые смотрят их с лицом «чего-тутневидел». Прилетел, как к себе домой, — и вперед, по улицам и набережным. Это всего лишь Париж, не Чили. Пять часов в самолете, потом — *RER*. Странный запах в вагоне — скорее что неприятный. Эйфелева башня — растопыренные ноги, каждая опирается на свою часть света. Гид утрамбовывает знания по головам — как соленья в банки. Раньше башню называли пустым подсвечником, ободранным зонтом и чудовищем. Цитаты легко проскальзывают в память — как честная водка в желудок. Наполеон лежит в шести гробах, и два из них — свинцовые. «Честный и вдумчивый; поведения самого правильного; всегда отличался в математике; обладает прекрасным знанием истории и географии; недостаточно общителен; станет отличным моряком».

Пройдем по Лувру хитрым маршрутом — чтобы не встретить на пути Нику, Джоконду и Венеру Безрукую. Это гид так шутит — и про маршрут, и про Безрукую. Туристы вываливаются из дворца в сад Тюильри — как леденцы из пакета. В саду голые статуи — а день холодный, даже смотреть на них зябко. Торчат из кустов, как ограбленные — белые-дебелые, ни дать ни взять Мария Витальевна из шестого подъезда, но, конечно, без платья.

Обратите внимание — прямо по курсу памятник Жанне д'Арк, на этом месте она держала оборону

Парижа. Сейчас держит знамя, а ноги-то, гляньте, тянет, как цирковая. Этот памятник похож на шахматную фигуру – конь, а может, и пешка, дошагавшая до финиша. Гид всё так же швыряет цитаты, но из десятка лишь одна прилетает по адресу. Что-то про величественный свет на Вандомской площади в час, когда пала колонна. И в этот самый момент, когда все устали и даже Париж не нужен – а только бы рухнуть на кровать в отеле (как Вандомской колонне), – в этот самый момент шумный мальчик, какие есть в каждой группе, взялся руками за столбик – и повалил его. Упал столбик на Вандомской площади! Не та большая зеленая колонна, которую свалили в позапрошлом веке под руководством художника Курбе. Один из многих парижских столбиков – защитник пешеходов, борец с парковкой, рядовой состав. Мальчик не знает, куда бежать, гид роняет цитату – и она закатывается куда-то, как мелкая монета, а какой-то подвыпивший месье аплодирует, и мама мальчика думает, что всё, наверное, опять обойдется. Всего через неделю в Москве будет рассказывать: наш Петя даже в Париже отличился, ну что, взял и сломал колонну на *Вандомке*. Да не ту! А на другой день, добавляет мама, перекрикивая общий смех, – столбик уже опять был на месте. На боевом посту!

Париж... Сейчас каждый может. Но не тогда, в девяностых.

На улице Бажова остановились два парня на мопедах. Мопеды без номеров, сами – без тормозов. Олень ни за что бы не поехала – она девица осторожная. Ада села позади одного парня, обняла, чтобы не упасть, и через десять минут – дома.

Деньги парень без номера не взял, поэтому Ада поцеловала его в щеку, и он, в целом довольный, уехал. Перебудив полдвора.

Он существует

Дома легче верить, что Париж существует. Ада боялась разбудить маму с папой. Шла к себе на цыпочках, заметила, что так и не сняла пальто, и от ее тихого «ччерта» проснулся папа. Сейчас он выйдет в «гостиную» — псевдоним проходной комнаты — и будет хмуро принюхиваться. Это даже мило, ведь нюха у родителей никакого — Ада с Оленью выпивают бутылку вина каждый вечер. Хоть раз бы заметили.

Дверь открывается, Ада стоит на месте, как пойманное привидение. Пальто кусается шерстяным воротником. Папа близоруко смотрит мимо дочери, а потом закрывает дверь. Слава богу!

Ада снимает постылый свингер, стаскивает с себя платье и колготки — блестят как мокрые, такая мода. Лежат теперь, сверкают в лунном свете.

Сама не поняла, зачем было ходить в эти скучные гости на Генеральскую. Вначале все были такие умные, что Ада боялась даже слово молвить — вдруг брякнет по малолетству какую-нибудь глупость? А потом все стали такие пьяные, что она решила уйти оттуда подобру-поздорову. Тем более какой-то тип в очках позволил себе насмешку над ее платьем, Ада ответила довольно жалко: «Дурак, это Франция!» Платье привезла из Алжира мамина институтская коллега — они одновременно уехали: мама — в Китай, тетя Зина — в Алжир.

Аду никто не провожал, только старый хозяйский кот разворчался, когда она вытаскивала из-под него свингер. С кошачьей шерстью, налипшей на рукав, разберется потом. А сейчас — совсем ничего не хочет, только спать и смотреть сон про Париж.

Мальчики ей, конечно, тоже снятся, но по собственному почину — специально их в сон не приглашают. Париж снится сознательно — Ада мечтает о нем каждый вечер, как бы ни устала. Однажды привиделось, что его привезли в Екатеринбург — весь город, с Башней, кладбищами, утонченными и уточненными парижанками, с бульварами, мостами и статуями, которые пугливо выглядывают из кустов. Деловитые люди с лицами серьезными, какие бывают только у фотографов, расставляли Париж по Екатеринбургу — у Вечного огня пытались приткнуть Триумфальную арку, перед Оперным театром водружали Июльскую колонну, и, как изюм в тесто, целыми горстями бросали по улицам парижанок. Свердлов стал смешным роденовским Бальзаком, Кирова заменил маршал Ней, а вместо Ленина на площади 1905 года машет руками Дантон. Удивительный был сон, после таких не хочется обратно, в свою жизнь и свой город. Но мало ли что кому хочется — как говорит мама: а кто тебе сказал, что человек должен быть счастливым?

Любимые слова мамы — «Ни в коем случае».

Папы — «Будь мужчиной, доченька».

Ада спит и видит Париж, спит — и видит, когда она уже, наконец, уедет отсюда. Первые шаги сделаны — поступила на романо-германское отделение, конкурс был почти как в Москве. Учит французский и всё, что около. Лучшим студентам

обещают поездку на третьем курсе, и Ада сразу решила — останется. Но до третьего курса еще так далеко!

Как от Екатеринбурга — до Парижа.

Олень считает, любить Париж — банально. Лучше бы что-то английское, туманно-томное. У англичан не приняты жесты — руки молчат, как связанные. И продавцы не шутят над покупательницей — а то тут на днях один, из супермаркета, увидел у Олени в корзине конфеты и показал себе на живот с обидным и выпуклым преувеличением. Будто Олень набрала этих конфет для себя и как выйдет из магазина, тут же слопает их все сразу (на самом деле опустошила всего одну коробочку — и то, чтобы успокоиться. А так, шоколад покупался для родственников — подарки из Парижа). Но это будет потом, спустя много лет. Пока Олень даже представить себе не может, что станет когда-то сердиться на парижского продавца — они пока что обсуждают мечты, и Адкина заклеена «банальностью», как плечо миледи — цветком лилии.

Париж Ады, как у многих русских, вырос из груди книг. Вместо домов — тома Дюма, Гюго, Флобера, Золя, Мопассана, Сартра, Камю, Гюисманса и Монтерлана. У Бодлера — целая улица, у Рембо — аллея, у Верлена — площадь. Еще и Хемингуэй, и любимый Ремарк, и Кортасар. И Маяковский. И Волошин — «...Парижа я люблю осенний строгий плен и пятна ржавые сбежавшей позолоты». И Цветаева — «В большом и радостном Париже».

Аде — восемнадцать, недавно она сдала первую в жизни сессию. Прилично сдала и легко — как пустую стеклотару, если жить рядом с приемным пунктом.

Город из книг однажды станет живым городом — но эти «однажды», «когда-нибудь» и «обязательно» уже совсем не утешают.

Хочется, чтобы по-настоящему.

О, Пари!

Олень училась этажом выше, на журфаке. Ада этому обстоятельству сочувствовала, но и слегка презирала подругу. Олень не догадывалась, презрение было тихим, как шепот в грозу. После занятий они встречались на лестнице, под бюстом Горького. Шли домой, курили, пили кислое вино в кафе «Ветерок» на Плотинке.

Обсуждали: мальчиков, книжки, которые надо читать по программе, и книжки, которые хочется прочитать просто так, а еще — музыку одной знакомой группы, неудачный стиль одежды девушки по имени Эль-Маша (криминальное злоупотребление самовязанными по журналу «Бурда Моден» кофтами) и Париж.

Любимое слово Олени — «обсуждать». Сейчас она ведет в интернете телепрограмму, где всё обсуждается в самых дотошных подробностях. Ада ждет выпусков этой программы так, как в детстве ждала показа фильма «Д'Артаньян и три мушкетера», где огорчали только вязаная кофта гасконца (прямо как у Эль-Маши) и утомительное количество песен. Чуть что, сразу три куплета. Тем не менее Ада смотрела и вечерний показ, и утренний повтор — ценность фильма была столь велика, что он отбрасывал сияние даже на соседние передачи. Ада усаживалась перед телевизором за два часа до

начала — и радость закипала в ней с каждой минутой, как вода в кастрюльке.

Был еще и французский фильм — комедия «Четыре мушкетера», его крутили в киноконцертном театре «Космос». Видела раз десять, не меньше. Всё неправильно было в этом фильме: и название, и то, что главные герои — слуги, а не их хозяева. Зато там была настоящая Франция, а не Львов с Одессой.

Ада выцарапывала Париж отовсюду, по капельке собирала — даже из журнала «Крокодил», который любила бабушка. На последнем развороте — анекдоты из зарубежной печати, с иллюстрациями. Неважно, о чем, смешные или нет — важно, что внизу указывался источник, «Пари Матч». Закроешь глаза — остальное можно додумать.

Париж ручной сборки. Хенд-мейд.

Французский язык для Ады — как дрель для слесаря. Инструмент! Никакой особенной любви, ей всегда был ближе немецкий. Немецкий — система, где всё понятно и хорошо работает, а французский — музыка, ее нужно слушать, а не разбирать по нотам и аккордам. Но раз дрель, значит — учить. Париж стоит мессы.

Под утро Аде снится одноклассник Дима — хотя в жизни они просто друзья. Недавно Дима сам сделал в домашних условиях ликер «Адвокат» и позвал их с Оленью в гости. Пришли, но к Диминой маме некстати заявили родственники — и он вынес бутылку в подъезд. Там и пили. Вкусный ликер, сгущенка с водкой.

Такими были все дни, одинаково счастливые и разнообразно несчастные. Мама в соседней комнате вешала люстру, упала — а Ада даже не

услышала из-за своей музыки. К началу второго курса уже никто не визжал про Казанову — в ход пошли старые французские пластинки, Дима привез с Шувакишского рынка — «тучи». Никому не нужны, но Аде — самое то. Спасибо, Дима! Тебя уже нет, так вот хотя бы здесь написать тебе спасибо за всё — и за «Адвокат», и за эту «тучу», куда ты взял Аду лишь раз, и вас тут же оштрафовали за безбилетный проезд и гнали через всю электричку, как отару овец. И еще за то, что выкрал у отца ключи от машины и возил Аду с Оленью по городу, а влюблен был между тем совсем в другую девочку.

Олень в тот год выяснила, в чем состоит главное достоинство журналистики. Оказывается, слово «интервью» открывает все двери, даже лучше, чем ногой. Все до единого, кем бы ни были, как бы высоко ни вскарабкались, тут же откликались — а потом говорили о себе так долго и подробно, что Олень едва не засыпала над диктофоном. Однажды выключила, попрощалась вежливо, а собеседник как закричит: «Я еще кое-что вспомнил! Включай!» О себе все любят, это Олень вычитала вначале в библии переходного периода — у Карнеги, а потом подтвердила с помощью полевых испытаний. Да, интервью давали все — но далеко не все интересовались, что Олень сделает впоследствии с добытой записью. Она была ленива, как часто бывают ленивы крупные добрые девушки — то есть если заштопать или борщ, то пожалуйста. А вот расшифровывать чужие слова и мысли лучше в другой раз, или пусть кто-нибудь другой сделает. Частенько Олень писала поверх одного интервью другое — мысли терялись, на-

слаивались одна на другую, но кое-что она всё же успевала превращать в статьи — их потом печатали в газетах, присылали гонорары. Хотя главным были не гонорары — главной была открытая дверь. Благодаря интервью появлялись возможности, шансы, новые люди — протяни руку и выбирай. Олень легко знакоилась и столь же легко забывала имена, лица, голоса на пленке — такие недолговечные...

Голосам на Адиных пластинках повезло больше. Она слушала их по кругу (и на «круге» — старом папином вертаке). Железный голос Пиаф — слушаешь и чувствуешь себя так, словно лизнула батарейку. Мистингетт дерзко не то пела, не то выкрикивала, что она парижская девчонка, *gosse de Paris*. (Что скажешь — повезло.) У Мирей Матьё на фото — несомненно, деревянная прическа. Ада научилась любить их всех — Паташу, Марка и Андре, Жюльет Греко, Люсьен Делиль. И, конечно, Адамо, Мориса Шевалье, Ива Монтана... Екатеринбург в те годы утопал в белых розах ласковых мальчиков, но Ада даже не знала точно, как эти мальчишки называются. Ей всё равно было, модно или немодно, — главное, чтобы про Париж. «О, Пари!» Хотите пари, что уеду в Париж?

Впрочем, певицу Мари Лафоре Ада полюбила за другое — под мелодию из советского «Прогноза погоды» она очень убедительно жаловалась на несчастную любовь. Верилось после первого куплета. Маншестер э Ливерпуль... Мари Лафоре волновалась, боятся ли зимы белые корабли, а Ада волновалась, дождется ли ее Париж, и как примет? Объятьями или проклятьями?

Всё получилось быстрее, чем она думала. Вообще, если оглянуться и вспомнить, всё и всегда получается быстрее.

Но прежде Парижа была поездка на улицу Дружининскую.

На улице Дружининской

Олень в очередной раз с кем-то познакомилась. Два мальчика, на вид — совершенно бестолковые. Мальчики Аду вообще не слишком интересовали, а ее несчастная любовь, о которой знает одна только Мари Лафоре, — о, это был взрослый мужчина. Даже фрагментами седой. Он честно признался, что любит взрослых женщин, но при этом побывал однажды у Ады в гостях — еще в десятом классе. Схватил учебник по алгебре, жадно перелистывал. Что там интересного, в алгебре?

— Не верится, что я уже так стар, — сказала несчастная любовь и ушла, бросив учебник в угол так, что книжка встала на страницы, как на ноги. Ада хотела покончить с собой, но передумала — впереди были экзамены, а покончить с собой никогда не поздно. Несчастную любовь она встретила буквально через день на концерте одной знакомой группы — там он не столько слушал музыку, сколько общался с высокой и безусловно взрослой женщиной в очках, похожей на карикатурную секретаршу.

Отныне Ада решила, что будет любить один только Париж. А те мальчики — это всё Олень придумала.

Одного звали Алеша, второго — Сережа. В те годы так звали почти всех мальчиков, за редкими исклю-

чениями в виде какого-нибудь Антона или Игоря. Сережа не имел шансов на продолжение знакомства — Олени он приходился ровно до того места, где начинается бретелька лифчика, Аду же, как было сказано, вообще не интересовали люди такого возраста, не то что роста. Алеша был красивый большеглазый теленок, к тому же высокий. Олень ему приходилась макушкой до того места, где у него могла бы начаться бретелька от лифчика, но, разумеется, ничего такого у него там не начиналось. Не те времена.

И вот Олень начала бомбить Аду просьбами: ну давай съездим в гости к Алеше, он приглашал! Ада отрубилась — съезди одна. Но Олень опасалась одна. Теленок он, конечно, теленок, но она была девушка всесторонне осторожная. Поэтому продолжала ныть, припоминать какие-то истории, когда она выручала Адку, а теперь ее черед — и вообще, нечего сидеть целыми днями одной и слушать какую-то плесень.

Чтобы она отстала, Ада согласилась. На «плесень» решила не обижаться, припомнить до удобного случая.

Поехали.

Алеша записал адрес на листочке, но не объяснил, как добираться, а телефона у мальчика не было. Улица Дружининская, дом какой-то, квартира такая же. Решили поймать тачку. Олень вдруг вспомнила, что, если таксисту показать козу из пальцев, он решит, что люди на обочине просят продать им водку. Долго смеялись, потом ловили тачку — но не «козой», просто махали рукой, как две королевишны на трапе.

Адин папа строго-настрого запретил дочери ездить на тачке, но папы тут не было. Поэтому поймали частника.

— Дружинина! — сказала Олень.

Водитель напрягся.

— Дружинино? Это же далеко!

— Ну да, — сказала Ада, — там живут люди с песьими головами.

Она если не умничала каждый час, это было потерянное время.

Водитель согласился на пять рублей. Сидели на заднем сиденье, хихикали.

Ехали через весь город, читали слова на домах: «Партии Ленина слава!» Потом за окнами понесся лес — деревья гнались наперегонки с машиной. Олень заподозрила неладное.

— Минуточку, — так она обычно начинала всякий неприятный разговор, — там, куда мы едем, должны быть дома!

— Ну вот доедем, и будут вам дома.

— А куда вы нас везете?

— В поселок Дружинино. До него километров семьдесят.

— Ой, вы что! — Олень так кругло выкрикнула эти слова, как будто сама превратилась в букву О.

Ада превратилась в букву А. Эйфелева башня или ракета на старте.

— А-а-а! — закричала Ада. — Нам нужна другая Дружинина. На Сортировке!

Водитель тоже превратился в буквы — много гласных, много согласных, много шипящих и целый лес восклицательных знаков! И описаний, и перечислений, и повелительных наклонений. Ну что за дуры, прости господи! Как можно перепутать поселок Дружинино с Дружининской улицей? И что теперь делать? Толстая пассажирка плачет, у чернявенькой губа трясется, как у дочки в дет-

стве. Дома у водителя — такая же дура. Двадцать лет — ума нет. Тоже, поди, ездит куда ни попадая, пока он решает в голове задачу про бензин и хлеб.

Развернулся и молча — на Сортировку. Когда ехали по Бебеля, уже совсем успокоился, даже пошутил, но девчонки не ответили. Боялись. На Дружининской сунули ему пятерку, толстая добавила еще рубль.

А похолодало как, надо же. Август, город в дымке — как будто ему отключают небесное тепло. И рябина уже красная, хлестнула гроздью по стеклу машины — точно кулаком заехала.

Ада и Олень поднимались в Алешину квартиру и хохотали навзрыд, так что им самим было непонятно — они что вообще делают, смеются или все-таки плачут?

Алеша открыл дверь сразу, будто сидел с той стороны на коврик, как голодный кот. Сережа тоже был, но его никто не замечал, поэтому он вскоре исчез. Совсем неинтересный мальчик, даже удивительно, что стал впоследствии знаменитым художником. И еще удивительнее — долгие годы прошли, но тот унижительный вечер Сережа так и носит с собой каждый день, как бумажник и рабочий блокнотик.

— Папа, я хочу твоего блокнотика, — лепечет младший сын. Да, годы прошли, есть младший сын и старший сын, Сережа пойман славой и задушен успехом, но унижительный вечер юности, когда девочки смотрели сквозь него, этот вечер с ним навеки. Мы с тобой, как гусь с водой. Его графика, выставки, награды, книги — все родом из того вечера... Девочка с адским именем и невидящим взглядом. Где она, эта Ада?

Когда Сережа убежал из квартиры, бахнув дверь, Алеша развлекал гостей и был такой еще мальчик, господи, ну просто жалость сплошную вызывал и сочувствие, а не то, что мечтал бы вызвать.

Накрыл стол: скатерть, салфетки, сервелат колесиками, сыр пластинками. Вино в бутылке и еще две газировки «Колокольчик». «Это он, наверное, себе взял», — оглушительно шепнула Олень. Сам Алеша — в рубашке, застегнутой чуть ли не до кадыка. И в брюках со стрелками, и в домашних тапках, как у Адиного папы. В ту пору вообще почти всё было как у кого-то. Застраховаться от совпадений могли разве что бандиты-небожители.

Алеша не знал, о чем говорить с девочками, а Сережа, который знал, но не имел шансов это доказать, к тому времени уже бахнул дверь. Олень и Ада сидели на диване, блестели колготками и вздыхали, как Портос во втором романе. Олень была голодна и таскала колбасу с тарелки — укатывала по колесу. Хоть какое-то занятие.

Уйти сразу — жаль мальчика. Он старался — стол, колбаса, папины тапки, такие трогательно знакомые. И как отсюда добираться до родной Посадской? Можно стрельнуть денег у Алеши, но не сразу же, как приехали.

Олень покончила с колбасой и принялась за сыр.

Ада спросила — из вежливости и от скуки:

— Ты где учишься-то?

Алеша тут же вспыхнул — как газовый костер под чайником, который по-хозяйски зажгла Олень. Горелые спички здесь бросали в формочку для кекса. Оказалось, мальчик учится в архитектурном, мечтает стать дизайнером.

— Это модно, — признала Ада.

Олень доела сыр. Видно было, что хочет еще, но Алеша вместо сыра притащил папку с рисунками и долго не мог развязать шнурочки — детский сад, честное слово.

Каждой маме мальчика однажды приходится вспомнить такую картинку из юности. Смеялась над юношей? Получи пожизненную расплату — страх за своего сына, чтобы его не обидела какая-нибудь бессердечная дрянь. Кто только *воспитывает* этих девок, не для них мы *ростим* сыновей, спасибо, бабуля, что добавила от себя пару слов. Но это мы опять бежим где-то впереди — тогда еще и мысли не было, что Ада или Олень однажды станет мамой. И не было мысли, что одна из них так никогда ею и не станет.

Развязал шнурочки, аллилуйя! Вытаскивает какие-то рисунки. Диагноз: летальный исход наступил вследствие скуки, время смерти 22:35. Однако! Засиделись они. Олень с трудом фокусирует взгляд на рисунках — мыслями она в холодильнике, обнадеживающе пузатом.

Алеша, как всякий мужчина — пусть и начинающий, — не чувствует девичьей скуки, пытается их рисунками — и гости кивают в надежде, что каждый из них в папке последний. Но всякий раз оказывается, что за ним — еще несколько. И ко всем полагаются объяснения. Какой болтливый этот Алеша!

Ада меняет тему — как семафор, хотя все уже видели поезд. Опасное дело!

— А откуда у тебя своя квартира?

Алеша застывает с таким лицом, будто его заело на букве «у». Вообще у него симпатичное лицо, но

верхняя губа немного коротковата и рот всегда полуоткрыт. Олень считает, это мило.

— Мне родители подарили. Они работают в бюро молодежного туризма.

Олень по пояс ушла в холодильник — там была миска с оливье, тушеное мясо с картошечкой, даже компот из ирги! Конечно, можно взять — бабушка еще привезет. Он просто постеснялся предложить.

Ада переспрашивает про бюро. То самое, на Пушкина? Сколько раз она туда заходила, спрашивала путевки — на нее смотрели, выражаясь приличным языком, удивленно.

— А так не делается, — сказал Алеша. Он расстегнул наконец верхнюю пуговицу на своей рубашке. И папочку отбросил, кажется, с досадой. Ада взяла папку, подровняла рисунки, восхищенным взглядом согрела верхний и завязала шнурочки бантом — вуаля!

— Так не делается, надо просто подойти к моему папе, и он поможет. Тебе куда нужно?

— Мне? — смешной вопрос. — В Париж.

— Я бы посоветовал Италию, — сказал Алеша.

Почему Ада решила, что он похож на теленка? Вполне приятная внешность у мальчика, общительный такой.

— Компот очень вкусный, — заявила Олень. — А вообще от ирги губы чернеют, вы знали?

Стоять повыше

Ада пришла в турбюро на рассвете, хотя ей было назначено в девять, «подойти в восемнадцатый кабинет, к Клавдии Трофимовне». Имя ничего хоро-

шего не предвещало, а зря. Когда Ада сжилась со своим местом на лавочке у главного входа и пообщалась с симпатичным бомжом, похожим на дворника, а потом — с прекрасным дворником, ничем не напоминавшим бомжа, стрелки на Адиных часах наконец-то встали под прямым углом. Женщина в светлом плаще, который при известной недоброжелательности мог быть засчитан за медицинский халат, по-хозяйски зазвенела ключами, и Ада сразу поняла, что это — Клавдия Трофимовна, и окликнула ее. Та вначале нахмурилась, но, когда услышала фамилию Алешиного папы, — просияла. Так сияет солнце в древесной листве где-нибудь в Венсенском лесу или в Харитоновском парке. Глаза у Клавдии Трофимовны очень подходили к ее профессии — они были похожи на маленькие голубые глобусы с коричневыми пятнами материков. Ада сразу поняла, что человек с такими глазами сделает для нее всё, что можно. Клавдия Трофимовна велела срочно подавать документы на заграничный паспорт.

— К октябрю успеем, — сказала она, как будто Ада куда-то опаздывала. То есть она, конечно, опаздывала — иногда казалось, что на целую жизнь, но вот так сразу, в октябре? Ей ведь нужно будет остаться в Париже, попросить убежища или уйти к клошарам, детали Ада еще не обдумала. Клошары — конечно, вариант, но Ада не была уверена в том, что сможет приспособиться к ночевкам под мостом и в рваном одеяле. Папа часто напоминал ей, как в детстве она собиралась «всю жизнь прожить пинчессой».

Вышла из восемнадцатого кабинета, в голове — туман, как утром по дороге на Химмаш. Туман пом-

нит, что прежде здесь были болота, и возвращается на прежнее место, как убийца или кочевник. Может, есть какое-то сугубо научное объяснение этого явления, но Аду оно интересовало еще меньше, чем ненаучное. Намного более важный вопрос — где взять денег на поездку? Клавдия Трофимовна объяснила, что автобусный тур Москва–Париж, с остановками в Киеве, Варшаве и Вене, будет стоить дешево (но при этом всё равно дорого для студентки-второкурсницы).

Интересно, сколько людей вокруг нее думают сейчас о том же самом — где раздобыть денег?

«Да все, наверное», — решила Ада. На лестнице Главпочтамта стояли несколько человек, и Ада вдруг вспомнила историю, которую ей рассказывала мама. В юности она ждала на этой лестнице папу, он где-то задержался, а день был морозный, зимний. И вот стоит она на ступеньках, приплясывает, чтобы согреться, как вдруг какой-то прохожий тип ей заявляет:

— Вы, девушка, могли бы стоять повыше.

Мама не поняла, о чем он, и как раз в этот момент явился папа, а прохожий тут же исчез. Потом маме кто-то объяснил, что на лестнице Главпочтамта снимали проституток, и чем выше стояла девушка, тем больше она стоила. То есть тот прохожий отвесил маме пусть и неприятный, но всё же комплимент! Еще три года назад мама рассказывала об этом с возмущением, но сейчас в ее рассказе звучит скорее гордость. Отныне профессия путаны окутана героическим флером, и вся ее подлая сущность надежно скрыта. Девяностые: девочки — в путаны, мальчики — в бандиты, родители — в петлю. Однокурсница Олени, та самая Эль-

Маша (жительница микрорайона Эльмаш, в честь которого и получила свое прозвище), однажды поехала за компанию с подружкой «на вызов». Возможно, Эль-Маше просто хотелось примерить на себя эту роль, хотя лучше бы она примерила что-нибудь приличное в коммерческом магазине. Рассказывала Эль-Маша об этой поездке вдохновенно – Ада считала, врет. У Эль-Маши был прыщ на подбородке – вечный, как огонь или студент, в зависимости от того, какой пример покажется здесь более уместным. И с этим пламенеющим прыщом, в длинной клетчатой юбке, в вязаной кофте с деревянными палочками вместо пуговиц – в проститутки?

И вообще, с какой стати Ада так долго думает о проститутках? Почтамт давно скрылся из виду, Ада дошла до Оперного, который любила с детства – он был как сказочный замок, в котором вполне мог жить какой-нибудь французский граф.

У театра тогда стояли скамейки, но их нужно было успеть занять. Бывает, идешь к пустой скамейке быстрым шагом, как вдруг тебя невежливо обгоняют и плюхаются.

Они договорились здесь встретиться с Оленью. Может, еще успеют ко второй паре? Олень, верный друг, сидит на скамейке и так воинственно поглядывает по сторонам, что сразу ясно – никого не пустит даже на краешек. С одной стороны – сумка, с другой – пакет, да и сама Олень – девушка корпулентная. Сильно поправилась в последнее время, но Ада ей об этом, конечно, не скажет. Только если Олень сама спросит.

– Адка! Ну что, едешь во Францию?

В те годы было не принято уточнять — «в Париж», «в Лондон», «в Милан». Называли всю страну — уважительно. Как будто по имени-отчеству.

Вот и еще одно хорошее качество Олени — она не завидовала Аде. То есть, конечно, завидовала, но лишь по пустякам, самым преглупым, навроде умения свистеть. Это Аду папа научил, еще в детстве, у них был такой семейный свист, которым они друг друга подзывали в толпе. Как птички! — завидовала Олень.

А ведь она тоже могла поехать за границу, попросить у Алеши помощи. Но тогда, на Дружининской, было совершенно ясно, что это предложение только на одну персону.

— Поеду, если деньги найду, — сказала Ада.

Олень задумалась. Когда она о чем-то размышляла, ей нужно было касаться Ады — она и так-то без конца ее оглаживала, снимала ниточки с пальто... Спасибо, хоть пуговицы не крутила.

Наконец решилась:

— Я могу тебя познакомить с одним человеком, но он, кажется, из этих.

Ада расстроилась. Нет ничего хуже, когда подруга укрывает от тебя какого-то человека, да еще из этих. Она так расстроилась, что даже отвернулась к оперному театру и начала подсчитывать колонны рядом с фигурами и вазоны, похожие на погребальные урны, какими Ада их себе представляла.

— Да я с ним только вчера познакомилась! Не успела рассказать.

По семь колонн — с каждой стороны, вазонов больше, но если только вчера познакомилась, тогда ладно.

Олень закинула ногу на ногу, и старичок, который шел мимо, резко встал на месте, будто услышал команду. Бедро Олени — в ямочках, нежные.

— Что-то часто ко мне в последнее время старики пристают, — расстроилась Олень.

— Проходите, не задерживайтесь! — крикнула Ада.

Старичок исчез, но настроение у Олени было испорчено. Она еще долго капризничала, прежде чем рассказать наконец свою историю.

О, эти вчерашние истории! Всегда становятся лучше с каждым часом.

Началось с того, что Олень была вынуждена пойти вчера на концерт с Эль-Машей.

Ада нахмурилась. Кромешная Ада!

Олень тем временем поменяла ноги с липким звуком, и очередной старец лет пятидесяти, если не больше, застыл, как турист перед «Джокондой». Почти минуту простоял.

— С Эль-Машей! — кипятилась Ада. — Как можно, так упасть?

— У нее были проходки на концерт, а у тебя — мамин день рожденья. Ну ладно тебе, Адка, не такая она и плохая. О тебе говорит только в превосходных степенях.

— Правда?

— А когда я тебе врала? — Олень припустила скороговоркой: — Концерт был так себе, мы ушли еще до «Чайфов». Эль-Маша уехала домой, а я хотела дойти пешком из «Молодежки». Где-то рядом с кладбищем вдруг останавливается машина. Иномарка. Цвет — «снежная королева».

Уму непостижимо, как удерживались у Олени в голове все эти цвета машин, тем более в темноте.

— Открывается дверь, — продолжался рассказ, — а там сидит такая ряха! Голова размером с телевизор, и зубы сверкают, Адка, я так испугалась! А он мне говорит: «Не бойтесь, девушка, я вашу красоту доведу куда нужно». А я такая: «Спасибо, я живу вон там» — и показала на те дома, на Репина. Он такой: «В бараке, что ли?» А они едут медленно, вровень с моим шагом, водитель молчит, как немой. Этот такой: «Я давно заметил, что самые красивые девушки живут в самых страшных домах». Я ему говорю: «У вас страсть к обобщениям». А он такой: «У меня, может, к вам страсть. Вы мне обязательно позвоните завтра. Меня зовут Евгений, для вас просто Женечка». И дал визитку — вот, смотри.

Визитка черная, и золотые буквы с тиснением — Евгений Петрович Муромский. После такой истории им было даже не до Парижа — Ада, как верный друг, убрала свою мечту на время с глаз долой. Олень хотела позвонить Женечке, но не решалась. Ада собрала силы для моральной поддержки и нашла в кармане две копейки одной монетой.

— А ты уверена, что нужно ему звонить?

— Откуда я знаю, — рассердилась Олень. — Но, мне кажется, я буду жалеть, если этого не сделаю.

И они позвонили — из автомата у Центрального гастронома. Олень хихикала и краснела, Ада «работала» с возмущенной очередью желавших позвонить. Ну о чем бы стали говорить по телефону эти люди из очереди? Ясно, что о всякой ерунде. То ли дело Олень: с красным лицом усердно ковала свою судьбу, чтобы ни о чем не жалеть впоследствии. Она вывалилась из будки мокрая

и дымящаяся, как из парной. Очередь роптала умеренно — у всех была когда-то юность, и некоторые даже об этом помнили.

Оказалось, Женечка зовет их в гости, прямо сейчас! Придется прогулять и третью пару... У Женечки был офис в центре, недалеко от ресторана «Океан». Олень припудрилась, а потом долго махала руками, чтобы высохли темные пятна под мышками — но они и не думали.

— Ты просто руки не поднимай, — посоветовала Ада.

Встретил охранник, вел узкими коридорами — они петляли, как переулки. И все заставлены коробками, ящиками, тюками. Из одного тюка просыпалось белое — Ада решила, сахар. Шли на свет, как в туннеле — в далекую комнату, где уже поднимался из кресла, подобрав брюхо, ражий дед в пиджаке. Сам красный, волосы — желтые, и зубы торчат, как лопасти мельницы. Ада почувствовала страх в животе — сейчас он начнет расходиться оттуда по всему телу, как яд. На Олень вообще было страшно смотреть — тряслась, как мамин холодец, когда несешь его в формочках на балкон.

— Девчонки! — ликовал Женечка. — Не, я честно, очень рад. Сейчас по коньяку и «Баунти», да?

Целая гора синих «Баунти» лежала в эмалированном тазу, почему-то это особенно поразило Аду и запомнилось чуть ли не на всю жизнь. Женечка в самом деле был нешуточно богат.

«Интересно, он был в Париже?» — подумала Ада. И шепнула Олени на ухо: «Не бойся!»

Коньяк, как всегда, пах потом и клопами, Ада и Олень глотали его, как лекарство. С симпатией

вспоминали Алешу с улицы Дружининской — было бы неплохо еще раз посмотреть его работы. Можно даже всю папку, от первого до последнего рисунка.

А Женечка тем временем рассказывал, каким одиноким чувствует себя рядовой солдат бизнеса в наше непростое время. Говорил, кстати, неплохо, хотя и вправду питал слабость к фигуре обобщения.

— Когда-нибудь о нашем времени будут писать книги! — пророчествовал Женечка.

— Вот я, например, пишу статьи, — вмешалась Олень.

— Считаю, уже у меня работаешь. А ты, черненькая? Тоже пишешь?

— И пишу, и читаю.

Женечка захохотал, как выпь, о хохоте которой, впрочем, у Ады было чисто умозрительное представление. Возможно, это сравнение было навеяно словом «выпить» — Женечка им изрядно злоупотреблял и тем вечером, и по жизни. Когда он хохотал, то становился совсем уж неприлично багровым, изо рта летели веселые слюнные брызги, напоминавшие фонтан «Каменный цветок» в погожий летний денек.

— Значит, тоже будешь работать. Денег дам. И шоколадок — сколько съедите за день, все ваши.

Олень так резко повернулась, что хлестнула Аду волосами по лицу — как лошадь хвостом.

— А вы бывали в Париже? — осмелела Ада.

— Неоднократно, — ответил Женечка. И налил всем еще по рюмке.

Женщины и деньги

Есть города-мужчины — Киев, Лондон, Мадрид.

А есть женщины — Варшава, Рига, Вена.

Париж, разумеется, мужчина.

Как можно было назвать его женщиной? Это Ада хотела бы спросить у Андре Бретона, творчеством которого была не сильно, но всё же увлечена на первом курсе. Треугольная площадь Дофина — не оправдание и не объяснение, ведь женщина — не только треугольник.

Олень заумных разговоров не жаловала. Ей в последние дни приходилось туго: с утра — учеба, потом — работа на Женечку, да и статьи никто не отменял. Контора Женечки торговала мукой, сахаром и стиральным порошком — всё белое и сыпучее, но законное. Вечером Олень сменяла Ада, журналистка садилась за соседний стол строчить свои заметки. И расшифровывать тексты.

— Кто у вас тут так орет? — ворчал Женечка.

Олень выключала диктофон, извинялась, но как только Женечка скрывался из виду, снова жала кнопку *play*.

Женечка оказался безобидным, если не смотреть на него — просто душка. Ада и Олень сидели на телефоне, отправляли факсы, общались с покупателями. Женечка пробовал приставать вначале к Олени, потом к Аде — но делал он это довольно вяло, как будто сам себя проверял на пригодность, не более того. К тому же у него была жена — она всегда ходила в мохеровых штанах сиреневого цвета и в такой же точно мохнатой куртке с капюшоном. Брови у нее были как у матрешки — нарисованные дуги.

Ни дать ни взять сиреневый медведь, эта жена вваливалась в контору «с проверочкой» каждый вечер — и так зыркала на девчонок, что они враз отучились улыбаться. Ада, впрочем, и прежде не умела. Она была, наверное, единственным человеком в мире, которого не красила улыбка. Когда Ада улыбалась, то становилась похожей на монголку — глаза исчезали с лица.

А сегодня им было и вовсе не до улыбок. Олень сочиняла эссе на тему «За что я люблю свой город».

— Я его ненавижу, — призналась Олень.

Ада придумала первую фразу: «Города любить проще, чем людей».

— Собак — еще проще, — ворчала Олень. Она была сегодня вредная, как в первый день цикла.

— Ну напиши, что любишь наш город за то, что у него богатая история. Что именно у нас убили царя.

— Да, за это я его особенно-особенно! Адка, хочешь помочь — не мешай!

Ада обиделась. Она ничем не провинилась перед Оленью. И вообще зря она так старается, даже ручку грызет. Всё равно ничего хорошего не напишет.

И Ада тоже — не напишет. Чем восхищаться в Екатеринбурге, за что его любить? Плотинка, десяток-другой исторических домов — снизу каменные, сверху деревянные. Рок-клуб. Дендрарий. Люди — злые, как в Эстонии (про злых эстонцев Ада слышала с детства от тетки, которая была первым браком в Тапе). А самое главное — это наш родной город. Мы обязаны его любить, как маму и папу. «Но ведь меня никто не спросил, где бы я хотела появиться на свет». И вот усталый служа-

ка, неизвестный ангельский чин, шлепнул отметку в карте судьбы — «Свердловск». Год — 1971. Ада надеялась, что хотя бы место смерти ей будет назначено другое. Что может быть скучнее, чем родиться и умереть в одном городе? Если так, всю жизнь будешь ходить мимо своей будущей могилы.

Между тем в Париже столько прекрасных кладбищ. Монпарнас. Пасси. Пер-Лашез. Монмартр. Олень (мы уже опять впереди, перескочили через двадцать лет) как-то была на Пер-Лашез со своим старшим сыном и восхищалась кладбищем — посмотри, зайка, как у них всё здесь красиво! Медью звенела в ее словах фальшивая нота, подхваченная в путеводителе, как вирусная инфекция.

— Я тебя здесь когда-нибудь похороню, — пообещал зайка. Олень расхохоталась. Начала присматривать себе местечко и дизайн надгробия. Они вышли с кладбища последними — когда сторожа били в колокол и кричали, что семагерь закрывается.

— Начинать копить деньги, — посоветовала Олень сыну, чтобы поставить точку в похоронной теме.

Писать о Париже — проще простого, приятней приятного. Но Олень сочиняет эссе про Екатеринбург, потому что завтра его нужно сдать... Тут Женечкина супруга вваливается в комнату, как сиреневая чума. Два модных цвета нового сезона — сиреневый и горчичный, таков вердикт уличной моды. Сегодня чума в новых мушкетерских сапогах-ботфортах — октябрь уж наступил.

«Октябрь! — вспоминает Ада. — Паспорт, наверное, готов!»

Она звонит Клавдии Трофимовне в ближайший рабочий день, и та возмущается: где носит Аду?

Деньги нужно сдать в течение трех дней. «В течение» Клавдия Трофимовна произносит так, что нет никаких сомнений — на письме было бы «в течении». Но Ада готова простить ей и не такую ошибку, хотя обычно всех кругом поправляет, так что несчастная Эль-Маша при ней вообще боится рот раскрыть.

Но где взять деньги в течение трех дней? Скорее всего, эти дни просто утекут по течению, и Ада не сможет выловить из них ни одного лишнего доллара.

Доллар — новая валюта России, к нему все быстро привыкли, хотя некоторые до сих пор боятся подделок.

— Ах, тебе не нравится глаз президента? — кричала однажды при Аде красивая восточная женщина, когда с ней стал спорить уличный меняла. — У этого президента глаз красивее, чем у твоей жены, понял?

Меняла понял, хотя жены у него вообще не было.

За время работы на Женечку Ада скопила четверть нужной суммы.

Париж уходил за горизонт прямо на глазах.

Ада два дня думала, а на третий вошла в кабинет к Женечке, где он сидел, почти не видный за коробками и мешками. И сказала:

— Евгений Петрович, мне нужна ваша помощь. Клянусь, я всё отдам!

И взметнула руку в пионерском салюте.

— Прямо так и сказала? — ужасалась Олень.

Ада раскладывала на столе новенькие доллары — как будто гадала на короля. Точнее, на президента. Сейчас она выйдет из конторы, пройдет один квартал и купит себе Париж.

У Женечки сегодня были гости, один — с гитарой. Пел приятным, хотя и несколько шатким тенором песни, которые теперь стали называться шансоном.

Ада и Олень ушли на словах: «Зойка, любовь мою ты продала!»

На подступах

Москва, Киев, Варшава и Вена — мужчина и три женщины. Всего лишь четыре ступени на пути к Парижу, хотя Ада ни разу не была за границей, и Варшава с Веной ее все-таки отчасти интересовали. Тем более у нее, как у всех хорошеньких русских женщин, была польская прабабушка. «Поляки — спесивые», — считала мама. (Прабабушка числилась по папиной линии.)

Ада начала сборы за неделю до отъезда — одалживала вещи, чтобы не опозориться в Париже. Олень пожертвовала черную сумку из кожаных лоскутов. Эль-Маша принесла газовый шарфик, Ада, глядя на него, вспомнила соседку сверху: она ходила в таком же, и уши неприятно просвечивали сквозь ткань. Мама разрешила взять «вареные» джинсы, которые привезла из Китая себе. Велела обращаться аккуратно. Папа... Папа дал триста долларов и попросил:

— Возвращайся.

Для университета сделали больничный, Женечка просто махнул рукой: вернешься — звони! Даже слегка задело, как легко ее все отпустили.

Олень приехала на вокзал с тем самым Алешей. Смотреть на них было не очень приятно — вокруг

плавало облачко общей тайны. Словечки, перегляды, хихиканья. Алеша по первой же просьбе Олени побежал за мороженым, хотя день был студеный. Свердловский вокзал, знакомый с детства — запахи сажи, пирожков, чужого страха опоздать. Стены заклеены круглыми бумажками от мороженок — и строгий обиженный голос объясняет, что «пассажирский поезд номер такой-то до Москвы отправляется с первой платформы. Нумерация вагонов начинается с головы состава». Ада смотрела, как Алеша обнимает Олень, и сама собой возмущалась — она ведь в Париж едет! Зачем грустить? Вот по этому, что ли, грустить — серому небу, серым домам, серым людям?

Ада не вернется. Возможно, она видит Олень в последний раз. И маму с папой сегодня утром тоже видела в последний раз перед долгой разлукой. Особенно тяжело расставаться с папой. Но он ее поймет. Потом она освоится — и всем пришлет приглашение. Кроме разве что Эль-Маши.

Толстая проводница кивнула — поехали!

Ада обняла Олень. Алеша чмокнул ее в щеку, от него приятно пахло — как от чистого, домашнего щенка.

В вагоне Ада не сразу нашла свое место, и, когда выглянула в окно, — друзей на платформе уже не было.

Она взобралась на верхнюю полку, решила, что будет спать до Москвы.

На дне души саднило.

Ада представляла себе, как Олень с Алешей сядутся в двадцать первый автобус. Олень, как всегда, встанет туда, где «гармошка» и колесо.

А завтра — концерт одной знакомой группы.

А вдруг она, Ада, так и проживет всю жизнь в одиночестве?

Ну и пусть.

Главное, чтобы в Париже.

Дорожная болезнь

Москва сразу же невзлюбила Аду.

Ревнивая баба, у которой лучшие годы позади, — вот какой Ада увидела Москву в тот свой приезд.

Как только вышла на перрон, кто-то из встречающих отдал ей ногу, потом грязно обругали, будто облили с ног до головы помоями. Ада поняла: все отношения с Москвой надо свести к минимуму. Лучше — к нулю, но не выйдем.

Встреча с группой — на другом вокзале, туда и поехать. Не дать столице ни малейшего шанса.

Сумка у Ады была небольшая, даже таксисты не реагировали. Метро под боком, точнее — под землей.

Пока ехала — заболела.

Ада всегда с точностью знала, когда именно к ней пристала инфекция.

Сегодня она приняла облик дамы печального возраста — такого, что еще один шаг, и свалится в старость, как в пропасть. Но пока держится — старается, правда, лишний раз не улыбаться, чтобы лицо не пошло морщинами. Они сидели рядом в метро, Ада читала книжку, чтобы скоротать дорогу — а дама-инфекция косила глаза, чтобы читать вместе с ней. И даже цокала возмущенно языком, когда Ада слишком быстро перелистывала страни-

цы. Книжка была — «Мадам Бовари». Инфекция очень хотела узнать, чем окончится прогулка Эммы с Леоном в экипаже, — и, когда Ада пошла к выходу, осталась очень недовольна. Вот эта дама и успела передать Аде «воздушно-капельным путем» какую-то заразу. Ада вдохнула ее через нос — и вуаля. Еще не дождалась группы на вокзале, а уже еле-еле на ногах держалась.

Каким-то чудом не ссадили по дороге.

Она провела всю дорогу до Киева, лежа на задних сиденьях автобуса. Две сердобольные бабоньки откуда-то из Уфы отпаивали ее страшной травой, заваренной в бутылке из-под кефира. Прочее население автобуса требовало высадить заразную девушку — но бабоньки Аду отстояли. В Киеве болезнь отступила — ушла в прошлое вместе с Оленью, Алешей, Эль-Машей и всем Екатеринбургом. Ада была еще слабенькой, но вместе со всеми посещала экскурсии. Киев — город, где сумело остановиться время. В Варшаве — городе-вдове — серо и грустно, как будто это Москва. В Вене их угощали глинтвейном — и у Ады выскользнула из рук чашка, обожгло коленку и на руку тоже попало. Вена — дамочка с характером.

— Ну что за фефёла, — ругала себя Ада мамиными словами да с папиными интонациями, пока уфимские бабоньки мазали ей коленку вонючей мазью.

В благодарность Ада пыталась подарить бабонькам книжку «Мадам Бовари», но они не взяли. Им эта мадам была без надобности (серия «Классики и современники», мягкий переплет).

Они подъезжали.

— А так не скажешь, что Париж, — разочарованно тянули в автобусе. — Тоже грязненько...

Ада впечаталась лицом в стекло — опостылевшее за эти десять дней окно в Европу. Сердце билось в животе и голове разом.

Дома, каштаны, бульвары. Сухие листья на ступеньках метро. Кто-то приметил кончик Башни — и взвизгнул, но Ада сидела с другой стороны. Видела людей, собак, голубей — все, как один, парижане.

У Северного вокзала автобус зашипел, открывая дверь. Впорхнула встречающая сторона.

Расселение в гостинице «Жерандо» — на Монмартре.

Отличная история

Встречающая сторона — женского пола и плавающего возраста. Характер усложненный, зовут Татиана. Бабоньки начали: Тань да Тань, но она их быстро охолонула — меня зовут Татиана. Как в опере, помните: «Ви роза, ви роза, ви роза белль Татиана!» Ну если в опере, тогда конечно.

Ада решила, что Татиана — из третьей волны эмигрантов. Вынесло ее в Париж на этой волне, как Венеру. Вся в черном, по-русски говорит с акцентом, когда не забывает, конечно. На туристов смотрит с вежливым отвращением.

Автобус вытряс их рядом с гостиницей — так вытряхивают крошки из карманов.

Ада ступила на парижскую землю. Закачалась, как пьяная.

— Горе луковое! — крикнула одна из уфимских. Ада так и не запомнила, как из них кого зовут. Одну, кажется, Роза, но вот какую именно? — Ты хоть здесь не падай!

Аду поселили, как и раньше, с Еленой из Омска. Начинку автобуса собирали, как парламент, со всей страны. Чуть ли не каждый город прислал депутата. Вот только Москву и Питер никто не представлял.

Елена оправдывала свое имя — она была прекрасна, если не придирается к тому, что во рту у нее имелось два золотых зуба. В остальном — изумительно хороша. Ада рядом с такими женщинами чувствовала себя дворняжкой. Елена — высокая, статная, волосы густые, как парик. Любимое слово — «кошмарище». Елена больше всех требовала, чтобы больную Аду сняли с маршрута, поэтому отношения их можно было описать как ненависть под маской равнодушия. Маска держалась плохо, ненавистью прыскало во все стороны. К тому же Елена оказалась неряхой — в первый же вечер Ада обнаружила в ванной использованную прокладку, запросто брошенную на пол. Попросила убрать за собой, Елена даже не шевельнулась. Убрала сама. Какое-то время в школе Ада подумывала стать врачом и по совету мамы боролась с чувством брезгливости — потом желание изучать медицину прошло, но и чувство брезгливости не вернулось. Ада могла стерпеть чужую массажную расческу с облачком волос легче, нежели слово «расческа», которое произносят с несуществующей «т».

В большом и радостном Париже
Мне снятся травы, облака...

В ванной Ада, забывшись, вслух читала стихи — и получила от Елены кулаком в дверь. Стихи мешали Елене изучать газету «СПИД-Инфо».

Был поздний вечер. В ресторане дали ужин — ничего особенного, но всё горячее. «И жидкое», — обрадовалась Роза, когда принесли суп.

Перед сном Елена вдруг начала рассказывать Аде о своей несчастной судьбе — ее предал муж, обидела мать, ограбил любовник и уволил начальник. Ада слушала, но сочувствовать не могла — видела в мыслях грязную прокладку на полу.

Проснулась рано утром. Елена музыкально по-свистывала во сне.

Может, это было даже еще и не утро, а ночь. Часы встали, не проверишь. Дома можно набрать на телефоне «100», а здесь — вдруг попадешь куда-нибудь в жандармерию.

За окном был Париж, а ведь Ада его так пока что и не видела. Пока ехали, мелькал за окном — но это были всё те же обещания. Это мог быть просто город — вообще.

На первое свидание с Парижем следовало идти при полном параде. Ада приняла душ, вымыла голову, тщательно убрала за собой ванну. Косметичка Елены была открыта — как пасть крокодила, из нее торчала тушь «Ланком». Ада подумала-подумала — и решила не брезговать крокодильим предложением. Да, это вам не «Ленинградская», отличное качество! Ада докрасила ресницы и с сожалением вернула флакончик на место. Наверняка в косметичке таилось множество других сокровищ, но помада или крем — это уж слишком личное. Спи спокойно, дорогой крокодил.

Побоялась включить фен — вдруг Елена проснется. Волосы сохли ужасно медленно, но, кажется, на улице не холодно, а когда волосы Ады сохнут

на ходу, они у нее красиво выются. Решено — так и пойдет.

Влезла в свое красное пальто — всё тот же свингер, будь он неладен. Зашнуровала ботинки. И открыла дверь в коридор.

Там было тихо, но светло. Узкий коридор, лестница — Ада спускалась пешком, ступени скрипели, как у бабушки на даче.

«Если меня сейчас спросят, где я, Париж будет в списке последним», — расстроилась Ада. Срочно требовалось подтверждение — силуэт башни или хотя бы статуя зуава на мосту. Отель на Монмартре — это значит, что рядом Сакре-Кёр и площадь Тертр, парижский вариант сквера на площади 1905 года. Там сидят художники, уговаривают прохожих на портретик — и тут же продают плоды своего творчества. Как правило, безнадежные.

В холле, где они вчера стояли в очереди за ключами от комнат, было темно.

На диване спал ночной портье — чернокожий молодец. Приподнял голову и сонно махнул рукой:
— Дор, дор! Ферме!

Дверь действительно была «фарм» — на задвижку и замок. Луна сжалась над глупой Адой, осветила часы на стене — ровно четыре.

Ада так расстроилась!

Интересно, что подумал портье? Может, решил, что она решила выйти на заработки — с утра пораньше? Скорее всего, ничего не успел подумать — вон как нахрапывает.

Пришлось возвращаться в комнату и ждать, когда в Париже рассветет.

Как говорит мама — неприятно, конечно, зато из этого выйдет отличная история.

В большом и радостном...

Кто только не описывал утро в Париже — и сам этот Париж!

Ада выходила из гостиницы зажмурившись — сейчас она увидит город, в который влюблена столько лет! Это была любовь по переписке, точнее, по чтению. Похоже на ожидание музыкального парада — когда уже слышишь звуки за углом, но еще не видишь музыкантов. Гадаешь, какие они будут. Музыка несется впереди — она всё громче с каждым шагом, но, пока оркестр не виден, можно представить его каким угодно.

Куда смотреть первым делом? В небо, исчерканное самолетами?

Ада открыла глаза — и упала в Париж, как будто сиганула с вышки. При этом она еще и просто упала, запнувшись. Напугала прохожего в шарфике — ранняя пташка, он летел за круассанами в булочную. Волновался: кричал «са ва?» и отряхивал от пыли красный свингер. Ада уговорила пташку лететь дальше, она — в порядке.

Она — в Париже!

Серые дома сплошной стеной, на крышах — армия рыжих дымоходов. Голубь курлычет — парижанин! Старушка в плюшевой шубе не по сезону — парижанка!

Ада спросила у старушки, который час. Старушка долго высвобождала запястье из плюшевого манжета, потом ответила — семь ровно.

Полтора часа до встречи с группой за завтраком.

Город смеялся, просыпаясь, и уводил Аду прочь от гостиницы — она думала выйти к холму и даже

видела в просвете улиц белые купола Сакре-Кёр. Купола словно колокола — хотелось взять их за «короны» и позвенеть в каждый по очереди.

Как странно думать, что где-то в мире есть город Екатеринбург. Где-то есть мама, папа, Олень, Женечка...

Ада встала в парижскую собачью какашку. А через пять минут голубь уронил ей на плечо теплую каплю. Она не сердилась ни на собаку, ни на голубя — в сумке был носовой платок, подошву легко почистить о поребрик.

Настоящий Париж открывался Аде — как будто она перелистывала большую книгу с картинками.

Страница за страницей, улица за улицей.

Кариатиды в платьях из пыли держат на плечах балконы (одна еще как будто бы нюхала у себя подмышку — Олень так часто делала, думала, что никто не замечает).

Платаны увешаны шариками (Олень важно сказала бы — «соплодиями», она любила ботанику), как новогодние елки, а кора у них гладкая, с «военным» рисунком. Красные ромбики-вывески “*Tabac*”. Прозрачные пакеты вместо мусорных ящиков — наследие терроризма: «Мы должны видеть весь ваш мусор». Женщина в черном пальто, с белой собачкой-дворняжкой — а ведет ее гордо, как дорогую таксу. Аромат духов — от женщины или от собачки? — накрывает Аду с головой, как штора в летний день, в открытое окно. Пахнет перезрелой розой, Олень такую выбросила бы — она терпеть не может увядшие цветы.

Будь здесь Олень — они бы вместе ахали, по очереди толкали друг друга локтями — смотри, какая попа! Можно положить что-нибудь сзади — и оно не упадет. Хозяйка попы — африканка в тюрбане — улыбнулась Аде так широко и белозубо, как будто открылся сам собой старинный черный рояль с белоснежными клавишами.

Ада читала вслух имена улиц — прекрасная музыка! Рошешуар. Кондорсэ. Мобеж. Лафайет. Названия — всегда отдельное наслаждение. Этим Ада похожа на маму. Мама тоже любит названия, имена, слова — и если запоминает незнакомый пейзаж, так только по ним, а не по тому, что видит. Словесные люди верят написанному, и только потом — глазам своим. Вначале было — слово. Поэтому, жаловалась мама, ей так трудно приходилось в Пекине — китайский язык ничего не сообщал ей, письменность тоже шла по разряду «изобразительных искусств». Один только иероглиф — «человек» — мама смогла определить, потому что увидела в нем бегущие ноги.

Ада снова спросила время у прохожего — оказалось, что ей самой давно пора превращаться в бегущие ноги. Мобеж, Кондорсе, Рошешуар.

Столкнулась с Еленой в дверях комнаты. Елена была полностью одета, накрашена, и пахло от нее духами с арбузным запахом — они вошли в моду минувшей весной. Резкая, почти неприятная свежесть. Олень в буквальном смысле слова тошнило от таких ароматов.

— Ты где была? — ревниво спросила Елена.

Как будто боялась, что Ада успеет откусить от Парижа больше, чем положено.

Каждому свой Париж

Татиана вывела группу на улицу, придирчиво оглядела каждого — будто бы детей вела на праздник. Подняла вверх зонтик — черно-белый, точно жезл регулировщика. Роза и Лиля — два башкирских цветочка, Ада наконец запомнила, кто есть кто, — хихикали, как первоклассницы. Елена плыла по тротуару нарядным кораблем — и один старенький дедушка в очках так загляделся на нее, что даже споткнулся на ровном месте. Спас его столбик — дедушка вовремя ухватился рукой. Эти спасительные столбики, ограждающие тротуары, стоят по всему Парижу. Крутлоголовые, как пешки. Ада из всех шахматных фигур особенно любила пешек и коней. А вот кто ей всегда не нравился — так это король. Они иногда играли в шахматы с Оленью, притом что обе почти не умели это делать. Чаще всего у Ады оставался на доске одинокий король (а король-то голый!), но Олень не могла поставить мат, и король скакал по клеткам, как блоха.

Из одной грузовой машины выгружали мясо — чистейшие туши, с таких можно портреты писать. Из другой — выносили голые манекены. Татиана подгоняла свое зазевавшееся стадо, как умелый пастух, прокладывала дорогу к метро. Станция “Anvers”. Внутри пахнет, как в любом метро мира. Татиана выстроила туристов на перроне, подальше от скамейки, где спал клошар.

— Сейчас я научу вас пользоваться парижским метро, — торжественно сказала она.

Оказалось, что двери в вагоны здесь просто так не откроются — нужно жать на квадратную кнопку

или дергать кверху рычаг. Все внимательно слушали, только Ада отошла в сторону — посмотреть карту Парижа, разобранного на разноцветные метролинии. К ней тут же направилась японка и на хромом французском спросила, как проехать до музея Ключи.

— Не знаю, — смутилась Ада. — Я здесь первый день.

Татиана услышала Адин французский — и нахмурилась, да так, что на лбу появилась раздраженная морщина буквой V. По мнению Татианы, никто из группы не имел права знать французский. Тем не менее она назвала нужную станцию метро — и счастливая японка благодарила, кланяясь.

Пришел поезд, Елена пробовала открыть рычаг — и чуть не сломала ноготь. Ногти у нее были длинные и острые, а с внутренней стороны — грязные, это Ада заметила еще в автобусе.

«Я в Париже, — напомнила себе Ада. — Нечего думать о красе ногтей».

Они доехали до Ситэ, вышли к цветочному рынку, и Париж открылся каждому на свой лад. Все смотрели на одно и то же — а видели разное.

Мятный Шарлемань с раздвоенной бородой, с ним — Роланд и Оливье. Химера на башне Нотр-Дам любит городом, а заодно дразнится, высывает язык: «Я в Париже, а ты нет, бе-бе-бе». Елена позирует, стоя спиной к алтарю. «Сними меня так. И еще вот здесь. И тут». Лиля безотказно жмет на кнопку фотоаппарата. У колокола — легкомысленное имя Эмманюэль. Людмила Герасимовна — почетный пенсионер из Пензы — ставит свечку перед статуей святого Дени. Этот Сен-Дени долго шел после казни со своей головой в руках. Люд-

мила Герасимовна считает встречу с его статуей счастливым знаком — у нее старший внук Денис, совсем, к сожалению, непутевый. Свечка — за его благополучие и чтобы всё управилось к Славе Божией. Наверное, это не страшно, что они православные, а *храм разума* — католический, надо было спросить у бабушки в Пензе. Людмила Герасимовна гонит от себя прочь неуместные для верующего человека мысли — когда Татиана рассказывала им про святого Дени, который шесть километров прошагал с отсеченной головой в руках, ей некстати вспомнились куриные казни детства. Когда курице отрубает голову, она какое-то время действительно бежит по двору — одна тушка, без головы. Даже самых добрых детей это зрелище завораживало. Прости, Господи.

Статуя Людовика Тринадцатого с короной в руках вечно благодарит небо и лично — Господа Бога за то, что подарил ему наследника, Четырнадцатого. Аркбутаны, неф, трансепт и хоры. Гигантский щит витражной розы...

Татиана поглядывает на часики: пора, товарищи! Ада на ходу проводит рукой по стене собора — сколько же ты всего повидал, миленький! Как не хочется с тобой расставаться... Но Татиана гонит свою отару дальше — полюбуйтесь Сен-Шапель и Консьержері — к сожалению, посещение этих памятников французской архитектуры не включено в программу данного тура.

Любовались на ходу, на бегу, Елена, впрочем, успела приобнять Татиану на фоне Дворца Правосудия — и потребовать у прохожей парижанки, чтобы сняла их на память. Парижанка была не в восторге, явно спешила — и за ней, как заметила Ада,

шли двое мужчин с портфелями. Но Елена уже улыбалась в камеру, сверкали золотые зубы — и женщине пришлось нажать на кнопку фотоаппарата. Почему нельзя было попросить кого-то из группы, Ада так и не поняла. Парижанка стремительно вернула Елене камеру и бежала прочь с такой скоростью, что ее алый шарф реял на ветру, как знамя.

— Это одна очень известный адвокат, — растерянно сказала Татяана. Она часто делала ошибки в русском, и Аде мучительно хотелось поправить ее (так, бывает, хочется натянуть сползающий чулок).

Дальше они где-то обедали — быстро и невкусно, а все последующие события Ада уже не смогла бы в точности расписать по часам и минутам. Полтора дня рассыпались на сотни мелких подробностей, деталей и эпизодов, восстановить хронологию этой мозаики было бы невысказимо, да и зачем?

Вот возмущается Елена — она вовсе не собирается тратить свое время в Париже на посещение домов для престарелых и инвалидов, как сказано в программе. Но и разобравшись, не стыдится: она не обязана знать, что Дом Инвалидов — музей, где в шести гробах лежит Наполеон.

Вот Роза и Лиля позируют в кафе на Монмартре — с чужими кофейными чашками, еще не убранными со столика.

Вот раздаются утробные звуки органа в церкви Сен-Сюльпис, такой нелепой с этими ее разными башнями. Органист играет гамму — она идет, как лестница, вверх, и каждый звук в ней — ступенька. Ада играла гаммы в подготовительном классе музыкальной школы при Доме офицеров (мама важно уточняла: «Окружном»). Бегала с тряпичным мешочком на занятия — мыслями в Париже.

В большом и радостном.

Вот Триумфальная арка, с нее видно, что город аккуратно нарезан треугольниками, как торт — острым ножом.

Вот еще открытие — какой же маленький город! Можно за день обойти, и не устанешь.

Вот башня Монпарнас — как будто циклопический телевизионный пульт торчит посреди «рив гош». Женечка называет пульт «лентяйкой». Мама называет лентяйкой Аду — и еще, разумеется, швабру, в которую вправляют тряпку. Пульт-башню мог забыть в Париже великан-телезритель. Вторая его игрушка — Башня Стефана Совестра, истинного, как считают некоторые, создателя *la tour Eiffel*.

На Башню группа взбиралась, когда уже вечерело — тихо загорался их первый парижский закат. Красавица-башня с ног до головы в кружевах — Ада, глядя на нее, вспомнила Каслинский чугунный павильон. На ногах стоит крепко — не сдвинешь. От пяток до макушки выкрашена в бледно-коричневый цвет — как столовский бочковой кофе, и вся усыпана круглыми заклепками — вроде бы это у нее пупырышки от холода, мерзнет на ветру. Такие же точно заклепки-мурашки Ада будет находить потом по всему Парижу — и в Орсэ, и на Лионском вокзале, и в старых ресторанах, и даже в переходах метро. «Эльфова башня!» — восторженно выдыхает русский малыш из чужой группы.

И на Париж сверху Ада будет смотреть впоследствии с самых разных точек и крыш — но никогда свысока. Она будет смотреть на Париж снизу — из катакомб, жмурясь перед улыбчивыми черепами, один из которых вполне мог принадлежать Мара-

ту, а другой — Шарлю Перро. А главное, она будет смотреть изнутри, ведь настоящее чувство всегда имеет в виду соединение и растворение.

Ада хотела бы раствориться в Париже — ложечкой сахара в кофейной чашке вон того месье. Растопыренной ладошкой осеннего листка прилипнуть к стеклу машины на бульваре. Украсть у горничной форменное платье и выйти на работу в ближайший *mardi*.

— Что такое *mardi*? — раздраженно спрашивает Елена всю группу разом. Ада, забыв о том, что рядом Татиана, на автомате переводит: вторник.

— То есть мы не попадем в Лувр? Здесь сказано, что по вторникам — закрыто!

Елена всячески подчеркивала, что хочет в Лувр, и вот, пожалуйста! Во вторник утром они уезжают. Но, будьте покойны, Елена этого так не оставит, она пожалуется кое-кому в Омске. Она вообще может сделать так, что никто из Омска больше в Париж не приедет!

— Ну, Париж это как-нибудь переживет! — сказала Татиана, и Ада впервые за эти три дня увидела, какая она симпатичная женщина.

Жаль, что придется поступить с ней так несимпатично.

Это — спрос

Автобус номер восемьдесят пять спускается с Монмартрского холма и едет с правого берега на левый, до Люксембургского сада. «То берег левый нужен им, то берег пра-авый!» — пела Алла Пугачева за стеной у соседей, в Екатеринбурге.

Автобус номер сорок один останавливается на углу Хохрякова и Ленина, но остановка называется «Площадь 1905 года». Маленькая Ада считала, что эта площадь названа в честь нее — ей шел пятый год.

Ровно пять... нет, не лет, а дней прошло с того октябрьского утра, когда группа российских туристов уселась в автобус и отбыла восвояси.

Ада не видела, как это происходило. Слонялась по левому берегу.

Наверное, Роза и Лиля до последнего не верили, что Ада «спрыгнула», уговаривали Татиану подождать — ну хотя бы немножко. Потом, скорее всего, пришла Елена с известием, что в комнате Ады и след простыл — все вещи исчезли, включая зубную щетку. Людмила Герасимовна наверняка молилась и крестилась, а Татiana раздраженно звонила кому-то из лобби.

Ада старалась об этом не думать. Может, и не так всё было.

В конце концов, все они для нее — чужие люди. Попутчики. Елена — та вообще пусть скорее забудется, как страшный сон, какие снятся под самое утро.

С людьми родными — вот с ними что было делать? Как им это объяснить?

Ада позвонила папе утром, из телефонной будки рядом с хостелом, где она сняла в общей комнате койку. Хостел — у подножья великанского телевизионного пульта, башни Монпарнас.

Звонила на работу и попала нехстати.

— Ада, ты уже в Москве? — спросил папа. Рядом с ним кто-то громко бурчал, наверное, коллега Петрович.

— Папа, я осталась в Париже! — крикнула Ада. Дерево, под которым стояла будка, зашелестело листьями — как будто книга на ветру. — Ты не волнуйся, у меня всё будет хорошо!

Она как могла быстро повесила трубку на рычаги — но всё равно успела услышать, как папа кричит за пять тысяч километров.

Ада вышла из будки, обняла дерево:

Я здесь одна. К стволу каштана
Прильнуть так сладко голове!

Потом она вернулась к телефону, набрала домашний номер Олени, но там были длинные гудки. Почему-то Ада увидела эти гудки как длинные холодные рельсы.

Кто-то шел мимо и свистел — их с папой свистом.

С тех пор прошло целых пять дней, и они тоже были длинные и холодные.

Ада еще несколько раз звонила Олени, но всё время попадала на рельсы. Просто какая-то Анна Каренина, а не Ада Морозова.

Вообще она всегда хотела быть Анной.

Ада — это папина идея.

— Зачем ты меня так назвал? — спросила его однажды в слезах, когда мальчишки задрезали чуть не до икоты. Папа в ответ поцеловал ей ручку, как взрослой женщине, — маленькая Ада от этого еще сильнее заплакала.

— Это спрос, — сказал папа. — А кто спросит — тому в нос.

Ушел в спальню и закрыл дверь.

Потом уже значительно более взрослой Аде объяснила мама: так звали девушку, которую папа

любил в юности. Девушка уехала жить куда-то за границу, но папа успел дать обещание, что назовет дочку в ее честь.

— Обещания нужно сдерживать, — сказала мама и сжала губы, как будто на самом деле она так не считала. Мама хотела назвать дочку Анечкой.

— А куда именно уехала та девушка? — спросила значительно более взрослая, но все-таки еще очень глупая Ада, и мама тогда тоже ушла и закрыла дверь.

«Наверное, она уехала в Париж», — думала Ада, ворочаясь без сна на своей неудобной койке. Это вам не двухзвездочный отель «Жерандо». Общий туалет, противные запахи, клопные пятна, зато цена, как сказала бы Олень, щадящая наши возможности.

Ничего, Ада здесь надолго не задержится. Скоро найдет себе работу, жилье, друзей.

Главное — она в Париже.

Колесо обозрения

Хорошо, что Ада знала французский язык.

Что учила его, не брезгуя ни одной темой. Диакритические знаки. Тяжелое ударение. Глубокое придыхание.

Французский язык — это был уже не инструмент, а универсальный ключ, который подходит ко всем дверям.

Жаль, что двери открывались только для общения, а не для работы.

В Париже никто особенно не мечтал принимать на работу Аду. В одном лишь ресторанчике,

недалеко от ворот Сен-Дени, предложили взять посудомойкой, но она не пошла — у хозяина глаза светились жирным блеском, когда он расписывал условия. Он почти всю Аду целиком глазами съел, этот пузатый мужчина. Да, поневоле вспомнишь добрым словом Женечку. (И долг свой, кстати, тоже. Она всё отдаст, до цента, до копейки.)

Париж следил за Адой, наблюдал ее попытки пустить корни — с любопытством, но без сочувствия. Ада по-прежнему смотрела по сторонам, когда шла по городу, — но видела теперь не только пыльных атлантов. Начинала замечать клошаров и объявления с вакансиями.

В один из первых же дней Ада продала на барахолке — «плюс», как она здесь называется, — свой красный свингер. Дали, конечно, совсем немного, но на вырученные деньги Ада купила здесь же неприметную теплую куртку (по-французски — «дудун»), черную, как ночная Сена. В кармане куртки нашлись два нетронутых билетика на метро — Ада решила, что это хороший знак.

Потом — сережки. В брассери к ней как-то подошла официантка, русская — Ада безошибочно распознала родной акцент — и спросила, не хочет ли она продать камни? Сережки подарила мама к восемнадцатилетию, но Аде они никогда особенно не нравились. Наверное, продала не очень выгодно — но всё же это были деньги, а ее запасы рано или поздно кончатся. В уши воткнула пластмассовые пуссеты-розочки, давний подарок Олени. Чтобы дырки не зарастали.

Олень ответила на звонок только в конце второй недели, когда Ада уже почти что отчаялась найти работу. Жила всё в том же хостеле — и расчи-

тывала, что денег ей хватит до Нового года, если питаться один раз в день, как она обычно и делала.

На самом деле еды в большом и радостном Париже — вдоволь, надо просто не зевать и смотреть по сторонам.

Вот, например, ребенок не доел булочку и положил на краешек скамейки.

Или в «Макдоналдсе» часто оставляют картошку фри в пакетах.

С вопросом личной брезгливости замечательно справляется чувство голода.

Олень схватила трубку после первого же гудка, не успевшего превратиться в релсь.

— Адка! Ты где?

— В Париже!

— Ну ты вообще! Я не верила, что ты всерьез там останешься!

— А кто шутил?

— Нет, ну я всё понимаю, конечно, но так взять и остаться... Алеша говорит, ты Клавдию Трофимовну крепко подставила. И деньги Женечке надо вернуть. И родители твои, Адка, они же просто все черные. Отец у меня был, я с ним разговаривала. Они за тебя волнуются. Переживают.

— Ты, может, дашь мне хоть слово сказать? Сейчас монеты закончатся, и разъединится.

— Ой, да, конечно.

— Женечке скажи, я всё отдам, пусть немного потерпит. Родителям я написала большое письмо, и еще потом напишу. А уж Алеше ты как-нибудь объяснишь. Ты, кстати, сама где носишься целыми днями? Я раз триста тебе звонила!

— Да я это, ничего особенного. Как обычно — учеба, работа, Алеша.

— Алеша уже стал «как обычно»?

— Ну да, а что такого? А где ты там живешь, Адка?

— В хостеле.

— Главное, чтобы не в хосписе, — мрачно пошутила Олень, и тут как раз окончилось время разговора — автомат с грохотом проглотил последнюю монету.

Ада выскочила из будки злая как сто чертей. Рассердилась на Олень — совсем ее не понимает. Так рассердилась, что даже Париж вокруг показался ей вдруг каким-то... непарижским.

А потом Аде стало смешно — разве можно все-ррез сердиться на человека, который находится от тебя на расстоянии стольких километров? Она сама улыбнулась таким мыслям, и встречная женщина ей тоже улыбнулась — как будто отразила ее улыбку в зеркале.

Ада не сразу узнала эту женщину.

Та узнала ее первой.

Та — Татиана.

Улыбка исчезла так же быстро, как испортилась в тот день погода.

Деревья сначала зашумели, потом задрожали. Дождь. Прохожие бегут, кто-то прикрывает голову портфелем, машина, припаркованная у тротуара, вдруг взвyla, как собака, которой встали на хвост. Град! Сверху кто-то швыряет ледяные камушки, целится прямым в Аду, но каждый раз не попадает.

Татиана тащит Аду в кафе — а там уже набилось столько народу, как в детской сказке про теремок. И никто ничего не заказывает, все пережидают непогоду. Татиана с официантом в длинном фартуке

пошепталась — и вуаля, им тут же нашли столик. Ада шла рядом, пристыженная — как будто с Галкой-Палкой к директору.

Столик малюсенький, места хватает на две чашки кофе и четыре локтя. Вообще локти на стол ставить неприлично — но кто об этом помнит? Уж точно не Ада.

Град лущует мостовую, бьет машины и тех бедолаг, которых успел поймать на улице.

А у Татианы с Адой — можно сказать, даже уютно. Кофейник принесли горячий, как грелка. Молоко в кувшинчике. Даже булочки, пан-о-шоколя, хотя время завтрака давно закончилось. На салфетке останутся аппетитные масляные пятна. Ада готова разорвать эти булочки зубами вместе с салфеткой. Татиана смотрит на нее, как на книжку: вроде бы хочется такую купить и прочесть, а вдруг она потратит время зря?

У них правда уютно, хотя столик слегка качается, за окном дождь сечет прохожих, как будто наказывая за то, что вышли, — и сильно пахнет мокрой шерстью от старого свитера Ады. Словно собака попала под ливень.

— Ешь, — приказывает Татиана, и Ада глотает булочки, не жуя. А зачем жевать — они и так легко глотаются.

Татиана опять смотрит на нее, как на книгу — вроде бы она уже когда-то читала такую — но не помнит, чем закончилось. В памяти остались только общее ощущение, атмосфера, мир писателя.

После пятой булочки Татиана забрала у Ады корзинку. Так и не успела она увидеть салфетку в масляных пятнах.

— Хватит, — сказала Татиана.

Ада и сама уже почувствовала — хватит. Что-то похожее было в бассейне — когда она тонула, во втором классе, и ее рвало хлорной водой через нос. Наташка Прокопьева — у нее был хрящеватый нос и вязаный шерстяной купальник, вот так и запомнилась — хохотала после этого над Адой чуть ли не целый год.

Вот и сейчас ей стало вдруг плохо.

Первое «плохо» в Париже.

— Ты что, мать? — испугалась Татиана. Так странно прозвучало. Кто кому если и годился в матери, так это Татиана Аде, а не наоборот.

В конторе Женечки работала курьером сорокалетняя дурочка — Галя. Она всегда называла Аду Адой Андреевной, а Олень — Ольгой Станиславовной. Звонила откуда-нибудь с вокзала:

— Ада Андреевна, это Галя!

Всё у нее было перепутано в голове, у этой бедной Гали. А теперь всё перепуталось в голове у Ады Андреевны, всё смешалось, как в доме Облонских. Она сидит в парижском кафе, прижавшись к стеклу, по которому течет уже просто какой-то водопад. Совсем с ума сошла погода, так сказала бы мама Олени, женщина простая и мудрая.

Это обращение — «мать» — оно, наверное, вылетело у Татианы случайно. Так иногда случайно вылетают у людей из рук деньги. Или обещания, о которых они потом жалеют.

Татиана махнула официанту, он тут же прибежал. Принес кяраф д'о — воду в графине, кривом, как больничное судно для мальчиков. Этого добра в Париже хватает — воды из-под крана, бесплатно. В Екатеринбурге о таком даже подумать страшно.

Ада с трудом выпила глоток. Хорошая такая д'о. И за окном тоже течет — никак не прекратится этот дождь!

— Что же мне с тобой делать, — загрустила Та-тиана. — Домой взять не могу, это исключено. На родину ехать, я так поняла, ты не собираешься.

— Мне есть где жить, — сказала Ада, с трудом удерживая внутри проглоченные булочки — они рвались на волю, как все заключенные. — Вот только работу найти не могу.

— Ты ведь знаешь французский? — уточнила Та-тиана.

Ада кивнула.

И тут кончился дождь. Солнечный свет как будто кинжалом ударил по стеклам, посетители даже зажмурились.

Татиана расплатилась, дошла вместе с Адой до метро. Попрощались — до завтра.

— Париж, спасибо, — шептала Ада. — Я всё-всё сделаю, только чтобы тебя не подвести. Ты не пожалеешь!

Город смеялся и плакал, мокрые листья деревьев и синие капли неба — как улыбка сквозь слезы.

Тогда Ада еще не знала, что это было ее самое счастливое время в Париже. Как на колесе обозрения, которое начнут ставить через пять лет в Тюильри — сначала ты выше всех, а потом — всегда вниз.

Правда, это парижское колесо крутят несколько раз подряд для каждого. Олень, когда пошли на второй круг, чуть кондратий не хватил — по ее же собственному признанию. Испугалась, что будет теперь крутиться здесь до вечера.

Олень всегда боялась высоты.

Ищите русского дедушку

Возможно, Татиана пожалела Аду потому, что увидела в ней себя. Такую же студентку, тощего птенца, который прилетел в Париж из Кирова — и сразу понял, что здесь и только здесь проведет свою жизнь.

А может, она увидела в ней собственную дочь Шарлотт — пока еще школьницу, но кто знает, что ей взбредет на ум через год?

А может, у Татианы, так совпало, был удачный день, и ей захотелось принести судьбе жертву. Ну вроде как выкупить право на счастье, пожертвовав чем-то незначительным и не очень дорогим.

Батюшка из Пензы, которому именно в этот момент, далеко отсюда исповедовалась Людмила Герасимовна, возможно, сказал бы, что жертвовать лучше тем, чего терять не хочется.

Но батюшка был далеко, и вообще у каждого не только свой Париж, но и свой крест.

В плохие дни Ада видела на верхушке Башни крест, в хорошие — трамплин, а в обычные — просто антенну.

Татиана назначила встречу рядом с кинотеатром. Станция метро "*Odéon*". Ада вышла заранее, из экономии — да и просто потому, что близко, — пошла пешком по длинной, как жизнь, улице Ренн. Башня Монпарнас чернела позади, как громадный восклицательный знак.

День был холодный, но ясный, небо над бульваром Сен-Жермен — ярко-синее, с белыми облачками разводами. Похоже на камень лазурит.

Прохожие в шарфах, в перчатках. Одна мадам даже в норковом манто — и в туфлях на босу ногу!

Вливаются в метро ровно, как будто их всех пропускают туда через воронку.

Татиана пришла ровно к девяти, как договаривались. Нашарила ниже домофона неприметную кнопку — перед ними открылась служебная дверь в кинотеатр.

— Будешь мыть холл и туалеты вечером и убирать зал после каждого сеанса, — администраторша перечисляла обязанности Ады с таким воодушевленным видом, как будто расписывала контракт кинозвезде. — Как тебя зовут, Ада? Буду звать тебя Адель.

«Назови хоть Гантенбайном, — думала Ада. — Или вообще — Измаилом. Главное, что у меня есть работа!»

Татиана сказала, это надо отметить. Пойдем в «Леон», угощу тебя мидиями. Любишь мидии?

Ада пожала плечами.

— Ну вот заодно и узнаем — любишь или нет.

Оказывается, мидии очень вкусны — особенно если их варят в белом вине с пряностями, а ты сама так давно не ела горячего. Татиана раскрыла мидию, показала Аде, как доставать черным панцирем вкусное рыжее мясо — словно щипчиками. Когда в черной кастрюльке остался душистый бульон, Татиана покрошила туда белый хлеб — и они вылавливали его ложками. Ада захмелела от сытости и радости — у нее теперь есть работа. И, кажется, подруга — пусть и старше на двадцать лет.

Когда они расставались в тот вечер, у станции метро «*Saint-Germain-des-Prés*», Татиана сказала Аде:

— Знаешь, если у французов кто-то вдруг начинает сильно чудить, они говорят: «Ищите русского дедушку!» Раньше меня это обижало, а сейчас я думаю: это, наверное, комплимент.

В каждом из нас уживается множество личностей, и одна берет верх над другими – по ней нас и судят окружающие, она и создает нашу судьбу. «Судьба» – от слова «судить».

Вот, например, Олень была прежде всего – друг.

А в Татиане всех побеждал – гид.

Любимое выражение – «Обрати внимание».

– Обрати внимание на эти каменные шары у порога. Они здесь не только для красоты. Так парижане берегли свои дома – чтобы экипажи не обдирали стены при въезде.

– Обрати внимание – видишь, там, слева, рельеф, голова коня? Можно подумать, что хозяин дома любил лошадок, но на самом деле здесь раньше торговали кониной.

– Обрати внимание, мы идем мимо Ботанического сада. Помнишь историю про страшный голод во время франко-прусской войны? Парижане съели всех животных из местного зверинца!

Сколько же Татiana всего знала!

И как это грустно – про животных.

Ада вдруг вспомнила: папа рассказывал, что в здании нынешнего монастыря рядом с екатеринбургским зоопарком во время войны жил слон, эвакуированный из Москвы. Жил он, говорил папа, прямо в алтаре.

Папы ей не хватало сильнее всех. А мама посмелась бы, узнав, какую работу нашла себе дочь в Париже. Уборщица! Да после Адиной уборки в комнате следовало начинать еще одну.

Зато уроки борьбы с брезгливостью пригодились. Туалеты – они всё равно туалеты, хоть и в Париже. Сплошь тяжелое ударение и глубокое придыхание.

Зрители покидают зал, у каждого на лице — следы фильма. Некоторые идут в слезах. Другие с облегчением, что закончилось. А были еще такие, кто любит сидеть в зале после окончания сеанса — вот их Ада терпеть не могла. Сидят с мечтательным лицом, следят за экраном — пока последние титры не убегут к потолку. Это французская черта — получить наслаждение до последнего сантиметра. Сколько заплатил — столько и возьму.

Неважно, что у дверей мнется девушка с ведром — русская парижанка Адель М.

Олень часто называли «девушкой с веслом», она этого терпеть не могла, потому что и в самом деле была похожа на гипсовую статую из ЦПКиО.

Объяснить такое парижанину — никакого языка не хватит. Да и не стал бы парижанин слушать уборщицу из кинотеатра. Все вежливо смотрели мимо.

Французского языка становилось в жизни Ады всё больше с каждым днем — как в начале «Войны и мира». По-русски говорили только с Татианой, но встречались редко — обе работали, а у Татианы еще и семья. Муж-француз, который был всем хорош, кроме того, что потерял недавно место. И дочь Шарлотт — как просочилось из некоторых намеков, мадемуазель с фанабериями. Жили они далеко, за Периферик. Станция метро “*Télégraphe*”.

Ада отмывала кинотеатр шесть дней в неделю, бесплатно смотрела фильмы. Кресла в зале были красные, плюшевые. Зрители разговаривали в голос, когда шел журнал, но во время фильма молчали, как мертвые. По дороге в хостел Ада покупала у темно-коричневого продавца точно такие же темно-коричневые, раскаленные каштаны в газетном кулке.

Зима была очень долгой.

Рождество Ада отметила походом в «Макдоналдс». В новогоднюю ночь позвонила домой.

Мама старалась говорить спокойно. Так стараются говорить с сумасшедшими:

— Ты когда вернешься, доченька?

— Мама, я не собираюсь возвращаться.

— А что ты там делаешь?

— Я работаю. И мне просто нравится жить в этом городе.

— Доченька, а мы как же?

— Устроюсь, и вы ко мне приедете.

— Отец! — крикнула мама. — Иди к телефону.

Ада.

Дала понять таким образом, что не желает с ней больше говорить.

Ну и ладно.

Папа спросил:

— У тебя деньги есть? Сообщи адрес, я вышлю.

И у Петровича скоро кто-то поедет во Францию, могу передать.

— Папочка, у меня всё есть. И я тебя очень люблю. Очень.

Монеты закончились, но Ада еще сколько-то стояла в будке — как будто рядом с папой.

Взгляд со стороны

Жизнь Ады в Париже — уборка, фильмы на французском, туалеты. В перерыве — сэндвич со вкусом бумаги. Опять уборка. Потом, уставшая, домой — мимо невидимого города в свою общагу. Назвать можно каким угодно хостелом, всё равно — общага.

В Екатеринбурге студентка Ада в общежитии была всего лишь раз, на приеме у спортврача. А здесь — просто каким-то старожилом стала. Соседи быстро менялись, только Ада задержалась. Но потом и ей намекнули, что в хостеле так долго не живут — есть максимальный срок пребывания, и он совсем скоро закончится.

Париж стал невидимым, потому что любоваться некогда и нечем. Чувства не работают. «Париж в ночи мне чужд и жалок». Но всё равно — рядом и любимый. В ближайшее воскресенье Ада пойдет на выставку в Гран-Пале. И еще она ни разу не была в Венсенском замке, а Татiana говорит, что он произвел на нее в свое время сильнейшее впечатление.

В ближайшее воскресенье Ада спала почти до восьми, а потом вместо выставки и замка уселась в кафе — как Симона де Бовуар. И стала писать папе с мамой очередное письмо — листы забиты строчками, как перфокарта.

За соседним столиком расположилась типичная для левого берега парочка — профессорша в вязаной кофте и юный студент. Она просматривает его работу, он косится на Аду. А что? На ней не написано «уборщица».

Вот выйти бы замуж за такого студента, мечтает Ада. Он славный, немного похож на Алешу, но изящнее. Смуглый, тонкий, гладкий — как деревянная статуя в музее Клюни. Хорошо бы он оказался французом с русскими корнями — чтобы знал язык. Ада перевелась бы в Сорбонну. А что? На своем курсе она была одной из лучших.

Мечту о Сорбонне Татiana перечеркнула крестнакрест.

Русских в те годы там почти не было, «мы для них — такой же экзотик, как японцы». Не зря в переводе с французского «этранже» — не только «иностранец», но еще и «чужой».

Только лет через пять в Париже появилось столько русских, что это уже никакой не «экзотик», а правда жизни. Туристки подметали парижские мостовые полами норковых шуб, богатые дети поступали кто в Нантер, а кто и в четвертую Сорбонну.

Студент раскраснелся под взглядами Ады — а может, еще и профессорша его пристыдила за плохо раскрытую тему и неточные ссылки. Что-то она там ему такое объясняла. Кофе — остыл у обоих.

Ада раскрывала в своем письме тему любви к Парижу.

За что я люблю этот город?

А ни за что.

Люблю — и всё.

Интересно, вот когда женщина жертвует собой (и другими) ради любви к мужчине или родине, науке или ребенку — этим принято восхищаться. Дескать, такой силы любовь, что она просто не могла ничего с собой поделать.

Но почему нельзя так любить город?

Ада поставила сразу три вопросительных знака — все похоже на басовый ключ. Она училась в музыкальной школе, потому что папа так хотел. Ради него оттрубила полный семилетний срок. Сонатины Кулау, этюды Черни, Шуман на выпускном.

Сейчас, наверное, не сможет ничего сыграть — руки отвыкли, особенно левая.

Студент уходил из кафе, озираясь. Так и не решился подойти.

Ада вздохнула. Подумала — как он, интересно, ее увидел?

В Париже — все наблюдают себя как будто со стороны.

Она сидела в кафе, день был солнечный — и свет падал удачно, а самое красивое у Ады — это кожа. Сейчас это ей было уже известно, прошла пора думать глупости про широкие плечи и узкие колени. Кожа нежная, гладкая, ровная. И белая — кажется, под ней течет не кровь, а молоко. Ада отпивает из чашки — кофе, наверное, уже совсем ледяной. И трогательно собирает пальцами крошки от круассана.

Ада сама залюбовалась, глядя на себя со стороны глазами студента, который на самом деле давно уже был в метро и ехал в сторону Шатле. Что означает — куда угодно.

Письмо свое Ада отдаст вечером Татиане, она отправит его со скидками и льготами. Почтовые услуги здесь дороги, как и все прочие.

На соседнем столике — газета, на первой полосе — фото из России, где всё опять не слава Богу. Люди на площади в Москве — их так много, что фото похоже не на снимок демонстрантов, а на отрез набивной ткани или поле цветущих тюльпанов.

У Ады — дар видеть не то, что нужно. Но вечерами по воскресеньям она почти счастлива.

Один из таких вечеров стал счастливым уже без всяких «почти». Татиана велела ей приехать на станцию метро “Alésia” (стены на станции кафельные, как в туалете), встретила на выходе и вела довольно долго вперед с загадочным видом.

Оказалось — квартира! Крохотная, туалет общий — на два этажа. В комнате — собственная раковина, как в больничной палате. На стене — гравюра, вид Нельской башни. И целый список условий: чужих не водить, с собаками не пускать, как только квартира потребуется хозяевам — немедленно съехать. Хозяева жили в Америке, муж-филантроп и жена-мегера. Квартиру сдавал муж, «очень благотворительный», по мнению Татианы, человек.

— Обрати внимание, станция названа в честь битвы при Алезии. Верцингеторикс против Цезаря.

Ада переехала на следующий же день. Целовала пол, обнимала собственную раковину (засорившуюся), молилась на гравюру с башней.

Свой угол в Париже!

Дельфин

Париж в последние месяцы изменился.

У него много что было припрятано для Ады — он просто не спешил показывать всё сразу. Это как в браке — люди не торопятся предъявить весь свой характер цельной глыбой. Потихонечку открывают то одно, то другое.

Ада и не думала, что здесь будет в таких подробностях представлен многоликий арабский мир.

Не догадывалась, что французы настолько расчетливы и прагматичны — знакомая кассирша позвала ее однажды выпить чашку кофе и два часа, оплаченные этой чашкой, соображала, чем Ада может быть ей полезна. Таких примеров — как выпитых за день порций кофе.

Ада не могла себе представить, что русских в Париже называют «Ле Попоф» и вовсе не спешат привечать. Не знала, что парижане в массе своей — ксенофобы и мрачные пессимисты.

Месяца через три после града на бульваре Татиана взяла ее с собой в один русско-французский дом. Точнее, в квартиру. Еще точнее — квартирешку. Две комнатки и недокухонька. Туалет прячется за стеной, как встроенный шкаф — извиняясь всем видом за свое существование.

— Зато район хороший, Монсо, — сказала Татиана, когда они ехали в метро. Татиана везла пирожные в красивой коробке, а глупая Ада — букет белых роз. Гордилась, что выкроила денег на эти цветы — оказывается, грубейшая этикетная ошибка. С цветами — только на свадьбу и похороны.

— А у нас — день рожденья, — сказала Татиана, хлопывая Аду по плечу. Ада ужасно расстроилась. Куда теперь этот букет? Татиана вздохнула: ну, поскольку Надя — бывшая москвичка, то она, возможно, даже обрадуется.

Так и получилось. Розы приняли с благодарностью и тут же унесли с глаз долой.

Вообще довольно скучные были гости, все говорили на французском, много пили и шутили. Говорили только про еду. Ада смущалась, ей не хватало языка — вот как некоторым не хватает денег или смелости. Отвечала на простые вопросы, и только. Дочка Нади — с виду ровесница Ады, голова наполовину бритая, как у каторжницы. Зовут — Дельфин. Имя подходило широкому рту и маленьким глазкам. Дельфин не проявила к Аде никакого интереса за пределами обычной вежливости и еще до десерта отправилась к себе в комнатку. Надя про-

водила ее напряженным взглядом, а муж ее — вот уж кто француз так француз! еще и Алэн, — потрепал жену по плечу, как будто говорил: ну, не переживай. В этом жесте Ада увидела своего папу — так ясно, остро увидела, что глазам тут же стало горячо. К счастью, кускус, который она жевала, был страшно острый — и все решили, что слезы на глазах у «русской Белоснежки» — от перца.

Ада впервые видела Париж изнутри — вот какой у него, оказывается, вкус. Перец и слезы.

— С этой Дельфин — одни проблемы, — сказала Татиана, когда они уже почти что спустились в метро, но в последний момент всё же решили погулять в парке — дойти до следующей станции. День был хороший, теплый, не сказать, что зима. В Екатеринбурге сейчас наверняка сугробы ростом с человека. Детей кутают в шарфы до самых глаз. А здесь в воздухе было что-то неясно-свежее, весеннее. Татиана даже сдернула с шеи платок, и от него поднялся теплый аромат — Ада знала эти духи, у них было собачье имя «Трезор».

Раньше она очень любила духи — даже больше нарядов и уж точно сильнее, чем украшения. В школе у Ады были мыльно-сладкая «Шахерезада» и рижский «Диалог», который она помогала тратить маме на пару с Оленью. Потом появились наконец французские — «Исфаган». Флакончик был в форме урны для праха, а запах — как обморок. На рынке в Екатеринбурге эти духи называли «Испухан».

В Париже Ада каждый день по пути на работу заходила в «Сефору» — и бесплатно пшикалась «Трезором». Она даже красилась в этом магазине: у одного стенда ресницы, у другого — губы. Обяза-

тельно крем для рук. Между прочим, не одна Ада так делала – со временем с ней даже начали здороваться соседки по стендам, любительницы дармовой красоты.

Татиана, вместо того чтобы продолжить рассказ о Дельфин – весьма интересный для Ады, потому что эта недобритая девушка ей чем-то понравилась, – так вот, Татиана стала рассказывать о парке Монсо, потому что гид в ней с разгромным счетом побеждал все прочие ипостаси.

Парк – бывшее владение герцога Орлеанского, который, как известно, был масоном – и потому здесь так много масонских символов.

– Обрати внимание на эту египетскую пирамиду, – сказала Татиана, обнимая широким лекторским жестом довольно-таки невзрачную – как на детской площадке – кирпичную постройку.

Еще в Монсо нашелся памятник Шопену – он так вдохновенно играет на рояле, что доводит до слез примостившуюся в ногах слушательницу.

И памятник Мопассану.

– И еще, обрати внимание...

– Расскажи про Дельфин, – невежливо перебила Ада. Татиана обиделась, гид внутри нее предлагал немедленно распрощаться с дерзкой девчонкой и не встречаться неделю как минимум! Но вдруг, впервые в жизни, капитулировал перед другом.

– Ну, раз тебе неинтересно про Монсо...

– Мне очень интересно! Кстати, это ведь здесь казнили коммунаров?

– Да, – сказала Татиана. – А про Дельфин рассказывать особенно нечего. Малышкой была такая прелестная билингва. Моя Шарлотт, например, во-

обще не хотела говорить на русском — и сейчас не говорит. И училась всегда плохо.

Татиана тяжело вздохнула. Ей было обидно за свою Шарлотт, которая всегда пребывала на задних ролях — «у озера», как говорят в кордебалете. (Ада кое-что знала про балет — в детстве мама пыталась увлечь ее этой каторгой, но, к счастью, педагоги сочли девочку «аморально ленивой».)

— Надя и Марк всю жизнь для Дельфин расписали вперед — вот, знаешь, как портреты рисуют по клеточкам. Но ведь жизнь — это не живопись. Года три назад началось — плохая компания, выпивка, Надя боится, что и наркотики. Сейчас Дельфин под домашним арестом, потому что была какая-то история то ли с угоном машины, то ли с дракой. Марк проще ко всему этому относится, он участник парижского мая.

— Да ты что! Неужели правда?

— Правда. «Запрещать запрещается», и всё такое. На самом деле это старая песня — все бунтари в Париже превращаются в буржуа. Это естественный процесс, как приход весны.

— А чем Дельфин сейчас занимается? Учится?

— Да, в Сорбонне, отделение «Лётр».

Литература. Ада попыталась сглотнуть комок зависти — но он крепко застрял в горле.

— Но и с учебой хватает проблем. Прогулы, вранье, низкие рейтинги... А еще у нее каждый месяц новый мальчик ночует. С такой дочкой никаких сыновей не надо... Знаешь, как говорила моя одесская бабушка? «Плохая девочка хуже плохого мальчика».

— Да, — невпопад сказала Ада. Ей было совсем неинтересно про сыновей и дочек. А вот про Дельфин она бы еще послушала.

Олень, Дельфин... Вы звери, господа!

На прощанье Татиана показала Аде коринфскую колоннаду — колонны окружали пруд и отражались в воде. Вода и не думала замерзнуть — зима была теплая.

За все эти месяцы Ада всего лишь раз видела тоненькую, как на крем-брюле, корочку на водоеме в Тюильри, над которым скользят скульптурные Аполлон и Дафна — очень уместно похожие на конькобежцев.

В Екатеринбурге река Исеть покрывалась ледяной коркой такой толщины, что Ада и Олень за просто ходили по ней с одного берега на другой. Лень было из видеобара «Космос» топтать пешком до Плотинки.

На льду — молчаливые рыбаки, каждый в своем «домике»-палатке.

А эта колоннада в парке Монсо напоминает ротонду в Харитоновском парке, пусть и отдаленно. Папа гулял там с Адой в детстве.

Надо же, как часто она стала об этом вспоминать.

Начала видеть их в Париже повсюду.

Папу. И Екатеринбург.

Бермудский Монмартр

Автобус номер 91 идет от Монпарнаса к Бастилии. Ада ездит этим автобусом по воскресеньям — теперь она работает няней, оплата почасовая, ребенку пять лет, и он до сих пор сосет пустышку. Работу предложила Надя — на следующий же день после того, как они с Татианой были у нее в гостях. Ока-

зывается, Ада произвела приятное впечатление (даже розы его не подпортили), а приятели Нади хотят сохранить у ребенка русский язык. Они тоже были в гостях: месье — француз, волосы темного серебра, жирные и блестящие, напомнили Аде селедку. Мадам, конечно, русская. Наташа. Таким хоть сто лет исполнится — они Наташи навек.

— Лялечку родили с трудом, — рассказывала Та-тиана, — уже сильно за сорок обоим было. Мальчик сложный.

Не то слово. По любому поводу Паскаль выгибался дугой, как истеричка.

— *Je suis susceptible*, — объяснял, когда, разумеется, не держал во рту пустышку.

Паскаль по-прежнему носил памперсы, хотя ростом был выше всех малышей на площадке, куда Ада приводила его после завтрака.

Ада не очень любила детей. Но раз уж ей доверили ребенка — да еще и платили за это (а месье Селедка даже иногда подбрасывал ей сверху пару купюр, жаль, что мелких), — она, конечно, старалась делать всё на совесть.

Читала маленькому Паскалю русские сказки.

Разговаривала с ним на русском. Старалась готовить русскую еду — потому что обед тоже был ее обязанностью. Месье и мадам в воскресный день отдыхали. Честно сказать, они радостно сбегали из дому, как только Ада появлялась на пороге.

Ада умела готовить — спасибо маме и преподавательнице труда Нине Ивановне, которая школила учениц так, как будто собиралась выдать их замуж за своих собственных сыновей. Мама научила варить борщ, лепить пельмени, печь блины. Нина Ивановна подарила рецепты оливье (в Париже он

известен как «русский салат»), сельди под шубой, драников и яблочного пирога «шарлотка». Вот и всё Адино меню — но Паскаль не жаловался, видимо, за его гастрономические пристрастия отвечала мамина русская кровь. Ада, заправляя салат майонезом, слушала знакомый чавкающий звук соуса — и опять вспоминала дом: Новый год, папа разливает шампанское. Или видела Нину Ивановну — пробует салаты у каждой девочки, на кого-то глядит хмурой ведьмой, кому-то улыбается, как добрая волшебница.

Больше всех учениц Нина Ивановна любила Олень.

— Справная девка, — считала она. — Такую всякий замуж возьмет. И ручки ловкие!

Олень краснела от таких похвал, завистливая Ада еще долго потом дразнила ее «справной девкой».

С Татианой они теперь встречались реже — Паскаль отнял у Ады воскресенье, она работала без выходных, но и денег откладывала теперь больше, чем раньше. Долг Женечке уже можно было выплатить — вопрос, как переслать деньги в Екатеринбург?

На детской площадке Паскаль вел себя плохо, другие родители не любили, когда он играет рядом с их детьми. В нем правда чувствовалась ущербность, поэтому Ада привязалась к нему по-настоящему. Близких в Париже у нее не было — а этот белобрысый мальчик трогательно прикивал головенкой к ее плечу, когда они смотрели вечером телевизор.

Наташа и месье Селедка возвращались поздно, от них пахло вином и сигаретами. Ада уже и забыла, когда от нее самой так пахло.

Месье Селедка расплачивался; Паскаль требовал соску, потому что не любил, когда Ада уходит.

Она шла к остановке автобуса и думала: я представить себе не могла, что у меня в Париже будут нелюбимые улицы и даже целые районы.

Вот эта Бастилия, к примеру, ей совсем не нравилась — и квартал Марэ, и даже площадь Вогезов с ее зоркими окнами. Хотя именно здесь сохранился настоящий Париж, не перестроенный неугомонным Османном.

Марсово поле Аде тоже не нравилось.

Но хуже всего был Монмартр. И сама эта гора с ее путаными улицами и лестницами, увенчанная белыми шапками собора. И особенно «изножье» — район бедноты, секс-шопов и дешевых лавок, где приличные парижане покупают себе разве что пижамы. Поезда метро вырываются здесь на волю и летят мимо серых домов, и от дневного света у пассажиров болят глаза.

Тогда, в октябре, Ада пропустила экскурсию на Монмартр — пока группа послушно толкалась на площади Тертр и посещала музей Сальвадора Дали, Ада уходила из гостиницы, чтобы не удивить никого своими сумками.

Она явилась на свидание с Монмартром значительно позже — и первое, что ей сказали при выходе со станции метро *"Pigalle"*, — «Любовь давай» на русском языке. То, что ее сразу же признавали русской, Аду не обижало — это был скорее комплимент, нежели упрек.

— Они видят наши скулы, — объясняла Татяна, — здесь это называется «шарм слав», славянский шарм.

Так что она не обиделась. Но — «любовь давай» был явный перебор.

В тот первый месяц Ада страшно экономила, даже курить решила бросить. По дороге к фуникулеру зашла к зеленщику за «обедом» — два мандарина и банан. Она была невинное дитя, ей и в голову не пришло, что эти фрукты можно выложить на прилавке так, как это сделал продавец. Молодой не то индус, не то пакистанец широко улыбался, глядя, как Ада убирает в сумку эту фруктовую композицию. Сейчас она, конечно, нашлась бы, что сказать.

Продавец раздухарился, протянул одной рукой сдачу, а другой потрепал Аду по щеке и сказал с большим чувством:

— Кароши!

Конечно, можно сказать, что Монмартр здесь ни при чем — Ада невзлюбила его из-за людей. И еще потому, что жаль стало платить 4 франка за фуникулер, и она поднималась пешком — а потом заблудилась, потеряв из виду ориентир — Сакре-Кёр. Издали купола Сакре-Кёр похожи на трех туристов с рюкзаками, тяжело бредущих в гору. А вблизи это был архитектурный урод. И художники на площади Тертр, действительно, рисуют ничуть не лучше, чем в сквере у екатеринбургского Пассажа. Кабаре и музей эротики Аду тоже не заинтересовали. Понравилось только кладбище — Ада искала могилы знаменитых покойников, как ищут грибы в лесу под Сысертью. Нашла Нижинского, Берлиоза и Стендаля — у него на памятнике сказано «Арриго Бейль. Миланец. Жил. Писал. Любил».

Ада подумала, что, если ей доведется умереть в Париже, она бы хотела такую эпитафию: «Адель Морозофф. Парижанка. Вечно люблю этот город».

Выходила с кладбища, доглатывая слезы — плакать хотелось так сильно, как, бывает, хочется есть или спать. Но Ада никогда не позволяла себе рыдать прилюдно — это был, с ее точки зрения, непростительный моветон. Хотя, если подумать, именно здесь, на кладбище, плакать уместно. По Стендалю, Берлиозу, Нижинскому — а пуще всего по себе самой.

Вышла она с кладбища — и опять заблудилась.

Карту города Ада самонадеянно перестала носить с собой еще в ноябре — а зря. Была у нее такая особенность — теряться в самых простых и понятных местах.

В Екатеринбурге это был район, очерченный улицами Фурманова, Белинского, Московская и Куйбышева. Олень даже называла его «персональный Адкин Бермудский квадрат».

— Он у меня как-то не раскладывается, — жаловалась Ада, когда ее в очередной раз не могли дождаться в каких-нибудь гостях на Чапаева.

— Мы понимаем, на Вторчике заблудиться, — негодовали хозяева, — но у нас тут практически центр!

В Париже роль «Бермудского района» отвоевал Монмартр.

И в первый раз, и после Ада плутала здесь, как сиротка по лесу — притом что весь прочий Париж давно уже выучила наизусть, как поэму.

Монмартр у нее тоже «не раскладывался», а дорогу спрашивать Ада не желала из гордости. Да и попадались ей одни только туристы.

Шла вперед, читала таблички с названиями улиц — подсказка должна была прийти с помощью слов, а не пейзажей. Улица Дюрантен. Трех Бра-

тьев. Д'Орсель. Площадь – и на ней симпатичная церковь Сен-Жан-л'Эванжелист, кирпичная, как старый уральский завод. На площади – спасительная станция метро.

Ада вошла, вдохнула знакомый запах подземной жизни – и успокоилась. Пообещала себе приезжать сюда как можно реже.

В принципе, она это обещание выполнила. Она вообще старалась соблюдать по отношению к себе честность. Поступай с собой так, как хочешь, чтобы с тобой поступали другие, – это один из основных законов жизни по Аде Морозовой.

А сейчас она едет в девяносто первом автобусе – и думает о том, как же передать деньги Женечке.

И как отучить Паскаля от пустышки, не разрушив его личности.

И еще – когда же она, наконец, начнет наслаждаться тем, что живет в Париже?

Пока у нее нет на это времени.

Ни-ми-ну-ты-сво-бод-ной.

Город летит мимо – картинки за окном автобуса меняются так быстро, что это может быть даже не Париж. Могли подменить город за ночь – Ада всё равно не заметила бы.

Как не заметила девушку, которая вошла на остановке “*Les Gobelins*” и уставилась на нее умными дельфиньими глазками, явно пытаясь вспомнить, где и когда они виделись.

Голова у девушки была наполовину бритой, как у каторжника.

Элизиум

Вот так Париж впервые признал Аду своей.

Это ведь только постоянные жители города могут встретить в общественном транспорте других постоянных жителей — к тому же своих знакомых.

Так считала Ада.

Неизвестно, считала ли так же Дельфин — скорее всего, она вообще об этом не думала. Она думала: где же, мерд, я видела эту лохматую девушку? Что-то с ней связано неприятное, скорее всего — родители. Один из этих дурацких званых ужинов, где отец по-прежнему изображает левого интеллектуала. Будьте реалистами, требуйте невозможного!

Дельфин родилась через пять лет после революционной весны, в мае.

Русская мама в минуты нежности звала ее «Мой майский кекс». А в минуты занудства объясняла: «майским кексом» в СССР лицемерно маркировали пасхальный кулич. Мать по сто раз повторяла все свои замшелые истории, Дельфин их уже просто слышать не могла.

Она искренне ненавидела родителей. Давно бы уже съехала от них, но Надя в этом вопросе стояла насмерть. Просто какой-то Сталинград.

У русских взрослые дети живут с родителями долго, этим они похожи на арабов.

Дельфин встречалась в прошлом году с арабом — до сих пор приятно вспомнить. Ничего лучше с тех пор, честно сказать, не было.

Кажется, эта автобусная мочалка приходила к ним домой с Татианой.

К Татиане Дельфин относилась терпимо, она не пыталась воспитывать и даже похвалила однажды ее прическу. А вот дочка у нее была — хуже не придумаешь. Ни внешности, ни ума — сплошь кости да амбиции.

Мочалка тем временем улыбнулась Дельфин — и улыбка эта была такой жалкой, что у Дельфин в животе жарко вспыхнуло сочувствие. Как будто спичку туда бросили, честное слово. Больше, чем родителей, она ненавидела только вот это свое внутреннее сострадание, которое включалось без всякого ее желания.

Мочалка, конечно, из России.

Приятно еще раз познакомиться. Адель. Дельфин. Аншанте.

Языки девушки знали примерно одинаково — Адин французский был равен Дельфиньему русскому. Можно говорить на своем родном — а слушать чужой.

Дельфин собралась выходить за две остановки до Ады. Затянула шарф, ушла было, как вдруг вернулась — резкая, некрасивая. Протянула визитную карточку, там было только имя и номер телефона.

— Приду к тебе в кино, — обещала. — Позвони, договоримся.

Ада позвонила через три дня — было наглухо занято.

Набрала домашний номер. Екатеринбург.

Трубку взял папа и, не дав ей даже слова молвить, выпалил: скоро в Париж приедет человек от Петровича. Он будет ждать Аду 10 марта в шесть вечера у Эйфелевой башни. В черной кожаной куртке, высокий рост, седые волосы. Кирилл Леонидович Буркин.

— Я отправлю с ним деньги, — сказал папа. — Запомнила, куда прийти?

Ничего лучше, чем Эйфелева башня, папа с Петровичем не придумали.

Крайне неудобное место встречи!

Папа с Петровичем не представляли себе, какая она громадная.

Ада и Кирилл Леонидович Буркин будут описывать круг за кругом, пока не встретятся — если встретятся вообще.

Но она придет, конечно же. Тем более — папа отправил деньги. Может, еще что-нибудь — такое, о чем она скучает.

О чем она, кстати, скучает?

Больше всего не хватает книг. «Госпожа Бовари», отвергнутая башкирскими цветами, выучена наизусть. Татяна принесла вялый детектив из серии *Bestseller* — его оставил кто-то из туристов. Филологи (даже недоученные) без книг быстро начинают болеть и вянуть — это правда.

Еще она скучала по маминым котлеткам и баклажанной икре. Но здесь на Кирилла Леонидовича, конечно, надежды не было.

Еще — по своей удобной кровати, подушке без единого комка и уютному большому одеялу, в которое можно завернуться, как в ковер. В левом углу одеяла — вышивка «Аде от бабушки». Бабушке было важно, чтобы Ада помнила всю жизнь, кто подарил ей такую роскошь.

Она помнила.

Вот прямо сейчас вспоминает.

Еще она скучала по домашним своенравным часам-ходикам, которые вели себя произвольно и сами решали, когда ходить, а когда — стоять. Часы-стойки.

Ада снова набрала номер Дельфин — и та ответила.

Сказала, чтобы Ада приехала к станции “*Barbès-Rochecouart*”, к девяти вечера.

Она познакомит ее с друзьями.

Ада помнила, что Дельфин под «домашним арестом».

Ей не очень понравился этот императивный тон.

И встреча была назначена слишком уж в поздний час — Аде после работы совсем не хотелось тащиться на правый берег. На окаянный Монмартр.

Лучше бы Дельфин приехала к ней в кинотеатр — днем был хороший фильм, «Пришельцы». Ада смотрела его раза три, и он казался ей всё лучше с каждым сеансом. И она уже через минуту после появления на экране Жана Рено забывала, что это — Жан Рено. Нет лучше признания для актера, чем скорость, с которой мы забываем его имя, глядя на игру. А какой в «Пришельцах» Клавье! Заодно проверила бы, как у Дельфин с чувством юмора. Вот у Олени с ним был полный порядок...

Олень... Как она там?

В почтовый ящик, который Аде помогла открыть Татяна, упал уже десяток писем из дома — а Олень прислала только два. В первом разнообразными словами ругала Аду и только под конец выдала, как милостыню: «Ужасно скучаю, Адка! Возвращайся!». Второе письмо пришло через три месяца и было мягким и ласковым, мех да шелк — Олень подробно, без халтуры и замалчиваний, пересказывала все городские новости. Некоторые были — удивительные! Аду неприятно покорило известие о том, что Эль-Маша завела роман с ак-

кордеонистом одной знакомой группы — это доказывало не только то, что аккордеонист страдал слепотой, но и то, что Эль-Маша приблизилась к заветным кущам, вокруг которых Ада и Олень безрезультатно ошивались целый год. Женечкина мохеровая супруга ждала второго ребенка. Олень и Алеша решили жить вместе — и она вот-вот переедет к нему, на Дружининскую. «Не так уж и далеко, кстати, — писала Олень, — если приспособиться к транспорту».

Что еще? В Екатеринбурге открыли «Гёссер-бар» — недалеко от цирка. Очень крутое, по мнению Олени, заведение: пиво здесь черное и горькое, официантки — сплошь в белых блузках, как секретари-референты. Олень случайно пришла в такой же блузке и целый вечер отбивалась от заказов.

Ада читала письмо Олени в свободный вечер — Паскаль болел, и мадам Наташа сидела с ним безвылазно. Ада была нужна ей именно на случай вылазок, а так она и сама неплохо справлялась со своим материнством. За исключением пустышек и памперсов, разумеется, но без исключений редко когда обходится. Это вам подтвердит любой учебник русского языка.

Целое свободное воскресенье — как подарок, но это письмо всё испортило. Одним словом «цирк», которое включило, развернуло, высветило так много всего забытого. На Елисейских полях Ада увидела вдруг свой город — ночной, скупо освещенный... Недорытое метро, ажурный белый купол цирка, похожий на модную шапку размера сто тысяч XXL. Горный институт, рядом с музеем — здоровенная каменюка, жеода бурого железняка. Внутри у этой жеоды — громадное дупло, в котором запросто могла

разместиться не одна маленькая девочка, а целый десяток. (Пришлось бы, возможно, утрамбовывать.) Маленькая Ада обожала жеоду — и всякий раз, когда папа брал ее с собой в институт, забиралась туда, как медведь за медом. А теперь в том районе открыт какой-то бар с горьким пивом, где Олень принимают за официантку. И Ады там нет, надо же, как быстро ее все забыли — даже Олень лишь на два письма расщедрилась. А еще журналистка.

И в жеоду бурого железняка прячется какая-то другая девочка.

Ну и что, вскинула голову Ада. Зато она — в Париже. Идет-бредет по Елисеям, так, глядишь, пройдет пешком историческую парижскую ось. На ось, как на кукан, нанизаны стеклянная пирамида, целых три арки, луксорский обелиск, сад Тюильри и Елисейские Поля.

Подумаешь, улица Куйбышева, горький бар и какая-то бурая железяка из прошлого. Да рядом не лежали.

И пусть Эль-Маша подавится своим аккордеонистом. Он, кстати, из всей знакомой группы самый некрасивый.

Ах, Париж!

Вот же я, иду по твоим мостовым, тротуарам, иногда наступаю на канализационные люки, а иногда и на что похуже.

Зачем вспоминать Екатеринбург?

Надо же, какие они длинные, эти Елисеи. Просто какие-то нескончаемые.

В витринах — столько ярких платьев. Оранжевые, розовые, зеленые.

— Мы ждем, когда пройдет эта мода, — высокомерно сказала однажды мадам Наташа. Она, как

все истинные парижанки, признавала только серый, черный, синий, белый и разве что капельку красного. На донышке, как вино на пробу.

Ада едва ли не до самого Дефанса дошагала в этот день. Устала хуже, чем в будни, стерла ноги туфлями, которые ей отдала всё та же мадам Наташа. Она взяла несимпатичную моду сбагривать Аде свои старые вещи: размеры у них совпадали, вкусы — категорически нет. Ада любила удобные, уютные вещи с небольшим количеством придури. Наташа была леди, и когда Ада надевала — а куда деваться? — ее вещи, то весь Париж говорил ей: «Мадам!».

Мозоли заживали долго, даже сейчас еще побаливают — хотя она в удобных ботинках. Они с Оленью купили себе одинаковые ботинки в коммерческом магазине на Пушкина, правда, у Олени — на два размера больше. Стоит Ада в этих удобных ботинках, рядом с уличным телефоном, — и думает, ехать на встречу к Дельфин или не ехать?

Париж пожимает плечами так, что деревья ахают и стонут.

«И каждый дом на набережных Сены»

Разумеется, она поехала.

Не так и много здесь развлечений; друзей — и во все мало.

Друзья, за исключением Паскаля (а он еще ребенок, потому не в счет), у Ады здесь — женщины.

Может, прав был Андре Бретон и зря она копила к нему вопросы?

Может, Париж — действительно женщина?

Ада много раз вспоминала того студента, с которым они переглядывались, вместо того чтобы ей пить кофе, пока не остыл, а ему — слушать своего научного руководителя.

Честно сказать, она специально заходила потом в это кафе недалеко от Сорбонны, но не встречала там больше ни студента, ни научную даму.

У Парижа много прозвищ.

Панама.

Парижск.

Памплюш.

Город света.

Модная столица.

А еще все считают, что Париж — город любви.

Ада здесь уже полгода — и сердце ее может вместить еще какое-нибудь чувство. То есть Париж никуда не денется, она его по-прежнему любит.

Но как-то глупо жить здесь одной.

Она вспоминает много и подробно свою несчастную любовь. Силится представить того мужчину в Париже — не получается. Они с Парижем не подходят друг другу.

Тогда Ада мечтает о том, кого еще нет.

В мужчине ей важны в порядке убывания:

— ум,

— рост,

— сдержанность,

— красивый голос,

— и пусть он хотя бы чуть-чуть знает русский.

О таких мелочах, как сексуальная совместимость и медицинская страховка, Ада не думает. Она так молода, что искренне верит: это мелочи, и всё, что нужно, появится со временем.

В назначенный день Ада надевает наименее элегантные Наташины обноски — черные брюки (катышки в промежности незаметны, если не щупать — а кому ее здесь щупать?) и серый свитер с линялыми пятнами под мышками. В химчистках эти пятна осуждающе именуют «закрасами». Но если не размахивать руками, как она когда-то давно, в позапрошлой жизни, советовала Олени, всё вместе выглядит вполне прилично. Уральские ботинки и халявный макияж из «Сефоры» тоже, конечно, добавили шарму. Вуаля!

Дельфин с друзьями ждут в назначенном месте. Какой все-таки гадкий район! И друзья у Дельфин такие, что, будь Ада ее мамой, она бы тоже посадила дочь под домашний арест. Ухватки бандитов, но при этом все они аккуратные, как гимназистки. Один парень не попал окурком в урну — подошел, поднял, исправился. Для бывшей жительницы Екатеринбурга, где по сей день принято открывать дверцы машины и харкать на мостовую, — это был, конечно, культурный стресс.

И еще ужасно смешно и мило, что все эти малолетние хулиганы говорили на французском — даже панк с гигантским розовым гребнем на голове. Картинка и звук так не подходили друг другу, что Ада хотела не меньше, чем над фильмом «Пришельцы».

— Ты зачем смеешься? — почему-то с кавказским акцентом спросила Дельфин. — Тебе мои друзья смешные?

— Нет, они классные, — испугалась Ада. — Я просто очень рада познакомиться.

— Мне уже пора, — сказала Дельфин. — Иначе мать опять оставит без карманных денег. Пойдешь со мной или побудешь с ребятами?

— С тобой, — сказала Ада. Она хотела есть, вдруг Дельфин пригласит на ужин?

— Мы с мамой встречаемся в «Шартье». К ней какие-то подружки приехали, а она всех туда водит на ужин. Хочешь с нами?

Ресторан «Шартье» с улицы не разглядишь — название и неоновая стрела показывает куда-то во двор. Мало ли куда она показывает? Ада в жизни бы не додумалась пойти в том направлении.

Оказалось — просто замечательное направление! «Шартье» — бывшая бульонная, причем бульона здесь хватило бы на целое чрево Парижа. Внутри всё гудит и клокочет — два этажа, интерьер бель-эпок, за столиком у входа японцы дегастируют телячью голову. В те годы Париж был доверху полон японцами, как сейчас — русскими. Ада голодна, но на телячью голову всё равно не согласна. Дельфин проводит ее мимо длинной очереди — «нас ждут». Ада крутит головой — какой красивый зал! Здесь бы музей открыть, а не ресторан. Дельфин поднимается на второй этаж, и там действительно сидит Надя за столом, накрытым бумажной скатертью, а с ней еще две тетki. Одна — в темном платье, с плохим запахом изо рта, других примет нет, но и этих достаточно. Вторая — из породы бывших красавиц, вечно обиженных на несправедливость времени. Обе противные, а Надя — прелесть. Жаль, что Дельфин совсем на нее не похожа. И еще жаль, что эта мысль читается в глазах матери всякий раз, когда она видит свою дочь.

Что уж говорить про подружек-москвичек. У воючей даже рот открылся сам собой, а списанная красотка начала ерзать на месте и выкрикивать:

— Ну да! Конечно! Я помню тебя таким ма-аленьким дельфинчиком, а сейчас вот какая ты выросла красавица!

Ада уже сталкивалась, несмотря на скудный жизненный опыт, с такими дамами — они считают своим долгом восхищаться всеми. Хотя вот именно в этом случае было бы лучше промолчать. Она сама, к примеру, тут же опустила глаза вниз — и увидела, что на скатерти написаны какие-то цифры.

Умница Надя включила любезную парижанку:

— Ты правильно смотришь, Адочка! Это особенность «Шартье» — здесь пишут заказ прямо на скатерти!

И вправду — прибежал официант в длинном фартуке, спросил, чего желают мадмузели? Дельфин заказала, к ужасу Ады, потроха на гриле. Москвички — улиток и креветок. Надя — эльзасский шукрут. Ада долго вычитывала самое дешевое блюдо и нашла в конце концов целых два — родной салат из помидоров с огурцами и сельдерей под соусом ремулад.

— Адочка, ты вегетарианка? — переспросила Надя, но Ада не ответила. Она ведь не знала с точностью, заплатят за нее здесь или нет. Официант вслух повторил заказы, еще почеркался на скатерти и улетел вниз с полным подносом чужой грязной посуды.

Вонючка и Красотка (имен Ада не запомнила — потому что дамы представлялись еще и с отчествами) пошептались — и сказали, что сегодня они могут выпить. Надя тут же выбрала подходящее вино, а пробу снимала Дельфин — как хозяйка пробует суп, так и она подняла к губам бокал и осторожно пригубила.

— Неплохо, — одобрила, и бутылку разлили на всех.

Смотреть, как ведут себя малопьющие дамы после ста граммов — редкое удовольствие. Красотка в минуту налилась алой краской — как будто бледная ягода «виктории» созрела на глазах у пораженного садовода. Она дернула себя за ворот блузки, оторвала пуговицу и заухала таким тяжелым смехом, что люди стали оборачиваться в поисках возможной совы. Было ясно, что Красотка считает свой смех очень привлекательным — во всяком случае, Ада не решилась бы ее разубеждать. Впечатление несколько портила кривоточная шелуха, застрявшая у Красотки между зубов.

Вонючка вела себя кардинально противоположным образом. Хороший коп ходит с плохим копом, интраверт любит экстраверта, а Вонючка дружит с Красоткой. Выпив, Вонючка поначалу ушла глубоко в себя и сидела за столом с несколько оскорбленным видом. Она не поддерживала беседу, не ела своих улиток — даже не пыталась выковырять их из домиков специальной вилочкой. Оказалось, что она настраивается — и сейчас будут стихи:

Неслись года, как клочья белой пены...
 Ты жил во мне, меняя облик свой,
 И, уносимый встречною волной,
 Я шел опять в твои замкнутые стены.

Читала Вонючка нараспев, хорошо интонировала и подвывала в нужных местах. Ада невольно заслушалась, вспомнив лекции по русской литературе, которые вел у них большой знаток поэзии. Читал по памяти, и Вонючка ему не уступала:

Но никогда сквозь жизни перемены
 Такой пронзенной не любил тоской
 Я каждый камень вещей мостовой
 И каждый дом на набережных Сены.

Здесь она забыла продолжение и еще раз повторила последнюю строку — как в припеве: «И каждый дом на набережных Сены...»

После чего резко наклонила голову, как будто поклонившись — и ее двойной подбородок расцвел на платье широким воротником.

Надя, насколько успела понять Ада, больше всего в жизни не любила экзальтированного поведения — да еще и на людях, стыд какой! — и теперь вежливо улыбалась Вонючке белыми губами. Хороший коп Красотка попыталась аплодировать подруге и сшибла локтем тарелку с потрохами. Дельфин невозмутимо поймала тарелку в воздухе, а следом — и Адин взгляд, всё в секунду:

— У меня хорошая реакция!

От тарелки с потрохами пахло вкуснее, чем от Вонючки.

Ада доедала салат, пытаясь в то же самое время решить: можно ли ей взять еще один кусочек хлеба из общей корзинки, или это будет неприлично?

Надя тем временем не сдавалась — развлекала всех общей беседой:

— Говорят, что у Шартье в прежние времена завтракали грузчики с Центрального рынка.

Ада закашлялась, хлеб угодил, как мама говорит, «не в то горло». Маленькая Ада спрашивала: а сколько у человека горл? Или надо говорить — «горлов»?

Эта маленькая Ада снова выпрыгнула из жюды железняка — хозяйкой бурой горы. Она услышала слова «Центральный рынок» и увидела не то, что каждый. И вспомнила не Золя и не Жака Ширака.

Ее опять унесло из Парижа — не удержаться! Двадцать шестой трамвай со страшным скрежетом повернул на Московскую и даже как будто слегка завалился набок, высаживая Аду. Олень подхватывает ее под руку — скорее, концерт вот-вот начнется, а им еще нужно купить колготки и тушь для ресниц.

Весь рынок — на ногах. Люди стоят и держат перед собой вещи, как будто прикрываясь. Ада и Олень идут через живой коридор, и откуда-то несутся заклинания цыганок:

— «Мальвины», «Мальвины», берем «Мальвины», девочки!

Джинсы «Мальвины» им точно не нужны. К цыганам у Олени врожденное отвращение — Ада подзревает, что она их попросту боится. Однажды на Амундсена цыганка схватила Олень за волосы — и дернула, так что та даже взвизгнула, бедная. Олень в отличие от Ады никогда не мечтала о том, чтобы волосы у нее росли пореже.

А цыганка стала еще плевать себе на руку, прямо в кулак, где были зажаты волоски:

— Сделаю тебе по-всякому, лучше заплати!

Олень призналась, что выкупила у нее свои волосинки, как заложников.

Много чего можно вспомнить про этот Центральный рынок.

Как-то раз Ада ждала, пока продавец найдет сдачу, и вдруг почувствовала у себя в карма-

не куртки чужую руку, прихватившую кошелек. У Ады сильные руки — спасибо этюдкам Черни и сонатинам Кулау. Прижала воришке запястье и как закричит:

— Костя! Костя! Иди скорее сюда, меня грабят!

Откуда она взяла этого Костю, потом только вспомнила. Это у нее была такая давняя мечта — чтобы старший брат. Суровый взгляд, а плечи такие, что на каждое можно по кирпичу положить — и не упадут. Он бы научил Аду собирать окаянный кубик Рубика (а то она может только одну сторону), брал бы с собой на рыбалку. Мальчишки во дворе жаловались бы взрослым:

— А чего она своим братом страшает!

К сожалению, этой мечте никогда не сбыться. Нет у нее Кости. Но иногда — в редких случаях — даже мечта помогает.

Воришка затрепетал — прямо как рыбка, которую поймал бы Костя:

— Не надо, не зови его! Я тебе, вот, десять рублей дам.

Ада взяла деньги, разжала свой наручник — воришка полетел прочь, как будто им из лука выстрелили. Такие вот этюды черни.

Начинающий, наверное, был, — думала она теперь в «Шартье», почему-то — с симпатией.

А пьяные гости тем временем завели с Надей и Дельфин неприятную беседу. Дельфин участвовала в разговоре пассивно — соглашалась со всем сказанным, кивала и мыслями находилась едва ли не так же далеко отсюда, как и Ада. Несчастливая Надя отдувалась за всех.

— Вот ты, Надька, живешь в Париже, — говорила Красотка, — и думаешь, что мы тебе завидуем.

Вонючка отрицательно покачала головой, предугадывая следующую мысль.

— А мы не завидуем! — продолжала Красотка. — Да, здесь красиво, и вкусно, и магазины... Но ведь ты полностью вырвана из питательной среды родного языка! Дочь уже почти не хочет говорить на русском, верно, деточка?

— Не хочет, — подтвердила Дельфин.

— Но ведь это очень плохо для нее, — сказала Вонючка.

— Я ей передам, — развеселилась Дельфин.

Надя вздрагивала, пытаясь ответить, но ей каждый раз преграждал дорогу сухой и острый палец Вонючки, ходивший из стороны в сторону, как «дворник» по стеклу машины.

— Мы не хотели тебе говорить, — заявила Красотка, — но ты уже звучишь с акцентом. Тебе нужно как можно больше учить стихов, правда, Зинаида Павловна?

— Правда, — подтвердила Вонючка. — Вот я вам сейчас еще прочту.

Она декламировала Волошина, потом Цветаеву, потом еще какие-то стихи о Париже, каких Ада, к удивлению своему, не знала. Она считала, что знает все.

— Да кто они такие? — спросила шепотом у Дельфин, пока Вонючка кланялась, снова распластав на груди подбородки.

— Артистки, — зевнула Дельфин. — Кстати, у меня есть для тебя очень хорошая работа. Насильно лучше, чем мыть туалеты в кино.

Дельфин делала очень смешные ошибки в словах, но Ада не решалась ее исправлять.

А Надя шикнула на девушек. Не болтайте! Лучше послушайте русскую поэзию. Она, судя по всему, робела перед этими своими подругами. Хотя была раз в сто лучше. И красивее. И добрее.

Вонючка оказалась набита стихами под завязку, они сыпались из нее, как звезды с неба в летнюю ночь. И читала даже не хорошо, а прекрасно — Ада наслаждалась, слушая, а то, что за соседним столиком негромко возмущается французская семья, — ну так что ж.

От еды Аду слегка клонило в сон, но, когда принесли счет, она взбодрилась. Счет был общий, правда, Надя тут же быстро подсчитала, кто сколько должен платить. Подруг это явно расстроило — а вот нечего критиковать людей на их территории! От Адиных денежек Надя отказалась. А неловкая Вонючка уронила с балкона двадцатифранковую купюру, и снизу тут же раздался счастливый смех:

— Денежный дождь!

Вонючка испугалась: вдруг ей не отдадут купюру? Их нравы, гримасы капитализма, чужой монастырь... Но тут Дельфин сбегала вниз, принесла деньги, и Зинаида Павловна потеплела:

— В целом, конечно, прекрасный это город — Париж. А вы, Адочка, тоже учитесь в Сорбонне?

Баш на башне

Бог с ними, этими пожульканными артистками, — пусть их и дальше тошнит стихами и премудростями.

Бог с ними, а Париж — с нами.

Дельфин так осточертела учеба, что она решила купить себе рабыню — для посещения лекций, конспектирования и письменных работ. Единственное условие — не проговориться папан или маман. Даже Татиане — ни слова. Дельфин будет платить Аде наличными раз в месяц — в кинотеатре столько получал разве что директор.

— Откуда у тебя деньги? — спросила Ада.

— Экономия завтраков, — отшутилась Дельфин.

Учиться в Париже — пусть и не за себя, а за ленивую француженку, да еще и на отделении «Литература» — кто сможет от такого отказаться?

Кто точно не сможет — так это Ада.

Из кинотеатра ее отпускали неохотно. Таких старательных работниц, к тому же без вредных привычек — днем с огнем. Если захочет вернуться, двери будут всегда для нее открыты (в том числе и двери в туалетные кабинки).

Сначала Ада, как всякий нормальный человек, хотела совместить одну работу с другой (Паскаль оставался при любых раскладах — на воскресенье Дельфин не покушалась), но ее новая хозяйка запротестовала.

— Мне надо, чтобы ты полностью выкладывалась. Я должна не просто учиться, я должна быть одной из лучших!

Видимо, родители что-то пообещали в обмен на успехи своей «рыбоньке», как называла ее в минуты нежности Надя. Ада, размышляя об этом, отследила внутри себя самой какую-то странную реакцию. Впервые в жизни ей стало по-настоящему обидно за Аду Морозову, одну из лучших студенток Уральского государственного университета. Никто и никогда не пытался подкупить ее — не сулил пол-

царства и коня в обмен на приятные родительским сердцам записи в зачетной книжке. Ада училась только для самой себя.

А теперь будет учиться для Дельфин.

Первую неделю они ходили на занятия вместе. Ада и не думала, что так соскучилась по учебе — но как вдохнула книжный аромат, так чуть не проследзила.

Конечно, преподавали совсем не то и не так, как дома. И само здание — Нантер, «колыбель папиной революции», как язвила Дельфин, ничем не напоминало университет в Екатеринбурге. УрГУ — строгий и величественный храм науки. И цвет у него такой приятный, серый, как у мокрого слона.

Нантер похож на скучное офисное строение.

Студентов каких только нет. Вот разве что русских.

Русские появятся позже. Матрешки, благодарственные письма от «Газпрома», сумки «Луи Виттон», брошенные на пол, как туристические рюкзаки в электричке.

Ада — как динозавр — была раньше.

И скрывала всё, что было в ней русского.

Выдавали акцент, тревожный прищур и скулы.

Учиться оказалось легко. И радостно, что не нужно больше драить чужих туалетов.

На второй неделе Дельфин уже не ездила на занятия. Ада и без нее отлично справлялась, даже забывала иногда, что учится не за себя, а за «рыбоньку».

Татиана заволновалась, как будто на расстоянии почуяла перемены в жизни Ады. Звонила, приезжала, а ее всё нет дома и нет. Оставила записку у кон-

сьержки: «Ты где? Срочно перезвони!» Ада позвонила в воскресенье, сказала, что нашла другую работу, потом расскажет. Паскаль не дал им долго разговаривать, для него настали сложные времена — отучались и от соски, и от памперсов сразу.

А фальшивая студентка едва не забыла о встрече с Кириллом Леонидовичем Буркиным, папиным гонцом. В последний момент вспомнила!

Вышла на станции метро *“Bir-Hakeim”* — и снова, в бессчетный раз замерла от мысли, что она здесь, в Париже. Привыкнуть к этому получилось еще очень нескоро.

Мост Бир-Хаким и сам собой красив, и Башня выглядит отсюда совсем иначе. Рядом — узкий Лебязжий остров и маленькая статуя Свободы.

Первым же человеком, которого Ада увидела под Башней, оказался седой мужчина, соответствующий описанию. В руках он нервно сжимал чехомоданчик-«дипломат». И поглядывал на вершину Башни с каким-то, как показалось Аде, осуждением.

— Мы ведь поднимемся, да? — спросил он Аду сразу же после того, как они друг друга признали. — Ты уж, поди, сто раз там была?

Буркин сразу решил, что с Адой можно запросто, на «ты». Раньше ее такие мелочи не смущали (как д'Артаньяна — грубая форма женских рук), но сейчас панибратство покорило. Более того, Буркин даже на Башню вдруг сумел распространить свое вредное воздействие — впервые в жизни Ада подумала, что она похожа не только на первую букву ее имени или ракету на старте — напоминает еще и пьяницу, писающего на дерево, широко расставив ноги.

В Екатеринбурге Олень жила на первом этаже, с видом на стройку и магазин. Однажды поутру, выглянув в окно, увидела целую шеренгу солдат перед забором — они на нем не писали, они на него писали.

Кирилл Леонидович имел полный рот железных зубов — и, наверное, запросто мог бы перекусить ими проволоку, но вместо этого улыбался и тащил Аду за руку, чтобы купить билет на Башню.

Наверх шустро летели красные коробочки лифтов.

Она, честно сказать, не собиралась никуда с ним подниматься — взять бы деньги, да и уйти обратно, к мосту «Бир-Хаким». Но как это можно было сделать, не обидев Кирилла Леонидовича, совершенно непонятно.

К тому же она поднималась на Башню давно — в октябре, вместе с группой.

И не отказалась бы еще раз посмотреть на Париж с верхней площадки — там, где золотистые телескопы, а люди внизу — мелкие и черные, как шелуха от семечек.

Кирилл Леонидович умело занял очередь, в нем чувствовалась советская «сборка». Непонятно почему Аду это вдруг расстроило.

Она заметила, что под курткой у Буркина — рубашка в клетку, и эта клетка — точь-в-точь как на рубашках игральных карт.

А на пальцах гонца — лиловые цифры 195?..

Кого же ты прислал ко мне, папочка?

Не хочу я с ним никуда. Даже на Башню.

Очередь шла быстро, Ада пыталась вести беседы: как вам Париж, да как там в Екатеринбурге.

Темы благодатные, говори — не хочу.

Вот Буркин и говорил.

Париж ему не нравится, потому что здесь всё дорого и никто не понимает по-русски. Могли бы выучить после всего, что сделала русская эмиграция для Франции.

— Вы хотели сказать, после того, что сделала Франция для русской эмиграции? — не поверила своим ушам Ада (хотя уши были, несомненно, ее — всё такие же, к сожалению, крупные. Олень часто дразнила Аду Буддой).

— Я сказал то, что хотел сказать! — надменно объяснил Леонидович. — Мы облагородили ихнюю породу, понимаешь?

И сплюнул на асфальт. Плевок получился густой, с зеленой серединкой. Ада хотела гордо удалиться, но они уже зашли в ту часть очереди, откуда не выберешься без громких извинений и расталкиваний уважаемой публики.

Она замолчала, и всё время — пока поднимались вверх, на первый, второй и третий уровень, молчала. Думала про забытого архитектора Башни — между прочим, именно Стефан Совестр придумал эти арки, украшения и круглую маковку...

Кирилл Леонидович укоризненно смотрел с башни вниз. Потом, Ада увидела, достал ножик из кармана (как месяц в старой считалке) и начал вырезать на перильцах буквы.

— Вы мне деньги привезли? — грубо спросила она.

— А как же, — ответил Буркин и сплюнул вниз. — На головы беспечных парижан! — засмеялся он. Не чужд оказался поэзии.

— Мне пора идти, — отчетливо сказала Ада. — Отдайте деньги, пожалуйста.

— А кто узнает, что я их тебе не отдал? — дерзко спросил Леонидович, убирая ножик в карман. — Ты же этот, как его, нелегал. Кто тебе поверит?

— Папа! — сказала Ада. — И Петрович узнает, я всё расскажу.

— Ну, ты это, успокойся. Что так вопишь, на нас вон уже какой-то мужик, это самое, смотрит. Будут тебе твои деньги, но сначала помоги мне с покупками. Я жене, это самое, туфли обещал. И вино французское.

Ада успокоилась. Буркин сердился не на нее, а на Париж.

Перед тем как спуститься, он зашел в туалет — чтобы, по всей видимости, пометить собой Башню всеми доступными способами. Ада в это время подошла к перильцам — и, прищурившись, как будто смотрела фильм ужасов, глянула, что там выцарапал далекий гость. Ожидала традиционные три буквы, но нашла только две — К.Б. Этот вензель ее странным образом растрогал.

Через час они уже были в Дефансе — купили и туфли, и вино в «Николя». Дефанс понравился Леонидовичу — здесь всё было современное. «Небоскребы, это самое! И цены — можно жить».

Он даже на ужин Аду пытался пригласить, но она сказала, что очень занята.

Прощались на площади Звезды. Леонидович с неохотой вынул из сумки мятый конверт.

— Ну, прощай, нелегал! — сказал напоследок.

И Ада, в облегчении и радости от того, что деньги с ней и всё это окончилось, — испытывала в то же время странную, не знакомую прежде тоску — по родным словам, родной грубости, родным привычкам, таким нелепым и таким, оказывается, жи-

вучим... Буркин на время перенес ее домой, в Екатеринбург.

А теперь она снова осталась одна.

“April in Paris...”

Папа прислал так много!

Честно сказать, можно было месяц вообще не работать — а жить себе в удовольствие, как испокон веку было принято в Париже. Не все так здесь жили, но многие. И воспоминания о том, как прекрасен Париж для бездельников, эти многие носили потом с собой всю жизнь. Утешались этими воспоминаниями, доставали их при первой же возможности. Не зря Хемингуэй назвал свою книгу «Переносной праздник».

Ада, впрочем, и не работала. Она училась.

В субботу приходила к библиотеке святой Женевьевы и вместе с другими студентами стояла в очереди.

Читала то, что нужно было прочесть Дельфин, а потом еще и для себя — Газданова, Куприна, Бунина.

Бунин был любимым писателем Адиной мамы. Она читала его по кругу, не могла насытиться.

Папа ревновал к Бунину — он вообще всегда страдал, когда мама хвалила кого-то другого, не папу:

— У него все рассказы о том, как он любит простых баб.

Ада вычитывала из прозы Бунина Париж — опять, как раньше. Как будто не было за стеной Парижа реального.

Читальный зал библиотеки — как старинный вокзал.

И эти трогательные, такие личные лампочки...

В воскресенье — к Паскалю. Мальчик повзрослел, изменился. Вдруг начал стесняться Аду, отказывался переодевать при ней штанишки.

— Превращается в мужчину, — сказала мадам Наташа. И снова вручила Аде мешок с обносками.

Дельфин наслаждалась свободой и высоким рейтингом — контрольные в течение семестра за нее писала Ада. И вела конспекты, и каждый день отмечалась за мадемуазель Пакте.

Но вот как быть с экзаменами? Не может же она превратиться в Дельфин на самом деле! Даже если сделает такую же дурацкую стрижку, Ада и Дельфин совсем не похожи (к счастью для Ады).

Ее это очень беспокоило, а Дельфин всё время отмахивалась — да ладно тебе, что-нибудь придумаем.

Это у нее было очень русское качество — оставлять всё на потом, рассчитывать на Бога, черта и доброго человека, лишь бы не на саму себя.

Ада между тем понемножку обросла в университете знакомыми — то есть она поначалу пыталась быть нелюдимой и скованной, но потом расслабилась. Дружить с ней никто не рвался, но здоровались и общались так, что это могло сойти за некоторое подобие приятельства. Большого Аде, наверное, не требовалось — она была счастливо влюблена в Париж. Счастливо влюбленным людям друзья не нужны — особенно в тех случаях, если ты собираешься обмануть этих друзей в конце семестра.

В апреле, когда парижские каштаны в одну ночь вдруг покрылись розовыми цветами, Ада шла че-

рез Сите, возвращаясь с правого берега. Был ранний вечер. Туристы выбегали на середину бульвара дю Пале — и замирали перед объективами.

— Сними, чтоб цветочки попали! — услышала Ада. И какой-то уличный артист тут же запел, как в ответ:

*...April in Paris, chestnuts in blossom
Holiday tables under the trees
April in Paris, this is a feeling
No one can ever reprise...*

Ада прикасалась к домам и дворцам, приветливо кивала Нотр-Даму и Сен-Шапели — как старым знакомым. Проверяла, всё ли на месте в ее владениях — так ли прекрасен Париж сегодня, как вчера? Город был теперь ей близок и понятен, он стал родным, и как хорошо, что ей не нужно отсюда уезжать. Нет ничего хуже, чем уезжать из города, который ты понял и полюбил, — это всё равно что умирать в тот момент, когда ты разобрался наконец, зачем живешь.

Что и говорить — пока ей сказочно везло.

— *What have you done to my heart...* — допел наконец артист и деликатно подопнул ногой свою кепку в сторону слушателей. Ада бросила туда монетку, но она укатилась куда-то в сторону. И затерялась. «На хорошую погоду», — решила Ада и подошла ближе к певцу, чтобы не промазать во второй раз. Попала.

— Спасибо, — по-русски сказал певец.

Странно: раньше Ада не замечала, сколько в Париже русских.

Той ночью, апрельской и каштановой, ей впервые приснился другой город.

Она ехала в троллейбусе и мерзла. Очень мерзла. (Видимо, сбросила с себя одеяло, а отопление она не включала с февраля, потому что счета приходили такие, что согреться можно было от одного только взгляда на эти суммы.) Он весь насквозь промерз, этот поздний троллейбус, с Химмаша. Задубевший, как пододеяльник, который оставили сушиться на улице — а ночью внезапно выпал снег. И теперь этот пододеяльник стоял колом, как выражалась мама Олени, женщина простая и мудрая.

Ада сидела высоко, в том кресле, которое на колесе, — и была в троллейбусе совсем одна.

Внутри — темно, за окнами — только лунный свет. И троллейбус едет и останавливается, где нужно, с какой-то ненавистью распахивая дверцы. Ада не успевала понять, где они едут, а потом в троллейбусе откуда-то взялся еще один человек — мужчина, с тонкими чертами лица, такими тонкими, что это были именно черты, черточки, очертания... Может, это были даже не черты, а черти лица, потому что в нем, в этом мужчине, имелось что-то хитрое, чертовски четко очерченное... Он был в легкой куртке и ботиночках, а на Аду сновидение напаялило толстую шубу, которая совершенно не грела, но всё равно была шубой, по крайней мере с виду.

Черт бегал по вагону в своих ботиночках, пытался согреться, но это было бесполезно — Ада поняла, что он сейчас замерзнет насмерть, если она не поможет.

— Снимайте обувь! — скомандовала она. Пока тот стаскивал с ног окостеневшие ботиночки, Ада, шатаясь, чтобы не упасть, — троллейбус летел быстро — перешла к нему, плюхнулась на сиденье напротив и сказала:

— Кладите сюда ноги.

Сюда — в смысле, под нее. Самое теплое в этом троллейбусе место.

Черт послушался, через секунду Ада сидела на его ледяных ступнях, как курица на мертвых яйцах. Потом троллейбус всё с той же ненавистью раскрыл дверцы — и на черном фоне Ада вдруг увидела белый резной купол цирка, похожий на колпак для торта, а рядом с ним — серый хобот недостроенной телебашни. Олень, чуткая к любому пейзажу и несомненно одаренная по визуальной части, всегда возмущалась этим соседством.

— Не надо быть Фрейдом, чтобы понять, что я имею в виду! — говорила Олень, хотя Аде эта фраза больше бы понравилась, будучи оконченной на слове «Фрейдом».

Всё это она вспомнила во сне и удивилась — откуда взялись цирк и телебашня, ведь троллейбусы здесь не ходят... Троллейбус, как будто отвечая, начал вдруг громко, протяжно гудеть.

Ада проснулась в своей холодной комнатке, с остывшей грелкой в ногах.

За окном был Париж, воскресенье. Громко и протяжно гудел домофон, как будто вообразил себя пароходом.

— Кто там? — спросила Ада, всё еще не очнувшись от этого странного и, несмотря ни на что, прекрасного сна.

Ранний воскресный гость — и в последнее время редкий. Татиана.

Лицо у нее такое, что Ада сразу проснулась и поняла — сейчас будет неприятное.

Татиана была похожа на человека, который с трудом пытается открыть «Советское шампанское»

за новогодним столом. Были у нее в лице и предвкушение, и опасение, и желание сделать всё красиво — чтобы не выстрелить ни в кого пробкой.

Раньше она всегда приносила с собой круассаны, пирожные или сыр, какое-то вкусное излишество, которое Ада себе позволить не могла.

Сегодня утром руки у Татианы были пустые, и она их сложила на груди крестом, как женский Наполеон. Ада в старенькой ночнушке, списанной из гардероба мадам Наташи, чувствовала себя голой и глупой.

— Что случилось?

— Со мной — ничего! — Татиана как будто извинялась за то, что у нее всё в порядке. — А вот с Дельфин — очень даже случилось! Я тебе русским языком говорила: у девочки проблемы. Она — наркоман.

— Наркоманка, — поправила Ада, с ужасом понимая, что не утратит способности исправлять речевые ошибки окружающих даже на смертном одре.

Татиана так грозно глянула на Аду, что она вынуждена была схватить халатик со стула и вернуться в него — добавить лишний слой защитной одежды.

— Будешь чай? — виновато спросила у гостьи, и та сдалась — знакомым движением рванула с шеи свой платок. По комнате поплыла душная волна «Трезора». Ада плюхнула в чайник горстку заварки. Татиана достала из сумки плитку шоколада и рассказала наконец всю историю.

Дельфин в последние недели так решительно исправилась в учебе и поведении, что Надя слегка ослабила хватку, а Марк никогда и не пытался как-то влиять на дочь — он считал, что сделал для

нее самое главное, подарив жизнь. Надя, проверяя конспекты, убедилась в том, что «рыбонька» плывет верным маршрутом — и начала понемногу отпускать ее из дома. Потом кто-то из родителей хватился — оказывается, Дельфин давно подбрала пин-коды к их кредиткам и высасывала понемногу с каждого счета — как змеиный яд из раны.

— Мне придется всё это вернуть? — ужаснулась Ада. Как все эгоистичные люди, она моментально вычленила из потока информации то, что касалось ее особы лично.

— Нет, — сказала Татиана. — Надя прекрасно понимает, что тебя на это подбила Дельфин. И не такая уж там на тебя уходила сумма. На кокаин — гораздо больше.

В один не прекрасный вечер Дельфин доставили в клинику с передозом. Откачали, живая. Родители увозят ее в закрытое заведение, куда-то в провинцию.

— Бедняги, у них такие долги, а теперь еще и это, — сочувствовала Татиана.

Ада заплакала — это были первые слезы в Париже. Она плакала очень редко, иногда специально заставляла себя смотреть грустные фильмы про бедных старичков или несчастных брошенных собак — чтобы выплакаться. А тут, без всяких фильмов, заплакала — с соплями, всхлипами, с трясущейся губой.

Татиана перепугалась, начала рыться в своей сумке — то ли платок искала, то ли таблетку. Нашла в собственной голове — идею.

— Пойдем гулять! Я сегодня почти свободна — Шарлотт с ее папой уехали к свекрови.

— А ты почему не поехала? — успокоившись, спросила Ада. Умыться, высморкаться, одеться — и забыть эту истерику, как страшный сон. Сон, впрочем, был не страшный, и он-то как раз не забылся.

— Не переживай, они и без меня отлично проведут время, — ровно сказала Татиана, но уголком губ все-таки дернула.

— Но у меня сегодня Паскаль.

— Позвони и скажи, что заболела — голос у тебя как раз подходящий, осипший.

Мадам Наташа расстроилась, но согласилась с тем, что не следует подвергать опасности слабую иммунную систему Паскаля.

Ада считала, что они погуляют рядом с домом, может, дойдут пешком до Люксембургского сада, но Татиана повезла ее в метро, в нелюбимый район — Сен-Дени.

— Когда мне грустно, я всегда сюда приезжаю, — сказала Татиана. Она много чего рассказала Аде в тот день — как волновалась за нее всё это время, как напридумывала неизвестно чего. Шарлотт даже приревновала маму к этой русской девочке, которая моет туалеты в кино.

— Больше так не пропадай, пожалуйста, — попросила Татиана. — И, кстати, что с кино? Вернешься?

— Ты так спрашиваешь, будто я снимаюсь в главной роли, — сказала Ада.

Они грустно посмеялись.

За окном поезда показалась гигантская тарелка стадиона.

— Нам на следующей, — сказала Татиана.

Базилика Сен-Дени выглядела очень странно — как будто у нее отломали левую башню.

— Здесь похоронены почти все французские короли, начиная с Дагобера, — сказала Татиана.

Статуи лежали на спинах, как мертвые люди. Татиана опять включила в себе гида — до отказа. Рассказывала про меч Жанны д'Арк, рог Роланда, шахматы Шарлеманя, зеркало Вергилия и золотую чашу Соломона — до революции всё это хранилось здесь. А потом возбужденные толпы (она так и сказала) разграбили аббатство — и заодно выкинули отсюда останки королей. Пятьдесят четыре дубовых гроба Бурбонов были вскрыты, как банки с сардинами! Тело Людовика Четырнадцатого смердело, лицо было черным, как у черта.

— Говоришь, тебя это успокаивает? — съязвила Ада, но Татиана не услышала. Глубоко ушла во французскую историю. По пояс, не меньше.

Потом венценосный прах вернули на место, в крипту. И даже добавили новые надгробия — тела Людовика Шестнадцатого и Марии-Антуанетты, которые лежали в яме на улице Анж.

Татиана на секунду умолкла, а потом вдруг спросила:

— Кстати, кто твой любимый французский король?

— Генрих Четвертый, — сказала Ада.

Ада и Адель

Зачем теперь ходить на лекции?

Точнее, ездить. Не ближний, кстати, свет. (Ученые — свет.)

Ада маялась-маялась, потом вскочила в шесть утра — и поехала в Нантер.

И хорошо сделала, что поехала.

Тем утром она встретила студента. Того, из кафе, который был смуглый и тонкий, как деревянная статуя в музее Клюни. Лицо из резких углов, мечта кубиста. Волосы блестящие и черные. И он ее узнал. Глаза вспыхнули, бонжур!

Ну, бонжур.

Как тебя зовут?

Адель.

Да ну? Меня тоже.

Оказывается, это еще и мужское имя, немецкого происхождения. И арабского.

У этого Аделя мама — немка, а папа — араб. Они хотели найти такой вариант имени, чтобы подошел и одной культуре, и другой.

А меня зовут вообще-то Ада. Я русская.

Я так и подумал.

Почему я тебя раньше не видела?

Не знаю, всё время здесь провожу.

А я теперь, наверное, не буду учиться.

Почему?

(Ну вот как ему объяснить?

И так не хочется, чтобы он уходил...)

Париж выдал им две встречи — вдруг на этом всё?

Даже в таком маленьком городе можно жить и не встречать друг друга годами.

К счастью, существуют телефоны. У Аделя есть даже сотовый — его можно носить с собой и звонить откуда пожелаешь.

Ада позвонила вечером — из будки, которая рядом с метро.

Они гуляли в Люксембургском саду, пересчитывали статуи королев. Охранник у дверей Сената

громко пел песни, не покидая своего поста. Туристы бросали монетки в фонтан Медичи. Вдали гигантским черным зубом торчала башня Монпарнас.

Потом был церемонный ужин. Шелковые салфетки, мясистые опаловые устрицы, ледяное белое вино, от которого Ада вдруг опьянела так, как будто должна была оправдать этим вечером все другие — трезвые.

Она рассказывала Аделю про свой родной город — Екатеринбург.

В рассказах Екатеринбург выглядел жалким и убогим, и сложно было понять, почему Ада плачет, вспоминая строительные заборы с отодранными досками и рыбаков на льду городского пруда.

— Утром выходишь из дома — а там всё черное, как в гробу.

— Наверное, ты скучаешь по родителям и друзьям, — сказал Адель. — Но я тебя понимаю — ты хотела уехать в Париж, а я всю жизнь мечтал о Нью-Йорке.

У них не только имена были одинаковые.

Они еще и в города играли оба.

Истинный парижанин, сын немки и араба, Адель влюбился в Нью-Йорк, когда ему не исполнилось и пяти лет.

Увидел афишу в бюро путешествий — оцетинившийся Манхэттен, гигантский шприц Эмпайр-Стейт-Билдинг и желтый Бродвей: такси плывут по нему, как по Нилу крокодилы.

После этой картинки родной серый Париж показался Аделю скучным, как вечер с родителями.

— Я люблю Дефанс, — говорил Адель, — вот скоро его достроят до конца, и будет похоже на Манхэттен.

Родители подарили ему поездку в Нью-Йорк на окончание школы. Адель всю неделю не спал, ему казалось, что сон в этом городе – предательство, или уж, во всяком случае, большая глупость.

Он поднимался на крышу Международного торгового центра.

Пил пиво в клубе «Джекил и Хайд».

Плавал к статуе Свободы – она зеленая, как парижский Шарлемань.

– Ты знаешь, что так называлась дивизия в составе войск СС – «Шарлемань»? – спросила Ада.

– Я бы хотел знать, почему ты это знаешь, – дипломатично ответил Адель.

Из Нью-Йорка он вернулся в свой маленький Париж – и твердо решил, что при первой же возможности уедет отсюда.

Ада слушала его и думала: никуда ты не уедешь.

Мы будем жить в Париже.

Нью-Йорк стоит отпуска.

Париж – целой жизни.

Вечером пошел дождь, Адель вез ее домой в такси.

Последнее, что она запомнила в тот вечер, – красные отсветы огней на мокрой дороге. Как пятна от витражей на холодных камнях собора.

Олень и ребята

Ада не глядя сунула руку в сумку – и ахнула от боли. Напоролась на расческу, вечно лежит зубчиками вверх!

Адель сколько раз ей говорил – для твоей сумки нужны фонарик и путеводитель.

Они живут вместе пятнадцать лет. У Аделя не может быть детей, значит, у Ады их нет.

Дети у них могли получиться очень красивые. Русская, арабская и немецкая кровь — да еще под сенью Парижа!

В последние годы Аде всё труднее вспоминать такие слова, как русское «сень». В поисках пропадающих понятий она кривится, жмурится и делает такое лицо, как будто у нее всё тело чешется. По неволе вспомнишь ту актриску из «Шартье» — вот что бывает с людьми, вырванными из питательной среды родного языка!

Ей даже сны теперь удобнее смотреть на французском.

Сны на французском — про город, в котором она жила в детстве и юности.

Екатеринбург.

Сейчас каждый может.

Документы у нее в полном порядке. Париж был таким добрым, что выдал Аде и любовь, и мужа вместе, а ведь часто бывает — одно и другое по отдельности.

До встречи с Аделем она и не подозревала, что сможет так любить живого человека — а не город из книг и снов.

Париж был очень добр к Аде.

И люди, конечно, тоже.

Татиана устроила ее на работу, а потом научила, как выправить документы — оказывается, при желании и за деньги можно сделать всё очень красиво и быстро. В паспорте ставят фальшивую отметку о выезде, потом надо было съездить в Москву за новой визой с прекрасным уточнением — виза невесты.

Дельфин привела ее в Сорбонну, которую Ада окончила на законных основаниях, а Надя не стала выяснять с ней отношения.

Мадам Наташа одевала ее в свои ужасные, но теплые обноски, а Паскаль согревал настоящим теплом — как человек, который любит, неважно, что маленький.

Наконец, Адель... Он боялся, что мама не одобрит Аду — но мама в нее просто влюбилась. Ада с ней сразу же начала говорить по-немецки — а кто не влюбился бы, нихыт вар?

Да, Аде все помогали.

Но ведь и она — многим! Когда, уже обвенчавшись, снимали квартиру на бульваре Сен-Мартен, Ада встретила на улице девушку — красные пальцы в перчатках-митенках (давным-давно, в прошлом, Ада звала их «кондукторскими», а глупая Эль-Маша — «минеточками»), голодные глаза и стаканчик из-под колы: просила милостыню.

Оказалось, Ася из Питера, нищенка с эстетскими замашками — ночевала она, к примеру, под креслами в Опера Гарнье. Днем там был тогда бесплатный вход, вот эта Ася и пробиралась туда каждый день и оставалась на ночь, как призрак Оперы.

— Фрески Шагала — сумасшедшие! — признавалась Ася, жадно доедая пиццу, которую купила ей Ада. — Сколько там сплю — не могу насмотреться!

Ада дала Асе двадцатку, посоветовала, где искать работу. Потом ушла, стараясь не оборачиваться, и всё равно видела перед глазами красные пальцы в страшных перчатках.

Сейчас она дует на свои собственные пальцы, вполне еще красивые, с коротко обрезанными ногтями. Русских в Париже Ада узнавала по маникю-

ру — длинным накладным ногтям с приклеенными стразами. Сейчас ее пальцы ныли от столкновения с проклятой расческой — кажется, зубчики пропороли кожу.

Ада спускалась в метро — элегантная женщина в сером пальто и небрежно повязанном шарфе. Ехать далеко, до набережной Бранли — там они сегодня встречаются с Оленью. В ресторане «Лезомбр».

Название очень подходящее, в переводе — «Тени».

В юности что Олень, что Ада в первую очередь подумали бы про тени для век. Перламутровые «Ланком» или дешевые польские, похожие на побелку.

Сейчас это слово напоминает Аде о прошлом.

О том, что навсегда ушло в тень.

Да, теперь каждый может.

Купить билет до Москвы, увидеть с ночной высоты пылающее солнце столичных улиц — а потом в Кольцово, родной заснеженный порт.

Такси поедет по новой дороге — для Ады она вечно новая, невиданная. Россельбан.

Справа — черный лес, и снег, сухой и легкий, как сахарная пудра, рассыпанная по верху пирога.

Дальше в воспоминаниях — тени, провалы.

Города, который она любила и помнила, больше не существует.

За эти годы Ада так ни разу и не собралась приехать. Боялась увидеть, что того Екатеринбурга больше нет. Олень без конца говорит о том, как похорошел город. На одном из недавних фотоснимков всерьез похож на Гонконг.

А папа и вовсе заявил, что Екатеринбург станет однажды столицей России.

— Москва выпита, — сказал тогда папа.

Кстати, в Екатеринбурге тоже все помогали Аде. Папа выплатил долг Женечке. Мама переправляла документы. Олень... Олень приезжала в Париж почти каждый год — в сезон распродаж. Встречи начинались одинаково — сначала они буйно рады, обнимаются, показывают друг другу фотографии детей (Олень) и собачки (Ада). Потом радость исчезает, говорить не о чем.

— Ты всё там же работаешь? — спрашивает Олень, хотя они весь год общаются в скайпе и все новости — на виду.

Ада работает всё там же — у них с Татианой крошечное туристическое агентство. Два человека, полкомнаты, один компьютер.

Интересно, сегодня она тоже об этом спросит?

Олень никогда не останавливается у Ады с Аделем — терпеть не может чужой быт. (А раньше так хорошо отдыхала в холодильнике на Дружининской!)

Дружининскую давно отменили, точнее, обменяли. Живут на Жукова и строят дом в Рассохе. У них двое детей, мальчики — Никита и Лев.

Никиту Олень однажды привезла в Париж — Ада была с ними в Диснейленде, парке «Астерикс» и галерее эволюции в Ботаническом саду. Мальчик — как фарфоровый, бело-розовый, с голубыми глазками. Если бы у Ады был такой мальчик, она бы целыми днями его разглядывала, как картину. А Олень всё покрикивала да командовала. В парке Никита попросил игрушку — плюшевого Обеликса, мать отказала: дорого. Ада незаметно вернулась, купила:

— Пусть будет подарок от меня.

— Ну ладно, — мотнула плечом Олень. — Если ты настаиваешь. Держи, вот твой Обелиск!

— Спасибо, тетя Адель! — расцвел мальчик. Стал совсем как мейсенский фарфор. А потом уже в вагоне «эруэр» уточнил:

— Обелиск на площади Согласия, мама. А это — Обеликс.

— Странно, — заметила Олень, — ребенок мой, а поправляет всех прямо как ты, Адка.

...Она перешла через дорогу, пожалела, что нет времени — можно было бы посмотреть новую выставку в музее. Олень ни за что не пойдет, ее и в Помпиду не затащишь.

Вот она, Олень, за столиком, машет рукой! Какая... русская! Яркая помада, волосы, даже духи крепкие, как освежитель воздуха.

Однажды Олень рассказывала о своем романе с женатым мужчиной. Он был таким капризным, что Олень повсюду таскала с собой освежитель воздуха — даже в гостиницу, на свидание. Чтобы не оскорбить его грубым запахом.

Ада в ответ — другую историю. Вела недавно экскурсию у русской группы, и одна тетка показала ей ужасно знакомой. Недовольная такая, вздыхала, томилась, сверлила взглядом часики. Ада смотрела на нее и так и сяк, потом наконец вытянула из памяти имя — Елена! Золотые зубы исчезли, как страшный сон, выглядела чуть ли не моложе Ады — жаль, что к лицу прилипла недовольная гримаса. Елена Аду не узнала, и слава Богу. А вечером подала распечатку из интернета: «Проверьте, здесь часы работы правильные?» Опять в Лувр собралась. Ниже распечатанного текста от

руки была сделана приписка — «пятнадцать минут хотьбы от гостиницы».

— Пятнадцать минут хотьбы! — хохотала Олень. — Лучшее в мире описание секса.

Что они скажут друг другу сегодня?

Фуа-гра смело подали с укропом и сырой морковью, камбалу — с кишем из шпината и капусты под сырной корочкой, а на десерт принесли пьяную, крепко выпившую грушу с мороженым и черносмородиновым муссом. Под белой тугой салфеткой — булочки неприличной формы.

А за окнами — дождь, Башня, красные коробочки лифтов ездят вверх-вниз.

— Помнишь, в девяностых шел такой сериал — «Элен и ребята»? — спросила Олень.

— Не помню, — сказала Ада. — Я тогда чаще в кино бывала, чем у телика.

— А я смотрела и видела тебя, Адка. Как ты там живешь, ешь круассаны, бормочешь по-французски... Вот скажи, ты ни разу не пожалела, что уехала?..

За окнами — парижские дома, серая черепица, как грозное небо.

— Давай выйдем на крышу. Дождь, кажется, кончился.

Олень всё равно раскрыла зонт. На крыше с зонтиком, как Мэри Поппинс. Она уже забыла про свой вопрос, всю щебечет про детей. Лев смешно коверкает слова. Даже поправлять жаль! Недавно выяснилось, он всерьез считает, что есть такие страны — Виталия, Виспания и Вавстрия.

— Потому что мы с Алешей постоянно говорим: поедem в Италию, а бабушка была в Испании, а дедушка — в Австрии.

Екатеринбург разлетелся по всему миру.

Как будто кто-то взял и грохнул копилку с монетами — куда какая закатилась.

— А вот она мне всё равно не нравится, — говорит Олень, кивая в сторону Башни. Отсюда, с крыши, Башня выглядит неожиданно хрупкой. И так послушно, кротко отражается в лужах.

— Я никогда не жалела, — невпопад отвечает Ада.

«И никого», — под нос себе шепчет Олень.

Город-герой

Города как люди — с кем-то просто не складывается. Никто не виноват, ни ты, ни город. Ада много раз бывала в Нью-Йорке, ездила с Татианой и Шарлотт на распродажи в Лондон и в гости к Паскалю — в Берлин. Паскаль вырос в красивого блондина, чуточку более полного и кудрявого, чем хотелось бы. Мадам Наташа еще целый год после свадьбы Ады с Аделем норовила пристроить ей свои старые наряды — но потом открыла для себя Красный Крест. Дельфин живет в Канкале, работает в малюсенькой гостинице — она растолстела и обабилась, но совершенно точно не употребляет. Надя умерла от рака, Марк так больше и не женился.

Кажется, ничего не меняется — но при этом меняется всё.

На улице Ришелье была замечательная булочная — держал ее суровый бретонский мужчина, седой и косматый, как Зевс. Насколько он был суровым, настолько же нежными были его багеты

и сладкими – марципановые свинки с начинкой из шоколадного теста.

Ада ходила к бретонцу многие годы, и всякий раз он встречал ее в одной и той же синей майке, выпачканной мукой.

А потом она почему-то перестала приходить сюда за хлебом, вспомнила про бретонца только через год. И как в стену уткнулась. Нет больше булочной, марципановые свинки живут только в мыслях.

В Екатеринбурге, если верить новостям из интернет-программы Олень, всё меняется еще быстрее. Открываются и закрываются рестораны, расцветают и догорают бизнесы, иногда – как в девяностых – бесследно исчезают люди.

Ада смотрит программу Олени, не отрываясь, каждый день.

Пытается собрать из нее Екатеринбург – по секундам.

Это – город-герой, о котором читаешь, но при встрече не можешь узнать.

У Ады мечта – вернуться, и когда-нибудь она обязательно это сделает. Вот увидите.

Адель миллион раз просил: давай поедem в город твоего детства!

С трудом согласился на подмену – Москва, Санкт-Петербург и Золотое кольцо в придачу.

Вытерпела и Питер, и Москву с кольцом на пальце.

– А у нас смотреть нечего.

Того Екатеринбурга по имени Свердловск всё равно больше не существует.

Но, пока Ада не увидела этого собственными глазами, имеет право сомневаться.

Точно так же она не поехала после смерти бабушки в город Орск (Оренбургской обл. — так нужно было писать на конвертах). Она не видела проданный чужим людям дом, где всё еще витают тени детских игр маленькой Ады, такие вот «лезомбр». Не слышала, как рубят старую яблоню, на ветках которой она сидела с книгой «Три мушкетера» издательства «Жазушы». Не знала, что отдали соседям — той самой тете Лене, что протягивала поверх забора плитку гематогена, — письменный стол. За этим столом Ада обводила через папину копирку мушкетерский плащ с книжной иллюстрацией. Прячала монеты под бумагу — и штриховала их карандашом. А гематоген бабушка есть не разрешала — она была верующая. И Ада со слезами сдавала ей кровавый батончик.

Она не видела, не слышала, не знала того, как исчезают — одно за другим — вещественные свидетельства ее детства. А значит, они могут всё еще существовать.

Может, бабушка всё еще живет в том доме на улице Электриков — просто Ада никак не может выкроить время и написать письмо старушке. В детстве мама заставляла ее писать бабушке каждый месяц — и она гнала строчки, как рифмоплет, переписывая оценки из табеля.

Вот так и с Екатеринбургом.

Ада не едет — и всё в нем остается таким, каким было в девяностых.

А в новостях — мало ли что там показывают.

Если подумать хорошо, то Париж из юной мечты в точности похож на потерянный Екатеринбург из прошлого. В реальности не существует ни того, ни другого.

Ада идет по мосту, думает — остров Ситё, сайт, место. Два дома в конце площади Дофина, которые писал Моруа: «Они из розового кирпича и тесаных белых камней, очень простые, но такие французские, что во время войны, вдали от моей страны, я мечтал о них каждую ночь как о символе всего того, что потерял».

Два дома у екатерининских «столбов», на улице Декабристов ничем не похожи на розовых близнецов Ситё.

Да и вообще у Парижа и Екатеринбурга крайне мало общего. Разве что любовь к металлу. Все эти оградки, балконы. Башня и Каслинский павильон.

В ресторане на левом берегу японские девочки щебечут, как птички, а едят — бесшумно. Крабы на дне аквариума, словно тощие руки, бессильно скребут песок. И голые ветви каштанов — как объединенные кисти винограда. Русская официантка за тысячи километров отсюда перечисляет ассортимент блюд с таким убитым видом, как будто это не блюда, а ее личные претензии к мирозданию.

Женечка сидит за столом с новой женой, она похожа на генетически улучшенную версию старой. Прежняя жена — та, что носила пушистые штаны, — теперь возглавляет бутик дамской одежды. У нее квартира в жилом комплексе «Париж» на Белореченской, а Женечку она бросила сама — кто бы мог представить? Старая хрущевская пятиэтажка прицепилась к «Парижу» сбоку, точно репей к штанам.

Эль-Маша вышла замуж за недопитого художника, с лицом как подмышка. У них живет собака-смесь: морда породистой овчарки, а хвост — простонародный, как у самого распоследнего Шарика.

Другой художник — Сережа — так много времени проводит в интервью и встречах с поклонниками, что ему некогда рисовать.

Ада вспоминает свое детство — по стежку, по шагу, по слову.

Давным-давно в Екатеринбурге жила девочка, которые слушала музыку, сделанную человеческими руками, и верила в силы нового платья.

Вот художественная гимнастика во Дворце спорта. Маму спрашивают, какой у Ады аппетит:

— Ужасный! — признается мама.

— Отлично, — радуются тренерши, сестры-чемпионки.

Гимнастическую ленту для Ады папа делает сам — ручка из бамбуковой удочки.

Когда ведут домой после тренировки, голодную и злую, Ада ощупывает камешку на мамином пальце — и потом давит на нее со всей силы, чтобы остался след на руке.

С соседом Вовой, который не так давно потерял три пальца — взрывал бомбочки, — они играют пробками от духов и собирают спичечные этикетки. У Ады есть еще и собственная коллекция — мыло. Упаковка открыта с одной стороны, чтобы можно было понюхать — или аккуратно вынуть, подержать в руках гладкий брусок с вырезанными буквами *LUX*, а потом вернуть на место. Родители замылили эту коллекцию только в девятых.

Кинотеатр «Октябрь» стал вдруг стереоскопическим — в нем целый год показывали фильм «Ученик лекаря». Повернешься к залу — а там особое зрелище, все в очках. На фасаде «Октября» — капители колонн, как совиные морды.

Воспоминания падают как дождь: не скроешься.

Похороны аквариумных рыбок в унитазе.

В восьмом классе пришла мода носить белые колготки — как у королей на портретах.

Во дворах — оградки клумб из кроватных спинок, а в больницах — комнатные цветы с длинными хвостами.

Одноклассник Дима начал работать в фотоателье — голову чуть в сторону и прямо на меня посмотрим!

Потом разворот — и еще лет на десять назад.

Ада училась читать слова наоборот. Ее не удивляли странные свердловские вывески, где не горела половина неоновых букв. Они как выбитые зубы, но потом придет утро и вместо загадочной ночной «арик ахер ая га» появится простая и понятная «Парикмахерская Элегант».

Пейзаж терялся за словами.

Соседский пес-боксер подставлял, как для благословения, замшевую голову — на лбу продолговатые пролежни, как в готовальне. Ложбинки для пальцев.

Казнь грецких орехов между дверей, а папа обязательно раскалывает молотком абрикосовые косточки — там вкусные, немного кислые ядра.

Перед новым годом нужно вырезать гирлянды из цветной бумаги — чтобы получился хоровод танцующих девушек. Олень-«ловкие ручки» справляется лучше всех.

Лето на даче под Сысертью. Внезапное явление папиного аспиранта в костюме — у него защита. (У папы тогда еще были аспиранты.) Гость в портфеле, в галстук и ботиночках пошел искать папу в лес и — Ада шла по следам, всё виде-

ла — набрал полный портфель красноголовиков! Возвращаясь домой в деревню, коровы перекрывали дорогу, как пьяные хиппи — и хозяйки радовались им едва ли не больше, чем мужьям. Вымя коров — как рогатые мины.

Июльский тысячелистник и клумбы репьев. Черно-зеленая, зрелая зелень. И такой родной запах тушеной картошки с мясом — из окна, где крашенная железная решетка, как татуированное солнце.

Значки с портретами. Балахоны с карманами-сеточками. Российский сыр, который пахнет коровой. Бетонные одеяла строительных заборов. Древесные стволы в известковых белых гольфах. Каменные палатки — стопками блинчиков. Пейзажи на уральской яшме. И маленький Ленин на картине — точь-в-точь ангелочек-путти.

Перед сном Ада пересчитывает в уме башни Консьержерй и величественные колонны церкви Мадлен, похожие на гигантские свечи именинного торта. Она вспоминает скульптуру из какого-то сада — гордый лев забил страуса. Видит за окном гигантский фонарь Пантеона. Туристы не спят — вот идет какая-то пара, над решеткой метро девушка придерживает юбку, но жаркий воздух сильнее — и юбка парит, словно парус! Кажется, среди мальчишек это называлось «московский зонтик».

Статуи в нишах прячутся, подогнув ноги.

Тихо, чтобы не разбудить Аделя, она выходит из комнаты, потом — из дома. На тротуаре — роза. Лепестки нежно-шелковые, и это почти неприятно. Ада растирает лепесток до темной тряпочки.

Кругом дыхание неспящего Парижа.

С утра Ада придет в свой офис — и первым делом проверит прогноз погоды в Екатеринбурге.

С утра в Екатеринбурге седая от инея трава — как будто за ночь постарела, пережив тяжелую весть. Днем она непременно сбросит десяток лет и снова станет молодой и зеленой, *вся жизнь впереди.*

В этом — не сомневайтесь.

Содержание

- 1/90 Жемымо 7**
- 2/90 Горный Щит 32**
- 3/90 Теория заговора 59**
- 4/90 Умный мальчик 96**
- 5/90 Такая же 115**
- 6/90 Девять девяностых 136**
- 7/90 Безумный Макс 164**
- 8/90 Без фокусов 203**
- 9/90 Екатеринбург 221**

Литературно-художественное издание

Матвеева Анна Александровна

ДЕВЯТЬ ДЕВЯНОСТЫХ

Рассказы

Главный редактор *Елена Шубина*
Ответственный редактор *Полина Потехина*
Редактор *Алексей Портнов*
Корректоры *Елизавета Полукеева, Надежда Власенко*
Компьютерная верстка *Марии Мавриной*

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 3, комната 5
Наш электронный адрес: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

«Баспа Аста» деген ООО
129085, г. Мәскеу, жұлдызды гулаар, д. 21, 3 құрылым, 5 белме
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3-а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92
Факс: 8 (727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 21.12.2015. Формат 84x108¹/₃₂.
Гарнитура «NewBaskervilleС». Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48.
Доп. тираж 2000 экз. Заказ 2092



<http://www.facebook.com/shubinabooks>



<http://www.vk.com/shubinabooks>

Отпечатано с электронных носителей издательства.
ОАО «Тверской полиграфический комбинат». 170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.
Телефон: (4822) 44-52-03, 44-50-34, Телефон/факс: (4822)44-42-15
Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru



ISBN 978-5-17-093140-8

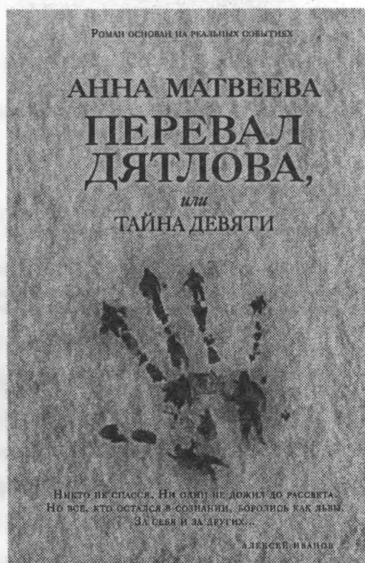


9 785170 931408 >



Анна Матвеева

**ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА,
или ТАЙНА ДЕВЯТИ**

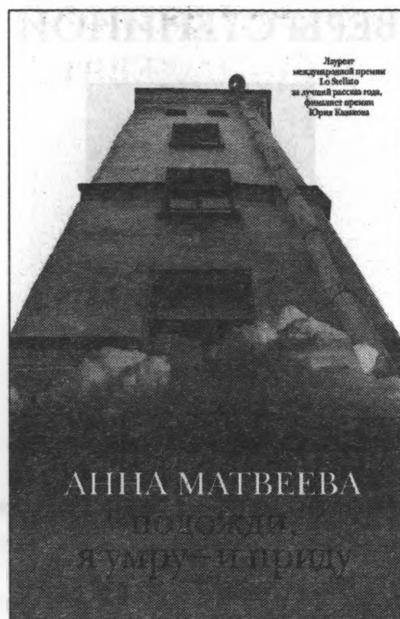


Анна Матвеева стала первой, кто написал о таинственном происшествии, случившемся в хмурых, полных мистики горах северного Урала. Зимой 1959 года группа студентов отправилась в поход и... пропала. Их искали долго, а когда нашли погибшими у Горы мертвецов, загадок только прибавилось. Версий возникло множество, но что на самом деле произошло в ту ночь на перевале Дятлова — неизвестно до сих пор.

«На одном из ночлегов, уже в темноте, стряслось что-то страшное... Они вспороли палатку, выбежали на мороз кто одетый, а кто в носках и помчались вниз по склону, унося раненых друзей... Никто не спасся. Ни один не дожид до рассвета. Но все, кто остался в сознании, боролись как львы. И мёртвые снега сохранили “динамические” позы людей, ползущих к брошенной палатке...»

Алексей Иванов

Анна Матвеева
ПОДОЖДИ, Я УМРУ — И ПРИДУ



Анна Матвеева — автор романов «Перевал Дятлова», «Небеса», «Есть!». Ее рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Звезда» «Сноб», входили в шорт-лист премии имени Юрия Казакова.

Герои историй Анны Матвеевой настойчиво ищут свое время и место. Влюбленная в одиннадцатиклассника учительница грезит Англией. Мальчик надеется, что родители снова будут вместе, а к нему, вместо выдуманного озера на сцене, вернется настоящее, и с ним — прежняя жизнь. Незаметно повзрослевшая девочка жалеет о неслучившемся прошлом, старая дева все еще ждет свое невозможное будущее. Жена неудачливого писателя обманывается мечтами о литературном Парнасе, а тот видит себя молодым, среди старых друзей. «Ведь нет страшнее, чем узнать свое место и время». Не менее страшно — знать, и не уметь его найти.

Анна Матвеева

ЗАВИДНОЕ ЧУВСТВО ВЕРЫ СТЕИНОЙ



Анна Матвеева — автор бестселлера «Перевал Дятлова», сборников рассказов «Подожди, я умру — и приду» (шорт-лист премии «Большая книга»), «Девять девяностых» (лонг-лист премии «Национальный бестселлер»). Финалист «Премии Ивана Петровича Белкина», лауреат премии «Lo Stellato» (Италия). Произведения переведены на английский, французский, итальянский языки.

В новом романе «Завидное чувство Веры Стениной» рассказывается история женской дружбы-вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно завидует своей подруге Юльке. Юльке же всегда везет, и она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает уникальным даром — по-особому чувствовать живопись: она разговаривает с портретами, ощущает аромат нарисованных цветов и слышит музыку, которую играют изображенные на картинах артисты...

Роман многослоен: анатомия зависти, соединение западноевропейской традиции с русской ментальностью, легкий детективный акцент и — в полный голос — гимн искусству и красоте.

Анна Матвеева

ДЕВЯТЬ ДЕВЯНОСТЫХ

9/90

Анна Матвеева — прозаик, автор романов «Завидное чувство Веры Стениной», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Небеса», «Есть!», сборника рассказов «Подожди, я умру - и приду»; финалист премии «Большая книга» и премии имени Юрия Казакова, лауреат итальянской премии Lo Stellato за лучший рассказ года.

Героев новой книги застали врасплох девяностые:
трудные, беспутные, дурные.

Но для многих эти годы стали «волшебным» временем,
когда сбывается то, о чем и не мечталось,
чего и представить было нельзя.

Здесь для сироты находится богатый тайный
усыновитель, здесь молодой парень вместо армии уезжает
в Цюрих, здесь обреченной на бедность женщине
судьба все-таки посылает ребенка,
а Екатеринбург легко может превратиться
в Париж...

ISBN 978-5-17-093140-8



9 785170 931408